Annotation

Сложный и многоплановый роман "Обездоленный" [The Dispossessed] (1974; "Хьюго"-75; "Небьюла"-74; рус. 1994), имеющий подзаголовок "двуликая утопия" стал классикой современной утопической литературы. В рамках внутренней хронологии "Хайнского" цикла он занимает место романа-пролога.

Действие происходит на двух планетах-антагонистах - "капиталистическом" Уррасе и его спутнике Анарресе, некогда заселенном коммуной анархистов с Урраса, сохраняющих взаимный нейтралитет (выраженный взаимной же полной изоляцией) по отношению друг к другу. Герой - гениальный анаресский физик Шевек, изобретатель "ансибла" (средства мгновенной "надпространственной" связи, обеспечившего материальные предпосылки к созданию Лиги Миров) - совершает первое за долгий историч. период путешествие на Уррас, и в сопоставлении двух миров и двух оппозиционных (и, как всегда у Ле Гуин, взаимно дополняющих друг друга) политических систем понимает достоинства и недостатки каждой. Тонко организованная художественной структура романа, почти растворившая в себе неизбежный в подобных произведениях социально-политический "манифест", а также самобытная философия Ле Гуин (сочетающая "западный" и "восточный" элементы) позволили создать своего рода эталонную - в смысле "открытости" - утопию-антиутопию, лишенную обычных в таких случаях дидактики и назидательности; вместе с тем очевидная аргументация в пользу (хотя бы и частичную) "коммуны" не имеет аналогов в западной НФ последних десятилетий.

- Урсула Ле Гуин
  - Глава первая. АНАРРЕС — УРРАС
  - Глава вторая. АНАРРЕС
  - Глава третья. УРРАС
  - Глава четвертая. АНАРРЕС
  - Глава пятая. УРРАС
  - Глава шестая. АНАРРЕС
  - Глава седьмая. УРРАС
  - Глава восьмая. АНАРРЕС
  - Глава девятая. УРРАС
  - Глава десятая. АНАРРЕС
  - Глава одиннадцатая. УРРАС
  - Глава двенадцатая. АНАРРЕС
  - Глава тринадцатая. УРРАС — АНАРРЕС

Урсула Ле Гуин
Обездоленный
(перевод с англ. - Наталья Ачеркан)

Глава первая. АНАРРЕС — УРРАС

Дорога упиралась в стену. Стена не казалась значительной. Она была сложена из нетесанного камня, небрежно скрепленного раствором; взрослый легко мог бы заглянуть поверх нее; и даже ребенок сумел бы перелезть через нее. Там, где стена пересекала дорогу, ворот не было — она вырождалась в чисто геометрическое понятие, в линию, в идею рубежа. Но эта идея была реальной. Она была значительной. На протяжении семи поколений не было ничего важнее этой стены.

Как все стены, она была двуликой, двусторонней. От того, по какую сторону от нее находишься, зависело, что находится внутри нее, а что — снаружи.

Если смотреть с одной стороны, этой стеной было обнесено голое поле в шестьдесят акров, под названием Космопорт Анаррес. На поле стояло несколько больших портальных кранов, была взлетно-посадочная площадка для ракет, три склада, гараж для грузовиков и общежитие. Общежитие выглядело прочным, грязным и унылым — ни садов, ни детей; в нем явно никто не жил; и даже не предполагалось, что кто-то поселится в нем надолго. Фактически это был карантин. Стена замыкала не только посадочную площадку, но и корабли, прибывшие сюда из космоса, и людей, прилетавших на этих кораблях, и миры, откуда они прилетали, и всю остальную вселенную. Она огораживала вселенную, оставляя Анаррес снаружи, на свободе.

Если смотреть с другой стороны, стена огораживала Анаррес; внутри нее вся планета — огромный тюремный лагерь, отрезанный от других миров и других людей, в карантине.

Довольно много людей шло по дороге к полю или стояло там, где дорога прорывалась сквозь стену. Из соседнего города, Аббеная, сюда часто приходили люди, в надежде увидеть космический корабль или просто поглядеть на стену. В конце концов, это стена была единственной на их планете границей. Нигде больше они бы не смогли увидеть надпись «Посторонним вход воспрещен». Особенно тянуло сюда подростков. Они подходили к самой стене; они садились на нее. Иногда им удавалось увидеть, как возле склада бригада сгружает ящики с гусеничных грузовиков. Иногда на площадке даже стоял грузовой планетолет. Грузовые корабли приходили только восемь раз в году, и об этом сообщали только синдикам, работавшим в это время в Космопорте, так что когда зрителям везло — удавалось увидеть корабль — они сначала приходили в возбуждение. Но они сидели здесь, а там, вдалеке, на другом краю поля, стоял он, как приземистая черная башня, окруженная передвижными кранами. А потом от одной из складских бригад отделялась женщина и говорила: «На сегодня закрываемся, братья». На рукаве у нее была повязка Обороны — зрелище почти такое же редкое, как и космический корабль. Это само по себе было довольно захватывающе. Однако тон ее был хотя и мягким, но не терпящим возражений. Она была бригадиром этой бригады, и если бы ее разозлить, ее синдики поддержали бы ее. Да и вообще, смотреть-то было не на что. Инопланетяне, пришельцы с дальних миров, прятались в своем корабле, не выходили. Ничего интересного.

Для бригады Обороны тоже ничего интересного не было. Иногда бригадиру даже хотелось бы, чтобы кто-нибудь попробовал перелезть через стену — инопланетный космонавт, сбежавший с корабля, или мальчишка из Аббеная, пытающийся пробраться на поле, чтобы поближе разглядеть планетолет. Но ничего такого никогда не случалось. А когда что-то случилось, она оказалась не готовой к этому.

Капитан грузового планетолета «Внимательный» сказал ей: «Этой толпе понадобился мой корабль?»

Бригадир взглянула и увидела, что у ворот действительно собралась толпа, не меньше ста человек. Они стояли, просто стояли, так, как во время Голода люди стояли у раздаточных

пунктов. Это ее испугало.

— Нет. Они… э-э… протестуют, — медленно, с трудом подбирая слова, сказала она по-иотийски. — Протестуют из-за этого… э-э… знаете, пассажира.

— Вы хотите сказать, что они ждут этого ублюдка, которого мы, как предполагается, должны взять на борт? Они что же, хотят попытаться задержать его — или нас?

Слово «ублюдок», непереводимое на родной язык бригадира, для нее означало только какое-то чужеземное название ее народа, но ей никогда не нравилось, как оно звучит; не понравился ей и тон капитана, и сам капитан. Она коротко спросила: «Вы можете сами позаботиться о себе?»

— Черт возьми, да. Вы только быстренько загрузите, что осталось. И доставьте на борт этого ублюдка-пассажира. Уж мы-то с любой толпой одиков (презрительная кличка одониан — последователей учения Одо) справимся. — Он похлопал по металлическому предмету, висевшему у него на поясе и по форме напоминавшему деформированный член, и бросил на безоружную женщину покровительственный взгляд.

Она холодно посмотрела на фаллический предмет (она знала, что это — оружие). «Погрузка будет закончена к 14 часам, — сказала она. — Держите экипаж на корабле в безопасности. Старт в 14—40. Если вам будет нужна помощь, передайте сообщение на автоответчик в диспетчерскую». — Она отошла раньше, чем капитан успел ответить ей непристойным жестом. От злости она заговорила со своей командой и с толпой более повелительным тоном. «А ну, освободите дорогу!» — приказала она, подходя к стене. — «Сейчас пойдут грузовики, кто-то может под них попасть. А ну, в сторонку!»

Люди в толпе спорили с ней и друг с другом. Они, не переставая, ходили через дорогу, а некоторые зашли внутрь, за стену. Но дорогу они все же более или менее освободили. Если бригадир не умела управлять толпой, то они не умели быть толпой. Они были членами сообщества, а не элементами сборища, и их не подталкивало стадное чувство; эмоций здесь было столько же, сколько людей. И они не считали, что приказы могут быть необоснованными, поэтому у них не было опыта неповиновения приказам. Их неопытность спасла пассажиру жизнь.

Некоторые из них пришли сюда, чтобы убить предателя. Другие — чтобы помешать ему улететь, или чтобы выкрикивать ему оскорбления, или чтобы просто посмотреть на него, и все эти другие усложнили убийцам задачу. Ни у кого из них не было огнестрельного оружия, но у одного-двух были ножи. Драка для них означала рукопашную; они хотели расправиться с предателем своими руками. Они ждали, что он приедет на машине, с охраной. Пока они пытались проверить грузовик и спорили с возмущенным водителем, человек, которого они ждали, пришел по дороге пешком, один. Когда они узнали его, он прошел уже половину поля, а за ним шли пять синдиков Обороны. Те, кто хотел его убить, кинулись за ним — слишком поздно — и начали швырять камнями — не слишком поздно. Человека, которого они хотели убить, они лишь задели, в тот самый момент, когда он подошел к кораблю, но двухфунтовый кусок кремня попал в висок одному из синдиков и убил его на месте.

Люки корабля закрылись. Команда Обороны повернула назад, унося своего мертвого товарища; они не попытались остановить вожаков толпы, которые бегом кинулись к кораблю, хотя бригадир, побелев от потрясения и ярости, ругала их на чем свет стоит, когда они пробегали мимо нее, и они сворачивали, чтобы обежать ее стороной.

Подбежав к кораблю, первые ряды толпы рассыпались и остановились в нерешительности. Они растерялись от безмолвия корабля, от резких движений громадных, похожих на скелеты портальных кранов, от странного вида земли, казавшейся выжженной, от отсутствия хоть чегонибудь, измеримого человеческой меркой. От струи пара или газа, ударившей из чего-то,

подсоединенного к кораблю, некоторые из них вздрогнули; они тревожно взглянули вверх, на ракеты — широкие черные воронки над их головами. Далеко, на другой стороне поля, предостерегающе взвыла сирена. Один за другим они начали отходить назад, к воротам. Их никто не останавливал. Через десять минут на поле не осталось никого, толпа рассеялась вдоль дороги к Аббенаю. Казалось, что ничего, в сущности, не произошло.

Внутри «Внимательного» происходило очень многое. Поскольку диспетчерская перенесла старт на более раннее время, все положенные операции нужно было проделать вдвое быстрее. Капитан приказал, чтобы пассажира пристегнули ремнями и заперли в кают-компании вместе с доктором, чтобы те не путались под ногами. Там есть экран, пусть смотрят старт, если хотят.

Пассажир смотрел. Он видел поле, и стену вокруг поля, и далеко за стеной — отдаленные склоны гор Нэ-Тэра, испещренные кустами хотума и редкой серебристой порослью лунной колючки.

Все это внезапно, с ошеломляющей быстротой промчалось по экрану вниз. Пассажир почувствовал, что его затылок прижало к подушке подголовника. Это было, как у зубного врача — голова насильно запрокинута, рот насильно раскрыт. Он не мог вздохнуть, его замутило, он почувствовал, что от страха у него сейчас начнется понос. Все его тело вопило, обращаясь к завладевшим им чудовищным силам: не сейчас, нет еще, подождите!

Его спасли глаза. То, что они упорно воспринимали и сообщали ему, вывело его из состояния всепоглощающего ужаса. Потому что на экране теперь было видно нечто странное: большая, бледная каменная равнина. Это была пустыня, так она выглядела с гор над Большой Долиной. Как он попал обратно в Большую Долину? Он пытался объяснить себе, что он — в воздушном корабле. Нет, в космическом корабле. Край равнины сверкнул ярко, как свет на воде, свет за дальним морем. В этих пустынях нет воды. Так что же он тогда видит? Каменная равнина была уже не плоской, а вогнутой, как огромная чаша, полная солнечного света. Пока он изумленно смотрел, чаша стала мельче, свет стал выплескиваться из нее. Вдруг по ней прошла линия, абстрактная, геометрическая, идеальное сечение окружности. За пределами этой дуги все было черно. Эта чернота превращала всю картину в негатив. Реальная, каменная ее часть уже не была вогнутой и полной света, она отражала, отталкивала свет. Это была уже не равнина и не чаша, а сфера, шар из белого камня, падавший во тьму, уносившийся вдаль. Это была его планета.

— Я не понимаю, — сказал он вслух.

Кто-то ему ответил. Некоторое время он не мог понять, что человек, стоящий у его кресла, обращается к нему, отвечает ему, потому что он больше не понимал, что такое ответ. Он четко сознавал только одно — свою полную изоляцию. Его планета ушла у него из-под ног, и он остался один.

Он всегда боялся, что это случится, сильнее, чем когда-либо боялся смерти. Умереть — значит потерять себя и соединиться с остальными. Он сохранил себя и потерял остальных.

Наконец, он смог поднять взгляд на человека, стоявшего возле него. Конечно, он был ему незнаком. С этого момента будут одни лишь незнакомые. Человек говорил на чужом языке: по-иотийски. Слова имели смысл. Все мелкие детали имели смысл; только целое б ыло лишено смысла. Человек говорил что-то о ремнях, которые удерживали его в кресле. Он начал возиться с ними. Кресло резко выпрямилось, и он чуть не выпал из него, потому что у него кружилась голова, и не удавалось удерживать равновесие. Тот человек все спрашивал, не ранен ли он. О ком он? «Он уверен, что он не ранен?» — на иотийском языке вежливая форма прямого обращения — в третьем лице. Человек имел в виду его самого. Пассажир не знал, почему он должен быть ранен; тот человек все время говорил что-то о брошенных камнях. «Но этот камень никогда не попадет в нас», — подумал пассажир. Он снова взглянул на экран, ища камень,

белый камень, падающий вниз, во тьму, но изображение исчезло.

— Я здоров, — ответил он наконец, наугад.

Это не успокоило того человека.

— Пожалуйста, пойдемте со мной. Я — доктор.

— Я здоров.

— Пожалуйста, пойдемте со мной, доктор Шевек!

— Вы — доктор, — сказал Шевек, помолчав. — Я — нет. Меня называют Шевек.

Доктор, низкорослый, светлокожий, безволосый, встревоженно сморщился.

— Вам следовало бы быть у себя в каюте, сударь… опасность инфекции… вам нельзя было контактировать ни с кем, кроме меня, я две недели проходил дезинфекцию — и все зря, будь он проклят, этот капитан! Пожалуйста, пройдите со мной, сударь. Спросят-то с меня…

Шевек заметил, что человечек расстроен. Он не ощущал ни сожаления, ни сочувствия; но даже в том абсолютном одиночестве, в котором он находился, продолжал действовать один-единственный закон, тот единственный закон, который он когда-то признавал. Он сказал: «Хорошо» — и встал.

У него все еще кружилась голова и болело правое плечо. Он понимал, что корабль движется, но ощущения движения не было; была только мертвая тишина, полная, абсолютная тишина, начинавшаяся сразу же за стенами. По безмолвным металлическим коридорам доктор провел его в комнату.

Комната была очень маленькая, с голыми стенами в сварных швах. Шевеку она была очень омерзительна, потому что напоминала место, о котором он не хотел помнить. Он остановился в дверях. но доктор настаивал и упрашивал, и он вошел.

Он сел на кровать, похожую на полку, равнодушно глядя на доктора; ему хотелось спать, голова все еще немного кружилась. Он понимал, что должен бы чувствовать любопытство: ведь этот человек — первый уррасти, которого ему довелось увидеть. Но он слишком устал. Ему хотелось откинуться назад и тут же заснуть.

Всю предыдущую ночь он не спал, разбирая свои бумаги. Три дня назад он проводил Таквер с детьми в Мир-и-Изобилие и с тех пор все время был занят, то бегал в радиобашню для последних переговоров с Уррасом, то обсуждал планы и возможности с Бедапом и остальными. И все эти, заполненные спешкой, дни у него было такое чувство, что не он управляет своими действиями, а они — им. Он был в руках других. Его собственная воля бездействовала. Ей и не нужно было действовать. Ведь это его собственная воля положила начало всему этому, она создала эту минуту и эти стены, которые его окружают сейчас. Давно ли? Годы назад. Пять лет назад, в безмолвии ночи в Чакаре, в горах, когда он сказал Таквер: «Я поеду в Аббенай и разрушу стены». И даже до этого; в Пыли, в годы Голода, в годы отчаяния, когда он дал себе слово отныне всегда поступать только по своему собственному свободному выбору. Это-то обещание и привело его сюда — в этот миг, лишенный времени, в это место, лишенное земли, в эту маленькую комнатку, в эту тюрьму.

Доктор кончил осматривать его ушибленное плечо (Шевек не мог понять, откуда взялся этот ушиб: он был слишком взвинчен и слишком спешил, чтобы воспринимать происходившее на посадочной площадке, и даже не почувствовал, что в него попал камень) и повернулся к Шевеку; в руках у него был шприц.

— Мне не нужно это, — сказал Шевек. Он говорил по-иотийски медленно и, как он понял по радиопереговорам, с плохим произношением, но грамматически довольно правильно; ему было труднее понимать, чем говорить.

— Это противокоревая прививка, — сказал доктор с профессиональной глухотой.

— Нет, — сказал Шевек.

Доктор на секунду прикусил губу и спросил:

— Вы знаете, что такое корь, сударь?

— Нет.

— Болезнь. Заразная. У взрослых часто протекает тяжело. У вас на Анарресе ее нет; когда планета заселялась, меры профилактики не допустили ее туда. На Уррасе она широко распространена. Она может вас убить. Так же, как и десяток других распространенных здесь вирусных инфекций. У вас нет иммунитета. Вы левша, сударь?

Шевек машинально кивнул. С ловкостью фокусника доктор вонзил иглу в его правую руку. Шевек молча стерпел и эту инъекцию, и многие другие. Он не имел права ни на подозрения, ни на возражения. Он сам отдал себя в руки этим людям; он сам отказался от своего неотъемлемого права решать самому. Оно ушло от него, покинуло его вместе с его миром, миром Обещания, бесплодным камнем.

Доктор снова заговорил, но он его не слушал.

Уже много часов или дней он существовал в пустоте, в безжизненном и горестном вакууме без прошлого и будущего. Эти стены сдавили его. За ними стояла мертвая тишина. Плечи и ягодицы у него болели от уколов; у него был жар, который так и не стал достаточно сильным для бреда, но удерживал его где-то на границе между здравым рассудком и безумием, на ничьей земле. Время не шло. Времени не существовало. Временем был он и только он. Он был той рекой, той стрелой, тем камнем. Но он двигался. Брошенный камень неподвижно завис в средней точке. Не было ни дня, ни ночи. Иногда доктор выключал свет или включал его. В стену у кровати были вделаны часы; их стрелка бессмысленно двигалась по циферблату от одной из двадцати цифр к другой.

Он проснулся после долгого, глубокого сна и, так как лежал лицом к часам, стал сонно рассматривать их. Их стрелка стояла чуть дальше цифры 15. Если часы на циферблате отсчитывались от полуночи, как на 24-часовых анаррессских часах, это должно было означать середину второй половины дня. Но как может быть «вторая половина дня» в пространстве между двумя мирами? Ну, в конце концов, у них на корабле, наверно, свое время. То, что он сумел все это сообразить, безмерно ободрило его. Он сел — и голова у него не закружилась. Он встал с постели и проверил, может ли держать равновесие: получалось неплохо, хотя у него было ощущение, что он не совсем твердо стоит на полу. Притяжение на корабле, как видно, было довольно слабым. Это ощущение было ему не очень приятно: ему была нужна устойчивость, надежность, прочная реальность. В поисках таковых он начал методически обследовать комнатку.

Голые стены были полны сюрпризов, которые обнаруживались, стоило лишь прикоснуться к панели: умывальник, унитаз, зеркало, письменный стол, стул, стенной шкаф, полки. Было там несколько совершенно загадочных электрических штучек, соединенных с умывальником, и, когда он отпускал кран, вода не отключалась, а так и лилась, пока не закрутишь кран — верный признак, подумал Шевек, либо очень большого доверия к человеческой натуре, либо очень большого количества горячей воды. Предположив последнее, он вымылся весь, целиком, и, не найдя полотенца, обсушился при помощи одной из загадочных штучек, из которой выходила приятно щекочущая струя теплого воздуха. Своей собственной одежды он не нашел и надел ту, что обнаружил на себе проснувшись: свободные завязывающиеся штаны и бесформенную блузу; и то, и другое — желтое в мелкий синий горошек. Он посмотрел в зеркало и решил, что это ему не идет. Неужели на Уррасе так одеваются? Он тщетно искал расческу и, не найдя, удовлетворился тем, что отбросил волосы назад и заплел их в косу. Приведя себя таким образом в порядок, он хотел выйти из комнаты.

Но не смог. Дверь была заперта.

Шевек сначала не поверил себе, потом его охватила ярость, такая ярость, такое слепое желание крушить все вокруг, какого он не испытывал еще ни разу в жизни. Он отчаянно дергал неподвижную дверную ручку, колотил ладонями по гладкому металлу двери, потом повернулся и со злостью ткнул в кнопку, которую доктор велел ему нажать, если что-нибудь понадобится. Ничего не произошло. На панели внутренней связи было еще много других разноцветных кнопочек с цифрами; он хлопнул ладонью по всем сразу. Динамик на стене забормотал: «Кто там черт возьми да сейчас выхожу ясно что из двадцать второй…»

Шевек заглушил все это: «Отоприте дверь!»

Дверь скользнула в сторону вбок, в комнату заглянул доктор. При виде его безволосого, встревоженного, желтоватого лица гнев Шевека остыл и спрятался внутрь, в глубинную тьму. Он сказал:

— Дверь была заперта.

— Простите, д-р Шевек… мера предосторожности… инфекция… чтобы не впускать других…

— Запереть, чтобы не впускать, запереть, чтобы не выпускать, — один и тот же поступок, — сказал Шевек, глядя на доктора сверху вниз светлыми, отчужденными глазами.

— Безопасность…

— Безопасность? Меня нужно держать в коробке?

— Офицерская кают-компания, — поспешно, примирительно продолжил доктор. — Вы голодны, сударь? Может быть, вы бы оделись, и мы пойдем в бар.

Шевек посмотрел на одежду доктора: синие брюки в обтяжку, заправленные в сапоги, которые казались такими же гладкими и тонкими, как ткань брюк; фиолетовая блуза, открытая спереди и зашнурованная серебряной тесьмой, а под ней — трикотажная рубашка ослепительной белизны, которая была видна только у шеи и у запястий.

— Я не одет? — спросил наконец Шевек.

— О, конечно, сойдет и пижама. Какие уж церемонии на грузовике!

— Пижама?

— То, что на вас надето. Спальная одежда.

— Одежда, чтобы носить, когда спишь?

— Да.

Шевек поморгал, но ничего не сказал. Потом спросил:

— Где одежда, которая была на мне?

— Ваша одежда? Я отдал ее в чистку… простерилизовать, надеюсь, вы не возражаете, сударь…

Он повозился с панелью на стене, которую Шевек до сих пор не замечал, и вынул сверток из светло-зеленой бумаги. Развернув его, он вынул старый костюм Шевека, который теперь выглядел очень чистым, но несколько уменьшившимся в размерах, скомкал зеленую бумагу и, включив что-то на другой панели, бросил ее в открывшийся мусорный контейнер и неуверенно улыбнулся.

— Вот, пожалуйста, д-р Шевек.

— Что будет с бумагой?

— С бумагой?

— С зеленой бумагой.

— О, я бросил ее в мусорку.

— Мусорку?

— Для отходов. Их сжигают.

— Вы сжигаете бумагу?

— Ну, не знаю, может быть, ее просто выбрасывают за борт, в космос. Я не космический медик, д-р Шевек. Мне оказали честь, поручив следить за вашим здоровьем, так как у меня уже есть опыт в отношении других гостей из дальних миров, послов Терры и Хейна. Я руковожу процессами обеззараживания и адаптации у всех инопланетян, прибывающих в А-Ио; хотя вы, конечно, не совсем инопланетянин, в том смысле, каком они.

Он робко взглянул на Шевека, который не сумел разобрать все, что он сказал, но все же разглядел за словами человека — встревоженного, робкого, доброжелательного.

— Нет, — заверил его Шевек, — может быть, у меня та же бабушка, что и у вас, двести лет назад, на Уррасе. — Он надевал свою старую одежду и, просовывая голову в ворот рубашки, увидел, что доктор запихивает желтую с синим «спальную одежду» в «мусорку». Шевек застыл с носом, закрытым воротником рубашки. Высунув голову полностью, он опустился на колени и заглянул в контейнер. Он был пуст.

— Одежду сожгли?

— О, это дешевая пижама, одноразовая — снимешь и выбрасываешь, это стоит дешевле, чем стирка.

— Это стоит дешевле, — задумчиво повторил Шевек. Он произнес эти слова так, как палеонтолог рассматривает ископаемую окаменелость, позволяющую датировать целую формацию.

— Боюсь, что ваш багаж, очевидно, потерялся в этой предстартовой спешке… надеюсь, в нем не было ничего важного.

— Я ничего не принес с собой, — сказал Шевек. Хотя его костюм выцвел почти добела и чуть-чуть сел, он все же был ему впору, и было приятно ощутить знакомое шершавое прикосновение ткани из волокна холума. Он снова почувствовал себя самим собой. Он сел на кровать лицом к доктору и сказал:

— Понимаете, я знаю, что вы относитесь к вещам не так, как мы. В вашем мире, на Уррасе, вещи приходится покупать. Я вхожу в ваш мир. Я не имею денег, я не могу купить, поэтому я должен был бы привезти. Но сколько я могу привезти? Одежду — да. Я мог бы привезти два костюма. Но еду? Как я могу привезти достаточно еды? Я не могу привезти, я не могу купить. Если надо, чтобы я оставался в живых, вы должны давать мне ее. Я — анаррести. Я заставляю уррасти вести себя так, как анаррести: давать, а не продавать. Конечно, чтобы я остался в живых, нет необходимости! Я — Нищий, видите ли.

— О, нет, сударь, нет, нет, ничего подобного. Вы — весьма почетный гость. Пожалуйста, не судите о нас по экипажу этого корабля, они очень невежественные, ограниченные люди… вы себе не представляете, как прекрасно вас встретят на Уррасе. Ведь вы же — всемирно известный, всегалактически известный ученый! И наш первый гость с Анарреса! Уверяю вас, когда мы приземлимся на Пейеровом Поле, все будет совершенно иначе.

— Я не сомневаюсь, что все будет иначе, — сказал Шевек.

Лунный Рейс обычно занимал четыре с половиной дня в один конец, на сей раз к обратному пути добавились пять дней адаптации для пассажира. Шевек и доктор Кимоэ провели их за прививками и разговорами. Капитан «Внимательного» провел их, гоняя корабль по орбите вокруг Урраса и ругаясь. Когда ему приходилось говорить с Шевеком, тон у него был смущенно-неуважительный. У доктора, у которого на все имелись объяснения, был готов диагноз и на это:

— Он привык относиться к чужеземцам, как к низшим существам, не совсем людям.

— По терминологии Одо, создание псевдо-вида. Да. Я думал, что, может быть, на Уррасе люди уже больше так не думают, раз у вас там столько разных языков и государств, и даже есть посетители из других солнечных систем.

— Их-то как раз очень немного, потому что межзвездные перелеты так дороги и так

медленны. Может быть, так будет не всегда, — добавил д-р Кимоэ, видимо, намереваясь польстить Шевеку или вызвать его на откровенность, но Шевек не обратил на это внимания.

— Второй помощник капитана, кажется, боится меня, — сказал он.

— О, у него это религиозный фанатизм. Он — строгий эпифанист. Каждый вечер вслух повторяет наизусть «Начала Веры». Совершенно закостенелый ум.

— Значит, он считает меня… кем?

— Опасным атеистом.

— Атеистом!! Почему?

— Да потому, что вы — одонианин с Анарреса, ведь на Анарресе нет религии.

— Нет религии? Разве мы, на Анарресе, — камни?

— Я имею в виду организованную религию — церкви, вероисповедания… — Кимоэ легко приходил в смятение. Как врачу, ему была свойственна бодрая самоуверенность, но Шевек ее постоянно разрушал. Все его объяснения после двух-трех вопросов Шевека кончались тем, что он запутывался. Для каждого из них сами собой разумелись какие-то взаимосвязи, которые собеседник был не в состоянии даже заметить. Например, эта курьезная проблема с понятием «выше» и «ниже». Шевек знал, что для уррасти существенно понятие относительной высоты: в их литературе слово «выше» часто употреблялось как синоним слова «лучше», тогда как анаррести написал бы: «центральнее». Но какая связь между тем, кто выше или ниже, и тем, что кто-то — чужеземец? Это была загадка — одна из сотни.

Теперь Шевеку начала становиться ясной еще одна непонятная прежде вещь, и он сказал:

— Понимаю. Вы не признаете религии вне церквей, так же, как не признаете морали вне законов. Вы знаете, сколько я ни читал уррасских книг, а этого я так и не понял.

— Ну, в наши дни любой просвещенный человек признает…

— Трудно из-за лексики. — Шевек продолжал говорить о своем открытии. — В правийском языке слово «религия» встречается редкостно. Нет… как это у вас… редко. Не часто применяемо. Конечно, это — одна из Категорий: четвертая Модальность. Немногим удается научиться практически выполнять все Модальности. Но модальности построены из естественных способностей разума, вы же не можете всерьез считать, что у нас нет способностей к религии? Что мы могли бы создавать физику, будучи отрезаны от самой глубокой связи, которая существует между человеком и Космосом?

— О, нет, отнюдь…

— Вот это бы действительно означало — превратить нас в псевдо-вид.

— Образованные люди, безусловно, поняли бы это; но эти офицеры невежественны.

— Но разве летать в космос разрешается только фанатикам?

Такими — изматывающими для доктора и не удовлетворяющими Шевека, но чрезвычайно интересными для обоих — были все их разговоры. Для Шевека они были единственным способом исследовать новый мир, ожидавший его. Сам корабль и мозг Кимоэ были его микроскопом. Книг на «Внимательном» не было, офицеры избегали Шевека, а команде было приказано не попадаться ему на глаза. Что касается мозга доктора, то, хотя доктор был человек умный и, несомненно, доброжелательный, в голове у него была каша из интеллектуальных построений, разобраться в которых Шевеку было еще труднее, чем во всех этих переполнявших корабль штучках, приспособлениях и бытовых приборах. Эти последние казались Шевеку забавными: всего было чересчур много, все было стильно и хитроумно; но интерьер интеллекта Кимоэ Шевек находил не таким комфортабельным. Идеи Кимоэ, казалось, вообще не в состоянии двигаться по прямой; им все время требовалось обойти одно, уклониться от другого; и все кончалось тем, что они с размаху упирались в стену. Все идеи были окружены стенами, которых он, по-видимому, совершенно не замечал, хотя постепенно за них прятался. За все эти

дни бесед двух миров Шевек лишь однажды увидел, как в них образовалась брешь.

Он спросил, почему на корабле нет женщин, и Кимоэ ответил, что водить грузовые планетолеты — не женское дело. Курс изучения истории и знание трудов Одо позволили Шевеку представить себе положение вещей достаточно ясно, чтобы понять этот тавтологический ответ, и он больше ничего не сказал. Но доктор задал встречный вопрос, вопрос об Анарресе:

— Д-р Шевек, правда ли, что в вашем обществе с женщинами обращаются точно так же, как с мужчинами?

— Тогда бы зря пропадало хорошее оборудование, — со смехом ответил Шевек, а когда до него дошла вся нелепость этой идеи, он опять засмеялся.

Доктор помедлил, видимо, обходя одно из препятствий у себя в уме, потом со смущенным видом сказал:

— О, нет, я не имел в виду в сексуальном отношении… очевидно, вы… они… Я имел в виду их социальный статус.

— Статус — это то же самое, что класс?

Кимоэ попытался объяснить, что такое статус, не сумел и вернулся к исходной теме.

— Неужели действительно нет никакой разницы между мужской работой и женской работой?

— Да нет, это ведь сугубо механическая основа для разделения труда, не так ли? Человек выбирает работу согласно своим интересам, таланту, силам — причем же тут его пол?

— Мужчины физически сильнее, — ответил доктор с профессиональной категоричностью.

— Да, часто; и крупнее; но какое это имеет значение, раз у нас есть машины? И даже, когда машин нет, когда приходится копать лопатой или носить на спине, мужчины, может быть, работают быстрее — те, что больше и сильнее, — но женщины могут работать дольше… Я часто жалел, что я не так вынослив, как женщина.

Кимоэ уставился на него, потрясенный настолько, что забыл о вежливости.

— Но утрата всего… всего женственного… изящества, утонченности, нежности… и потеря мужчинами уважения к себе… Ведь вы же не станете утверждать, что в вашей работе женщины равны вам? В физике, в математике, по интеллекту? Вы же не можете постоянно опускаться до их уровня?

Шевек сидел в уютном, мягком кресле и оглядывал офицерскую кают-компанию. На смотровом экране, как голубовато-зеленый опал на фоне черного космоса, неподвижно висел сверкающий изгиб Урраса. И этот дивно красивый вид, и сама кают-компания за последние дни стали привычными для Шевека, но сейчас яркие цвета, плавные контуры кресел, скрытое освещение, столы для игр, и телевизионные экраны, и мягкие ковры — все это показалось ему таким же чуждым, как и в первый раз, когда он их увидел.

— По-моему, я не так уж много притворяюсь, Кимоэ, — сказал он.

— Конечно, мне приходилось встречать и женщин с очень высоким интеллектом, женщин, которые были способны мыслить совершенно, как мужчины, — поспешно сказал доктор, сообразив, что только что почти кричал… «Колотил руками по запертой двери и кричал», — подумал Шевек…

Шевек сменил тему разговора, но думать о ней не перестал. Эта проблема высшего и низшего, по-видимому, — одна из центральных в социальной жизни уррасти. Если для того, чтобы уважать себя, Кимоэ должен считать половину человечества ниже себя, то как же тогда женщины ухитряются себя уважать? Считают, что мужчины — ниже их? И как все это влияет на их половую жизнь? Из трудов Одо Шевеку было известно, что двести лет назад основными сексуальными институтами на Уррасе были «брак» — партнерство, санкционированное и

проводимое в жизнь при помощи юридических и экономических санкций, — и «проституция», которая, видимо, являлась более широким понятием — совокуплением в экономической модальности. Одо решительно осуждала и то, и другое; и, однако же, Одо сама состояла в «браке»; и вообще, за двести лет эти институты могли претерпеть большие изменения. Если он собирается жить на Уррасе и среди уррасти, надо бы это выяснить.

Странно было, что даже секс, который столько лет был для него источником такого наслаждения, радости и утешения, за один миг превратился в неизвестную территорию, по которой он должен идти осторожно и сознавать свое невежество; тем не менее, это было так. Предостережением ему послужила не только странная вспышка презрения и гнева у Кимоэ, но и возникшее у него еще раньше смутное впечатление, которое этот эпизод высветил. Когда он впервые очутился на «Внимательном», в эти долгие часы лихорадки и отчаяния, его беспокоило — то доставляло удовольствие, то раздражало — грубо-примитивное ощущение: мягкость постели. Хотя это была всего лишь койка, ее матрац оседал под ним с ласкающей податливостью, подчинялся ему; подчинялся так настойчиво, что даже и теперь он, засыпая, все еще ощущал эту податливость. И удовольствие, и раздражение, которые это у него вызывало, носили явно эротический характер. Или все это устройство, заменяющее полотенце, — сопло с горячим воздухом — такой же эффект. Щекочет. И конструкция мебели в офицерской кают-компании — плавные изгибы пластмассы, в которые силой загнаны непонятливые дерево и сталь, гладкость поверхности и нежность фактуры — разве нет и в них слабой, но всепроникающей эротичности? Он достаточно хорошо знал себя, чтобы быть уве ренным, что несколько дней без Таквер, даже при очень сильном стрессе, не должны взвинтить его до такой степени, чтобы он начал чувствовать женщину в каждой крышке стола. Если, конечно, там действительно нет женщины.

Неужели на Уррасе все столяры живут в вынужденном целомудрии?

Так ничего и не поняв, он перестал думать об этом: на Уррасе он скоро и так все выяснит.

Перед тем, как они пристегнули ремни для посадки, доктор пришел к Шевеку в каюту проверить, как идут дела: всевозможные процессы иммунизации; от последней прививки — против чумы — Шевека мутило и пошатывало. Кимоэ дал ему какую-то новую таблетку.

— Это вас подбодрит при посадке, — сказал он. Шевек стоически проглотил эту гадость. Доктор покопался в своем медицинском чемоданчике и вдруг очень быстро заговорил:

— Д-р Шевек, я не думаю, что мне опять позволят заботиться о вашем здоровье, хотя может быть и так, но если нет, то я хочу вам сказать, что это… что я… что это была для меня большая честь. Но потому, что… а потому, что я начал уважать… ценить… что просто по-человечески… что ваша доброта, истинная доброта…

У Шевека так болела голова, что сквозь эту боль не смогли пробиться более подходящие слова, поэтому он взял Кимоэ за руку и сказал: «Так давай встретимся снова, брат!» Кимоэ нервно потряс его руку, по обычаю уррасти, и торопливо вышел. Когда он ушел, Шевек сообразил, что говорил с ним по-правийски, назвал его «аммар» — брат — на языке, которого Кимоэ не понимает.

Динамик в стене выкрикивал какие-то приказания. Шевек слушал, отрешенно и словно сквозь туман. От ощущений, вызванных посадкой, туман сгущался; Шевек не сознавал почти ничего, кроме горячей надежды, что его не вырвет. Он понял, что они уже приземлились, лишь когда снова прибежал Кимоэ и поспешно повел его в офицерскую кают-компанию. Смотровой экран, на котором так долго был виден окруженный облаками и сияющий Уррас, теперь был пуст. Комната была полна людей. Откуда они все взялись? Он был приятно удивлен тем, что может стоять, ходить и пожимать руки. На этом он и сосредоточился, не вникая в смысл происходящего. Голоса, улыбки, рукопожатия, слова, имена. Его имя, снова и снова: д-р Шевек,

д-р Шевек… И вот уже он и все окружившие его незнакомцы спускаются по крытому пандусу, все голоса звучат очень громко, слова эхом отражаются от стен. Шум голосов ослабел. Чужой воздух коснулся его лица.

Он поднял взгляд и, ступив с пандуса на ровную землю, споткнулся и чуть не упал. В этот момент — промежуток между началом шага и его завершением — он подумал о смерти; а завершив шаг, он стоял уже на новой земле.

Вокруг него был просторный, серый вечер. Голубые огни, расплывавшиеся в дымке, горели далеко, на другом конце лежавшего в тумане космодрома. Воздух у него на лице, и руках, в ноздрях, в горле, в легких был прохладен, влажен, полон разных ароматов, ласков. Это был воздух мира, из которого пришел его народ. Это был воздух родины.

Когда он споткнулся, кто-то подхватил его под руку. Засверкали направленные на него огни фотовспышек. Эту сцену снимали для последних известий: Первый Человек с Луны — высокая, хрупкая фигура в толпе сановников, и профессоров, и охранников; красивую лохматую голову он держит очень прямо (так, что фотографам удалось поймать в объектив каждую черту), словно старается заглянуть поверх лучей прожекторов в небо, в широкое небо, затянутое туманом, скрывающим звезды, Луну, все другие миры. Журналисты пытались пробиться сквозь кольцо полицейских: «Д-р Шевек, не сделаете ли вы для нас заявление, в этот исторический момент…» Их сразу же оттеснили обратно. Окружавшие его люди подталкивали его вперед. Его увели к ожидавшему его лимузину, до последнего момента чрезвычайно фотогеничного из-за высокого роста, длинных волос и странного выражения лица — полного печали и узнавания.

Башни города уходили вверх, в туман — огромные лестницы расплывающихся огней. Над головой светящимися полосками, с пронзительным воем, проносились поезда. Массивные фасады из камня и стекла выстроились вдоль улиц, над мчавшимися, словно наперегонки, автомобилями и трамваями. Камень, сталь, стекло, электрический свет. Лиц не было.

— Это Нио-Эссейя, д-р Шевек. Но было решено, что в самое первое время лучше держать вас подальше от городской сутолоки. Мы едем прямо в Университет.

В темном, с мягкой стеганой обшивкой, чреве автомобиля с ним сидели пятеро мужчин. Они показывали ему достопримечательности, но в тумане он не мог разобрать, какое из этих огромных, смутных, проносящихся мимо зданий — Верховный Суд, а какое — Национальный Музей, которое — Директорат, а которое — Сенат. Они переехали через какую-то реку или дельту; свет миллионов огней Нио-Эссейя, рассеянный туманом, дрожал на темной воде позади них. Дорога стала темнее, туман сгустился, водитель сбавил скорость. Фары автомобиля освещали туман впереди, словно стену, все время отступавшую перед ними. Шевек сидел, чуть наклонившись вперед и глядя на дорогу. Взгляд его не был сфокусирован, так же, как и его мысли, но вид у него был отчужденный и серьезный, и остальные говорили тихо из уважения к его молчанию.

Что это за тьма, еще более густая, бесконечно текущая вдоль дороги? Деревья? Неужели они, как выехали из города, так все время и едут меж деревьев? В его памяти всплыло иотийское слово: «лес». Они внезапно не въедут в пустыню. Деревья все не кончались, ни на ближайшем склоне холма, ни на следующем, ни на следующем… стояли в душистом холодке тумана, бесконечные, лес, покрывающий всю планету, неслышное сплетение множества жизней, смутное движение листьев в ночи. И вдруг, пока Шевек сидел, дивясь, автомобиль выехал из тумана речной долины в более прозрачный воздух, и из темноты под придорожной листвой на миг выглянуло лицо.

Оно было непохоже на человеческое. Оно было длиной с его руку и жутко, призрачно белое. Дыхание клубами пара вылетало из того, что, должно быть, было ноздрями, и — пугающий, несомненный — на лице был глаз. Большой, темный глаз, грустный, быть может, циничный? —

блеснул в свете фар и исчез.

— Что это было?

— Осел, по-моему.

— Животное?

— Да, животное. Ну да, правильно, ей-Богу! Ведь у вас на Анарресе нет крупных животных, правда?

— Осел — это вроде лошади, — сказал другой мужчина, а еще один твердым, немолодым голосом добавил: — Это и была лошадь, таких больших ослов не бывает.

Им хотелось разговаривать с ним, но Шевек опять не слушал. Он думал о Таквер, о том, что значил бы для Таквер этот глубокий, сухой, темный взгляд из темноты. Она всегда знала, что между всеми живыми существами есть нечто общее, радовалась своему родству с рыбами в аквариумах ее лаборатории, искала опыт существования за пределами человеческого. Таквер сумела бы взглядом ответить этому глазу в темноте под деревьями.

— Там, впереди — Иеу-Эун. Вас встречает целая толпа, д-р Шевек: сам Президент, несколько Директоров, и, конечно, ректор, всевозможные важные персоны. Но если вы устали, мы провернем все эти церемонии как можно быстрее.

Церемонии затянулись на несколько часов. После он так и не мог отчетливо вспомнить их. Из маленького темного ящика-автомобиля — его привели в большой, ярко освещенный ящик, полный людей, сотен людей, под золотым потолком, с которого свисали хрустальные светильники. Его представили всем этим людям. Все они были ниже его ростом и безволосые. Женщин было немного, и все они были безволосые, даже на голове у них не было волос; в конце концов он понял, что они, должно быть, сбривают у себя все волосы — и очень тонкие, мягкие, короткие волосы на теле, как у его народа, и волосы на голове. Но отсутствие волос они восполняли изумительной одеждой, роскошного покроя и цветов; женщины были в пышных платьях, длиной до самого пола, груди их были обнажены, их головы, шеи, талии были украшены драгоценными камнями, и кружевами, и прозрачной, как дымка, тканью; мужчины были в штанах и куртках или блузах, алых, голубых, фиолетовых, золотистых, зеленых, с разрезами на рукавах, с складками кружев, или в длинных халатах, темно-красных или темно-зеленых, расходившихся у колен, чтобы были видны белые чулки с серебристыми подвязками. Еще одно иотийское слово всплыло в мозгу Шевека, слово, которому он так и не сумел найти соответствия, хотя ему нравилось, как оно звучит: «роскошь». В этих людях была роскошь. Произносились речи. Президент Сената Государства А-Ио, человек со странными, холодными глазами, предложил тост: «За новую эру братства между Планетами-Близнецами и за вестника этой новой эры, нашего знаменитого и весьма желанного гостя, д-ра Шевека с Анарреса!» Ректор Университета говорил с Шевеком очень любезно, Первый Директор государства говорил с ним серьезно, его знакомили с послами, астронавтами, физиками, политиками, с десятками людей, и у каждого были длинные титулы и почетные звания и перед именем, и после имени, и они разговаривали с ним, и он отвечал им, но потом он совершенно не помнил, кто что сказал, а главное — что говорил он сам. Очень поздней ночью оказалось, что он с маленькой группой мужчин не спеша идет под теплым дождем через большой парк или сквер. Под ногами он чувствовал упругую живую траву; он узнал ее, потому что несколько раз гулял в Треугольном Парке в Аббенае. Это живое, яркое воспоминание и просторное, прохладное прикосновение ночного ветра заставили его очнуться. Его душа вышла из тайника, где пряталась.

Его спутники привели его в какое-то здание и в комнату, которая, как они объяснили, была «его».

Комната была большая, длиной примерно десять метров и, очевидно, это была общая комната отдыха, потому что в ней не было ни перегородок, ни спальных помостов; эти трое

мужчин, которые все еще здесь, должно быть, его соседи по комнате. Это была очень красивая комната отдыха: одна стена представляла собой сплошной ряд окон, каждое отделялось от соседнего тонкой, стройной колонной, поднимавшейся, подобно дереву, и завершавшейся двойной аркой. На полу лежал темно-красный ковер, а в дальнем конце комнаты в открытом очаге горел огонь. Шевек прошел по комнате и остановился перед огнем. Он никогда раньше не видел, чтобы топили деревьями, но был уже не в состоянии удивляться. Он протянул руки к приятному теплу и сел у очага на скамью из полированного мрамора.

Самый молодой из пришедших с ним сел по другую сторону очага. Остальные двое все еще разговаривали. Они говорили о физике, но Шевек не пытался понять, что они говорят. Молодой человек негромко сказал:

— Хотел бы я знать, что вы сейчас чувствуете, д-р Шевек.

Шевек вытянул ноги и наклонился, чтобы тепло от огня попадало ему на шею.

— Я чувствую тяжесть.

— Тяжесть?

— Может быть, притяжение. Или я устал.

Он посмотрел на своего собеседника, но сквозь отблеск пламени очага лицо его было видно нечетко, лишь сверкала золотая цепочка, да глубоким цветом рубина алела мантия.

— Я не знаю вашего имени.

— Саио Паэ.

— Ах, да, Паэ. Я знаю ваши статьи о Парадоксе.

Он ронял слова тяжело, сонно.

— Здесь должен быть бар, в комнатах для членов Факультета всегда есть шкафчик с напитками. Хотите чего-нибудь выпить?

— Воды, да.

Молодой человек принес стакан воды. остальные двое тоже подошли к очагу. Шевек жадно выпил воду и сел, глядя на стакан в своей руке, хрупкую, изящной формы вещицу, на золотой каемке которой играл отблеск огня. Он ощущал, что эти трое сидят или стоят рядом с ним, ощущал их отношение — покровительственное, почтительное, собственническое.

Подняв глаза, он обвел взглядом их лица, одно за другим. Все они смотрели на него и чего-то ждали.

— Ну, вот, вы получили меня, — сказал он. Он улыбнулся. — Вы получили своего анархиста. Что вы собираетесь с ним делать?

Глава вторая. АНАРРЕС

В белой стене — квадратное окно. В окне — ясное, голое небо. В центре неба — солнце.

В комнате — одиннадцать младенцев, большинство из них рассажено по-двое или по-трое в большие стеганные манежи-кроватки и шумно и суетливо укладывается спать. На свободе оставалось только двое самых старших: один, толстый, живой, разбирает игрушку, второй, тощий, сидит на полу в квадрате желтого солнечного света и с тупо-серьезным выражением лица скользит взглядом вверх по солнечному лучу. В передней комнате воспитательница, одноглазая седая женщина, беседует с высоким, печальным тридцатилетним мужчиной.

— Матери дали назначение в Аббенай, — говорит мужчина. — Она хочет, чтобы он остался здесь.

— Значит, оставить его в яслях круглосуточно, Палат?

— Да. Я опять перееду в общагу.

— Не беспокойтесь, он здесь всех знает! Но ведь РРС (Управление Распределения Рабочей Силы), конечно, скоро и тебя направит туда же, где Рулаг? Раз вы — партнеры, и оба инженеры…

— Да, но она… Понимаешь, на нее дал запрос Центральный Технический Институт. А я не настолько хороший инженер. Рулаг предстоит очень важная работа.

Воспитательница кивнула и вздохнула.

— И все равно…! — сказала она энергично, а больше не сказала ничего.

Отец смотрел на тощего малыша, который так заинтересовался солнечным лучом, что не замечал его присутствия в передней комнате. Толстый малыш в это время направился к тощему, быстро, хотя и довольно странной, приседающей походкой, причиной которой был намокший и провисший подгузник. Он подошел не то от скуки, не то по природной общительности, но, оказавшись в солнечном квадрате, заметил, что тут тепло. Он тяжело плюхнулся рядом с тощим, оттеснив его в тень.

На лице тощего выражение незамутненного восторга сменилось гримасой ярости. Он толкнул толстого, крича: «Уди!»

Сразу же подбежала воспитательница. Она заступилась за толстого:

— Шев, нельзя толкать других людей.

Тощий малыш поднялся на ноги. На его лице пылали солнце и гнев. С него начал сваливаться подгузник.

— Мое! — сказал он высоким, звенящим голосом. — Мое солнышко!

— Оно не твое, — сказала одноглазая с той кротостью, которую дает абсолютная уверенность в своей правоте. — «Твоего» не бывает. Все — чтобы пользоваться. Чтобы делиться. Если не хочешь делиться, значит, не можешь и пользоваться. — И она добрыми, не преклонными руками подняла тощего малыша и пересадила его из солнечного квадрата в сторону. Толстый малыш сидел и безразлично таращил глаза. Тощий весь, затрясся, завизжал: «Мое солнышко!» — и залился слезами ярости.

Отец взял его на руки и прижал к себе.

— Ну, полно, Шев, не надо. Ты же знаешь — иметь нельзя. Ну, чего ты?

Голос у него был тихий, ласковый и дрожал, словно он сам вот-вот заплачет. Худой, длинный, легкий ребенок у него на руках отчаянно рыдал.

— Некоторые просто не умеют легко относиться к жизни, — сказала одноглазая, сочувственно глядя на них.

— Я его сейчас заберу на побывку в барак. Мать, понимаешь ли, уезжает сегодня вечером.

— Конечно, забирай. Надеюсь, что скоро вам дадут назначение вместе, — сказала воспитательница, вскинув толстого ребенка на бедро, как мешок с зерном; лицо ее было печально, здоровый глаз щурился.

— До свидания, Шев, сердечко. Завтра знаешь что, завтра поиграем в грузовик с водителем.

Малыш все еще не простил ее. Он рыдал, обхватив отца за шею, и прятал лицо во тьму.

В то утро Оркестру понадобились для репетиции две скамейки, а в самой большой комнате учебного центра топала танцевальная группа, поэтому ребята, которые проходили курс «Учись говорить и слушать», уселись в кружок на пенокаменном полу мастерской. Встал первый доброволец — длинный, тощий восьмилетний мальчишка, большеногий, большерукий. Он держался очень прямо, как свойственно здоровым детям; его, заросшее легким пушком лицо сначала побледнело, потом, пока он ждал, чтобы остальные дети начали слушать, покраснело.

— Давай, Шевек, — сказал руководитель группы.

— Ну, мне пришла в голову одна мысль.

— Громче, — сказал руководитель, грузноватый мужчина двадцати с небольшим лет.

Мальчик улыбнулся от смущения.

— Ну, понимаете, я думал… вот, скажем, я бросаю во что-нибудь камень. Скажем, в дерево. Я его бросаю, он летит и попадает в дерево. Но он не может в него попасть. Потому что… Можно мне доску? Смотрите, вот я бросаю камень, а вот оно дерево. — Он быстро рисовал на грифельной доске. — Вот это — такое дерево, а вот камень — на полпути между нами, видите? — Дети захихикали над тем, как он изобразил холумовое дерево, и он улыбнулся. — Чтобы долететь от меня до дерева, камень должен оказаться на середине пути между мной и деревом, так? А потом — на середине пути между той серединой пути и деревом. А потом — опять на полпути между этой серединой и деревом. И не важно, далеко ли он залетел, всегда есть такое место, только по правде это — время, которое лежит на полпути между тем последним местом и деревом…

— Вы считаете, что это интересно? — перебил руководитель, обращаясь к остальным ребятам.

— Почему он не мог долететь до дерева? — спросила десятилетняя девочка.

— Потому что ему каждый раз нужно пролететь половину оставшегося пути, и всегда остается половина остального пути, понимаешь?

— Может быть, просто будем считать, что ты плохо прицелился, когда бросил камень? — натянуто улыбаясь, сказал руководитель.

— Неважно, как целиться. Он не может долететь до дерева.

— Кто подсказал тебе эту мысль?

— Никто. Я ее вроде как увидел. По-моему, я вижу, как камень действительно…

— Хватит.

Некоторые дети разговаривали между собой, но тут вдруг замолчали, словно онемев. Мальчик с грифельной доской стоял в наступившей тишине с испуганным видом, хмурясь.

— Говорить — значит делиться, это искусство, требующее сотрудничества. А ты не делишься, а просто эгоизируешь.

С другого конца зала слышались противно-бодрые звуки оркестра.

— Ты не сам об этом догадался, это было не самостоятельно. Я читал что-то очень похожее в одной книге.

Шевек удивленно уставился на руководителя.

— В какой книге? Здесь есть такая книга?

Руководитель встал. Он был вдвое выше и втрое грузнее своего противника, и по его лицу было ясно, что он терпеть не может этого ребенка; но в эго позе не было угрозы физического

насилия, только утверждение своей власти, немного ослабленное его раздраженным ответом на странный вопрос ребенка: «Нет! И прекрати эгоизировать!» — Потом он снова заговорил певуче-наставительным тоном:

— Это, в сущности, прямо противоположно тому, к чему мы стремимся в группах «Учись говорить и слушать». Речь — это функция, имеющая два направления. В отличие от большинства из вас, Шевек еще не готов понять это, и поэтому его присутствие нарушает работу нашей группы. Ты же и сам это чувствуешь, Шевек, не так ли? Я бы предложил тебе найти группу, которая работает на твоем уровне.

Больше никто ничего не сказал. Молчание и громкая, неприятная музыка не прекращались; мальчик отдал доску и вышел из круга. Выйдя в коридор, он остановился. Группа, из которой он ушел, под руководством преподавателя начала по очереди сочинять групповой рассказ. Шевек прислушивался к их приглушенным голосам и к своему все еще колотившемуся сердцу. В его ушах стоял звон, не от оркестра, а тот, который слышится, когда стараешься не разреветься; он и раньше несколько раз замечал этот звон. Ему было неприятно слушать его и не хотелось думать про камень и дерево, поэтому он стал думать про Квадрат. Квадрат состоял из чисел, а числа — всегда спокойные и прочные; когда он делал какую-нибудь ошибку, он мог обратиться к ним, потому что в них не было ни ошибок, ни недостатков. Не так давно он впервые представил себе этот Квадрат, узор в пространстве, как узоры, которые музыка рисует во времени: квадрат из первых девяти целых чисел, с 5 в центре. Как ни складывай числа в рядах, всякий раз получается одно и то же число, всякое неравенство уравновешивается; смотреть на это было приятно. Если бы только суметь собрать группу, которой было бы интересно разговаривать о таких вещах; но это нравится только нескольким мальчикам и девочкам постарше, а им некогда. А что это за книга, про которую говорил руководитель? Может, она вся — из чисел? Может, там объяснение, как камень долетает до дерева? Дурак он, что рассказал им эту шутку про камень и дерево, никто даже и не понял, что это шутка, прав был руководитель. У Шевека заболела голова. Он стал смотреть внутрь себя, внутрь, на спокойные узоры.

Если бы какая-нибудь книга вся была написана одними только числами, в ней все было бы правдой. Она была бы справедливой. Когда говоришь словами, всегда все получается не совсем так. Когда говоришь какие-то вещи словами, они перекручиваются, перепутываются между собой, вместо того, чтобы оставаться незапутанными и подходить друг к другу. Но под Словами, в центре, как в центре Квадрата, все получается, как надо. Все может измениться, но ничего не пропадет. Если видишь числа, то сможешь увидеть и это, увидеть равновесие, узор. Видишь основание, на котором стоит мир. И оно — прочное.

Шевек научился ждать. Он это хорошо умел, стал специалистом по этой части. Впервые он овладел этим искусством, когда ждал, чтобы вернулась его мать Рулаг, хотя это было так давно, что он уже не помнил этого; а усовершенствовался в нем, постоянно ожидая своей очереди, ожидая возможности поделиться, ожидая, когда поделятся с ним. В восемь лет он спрашивал: «почему», и «как», «а что, если», — но редко спрашивал: «когда».

Он ждал, чтобы отец приехал и взял его на побывку. Ждать пришлось долго: шесть декад. Палат получил краткосрочное назначение в систему техобслуживания на Заводе Регенерации Воды, а после этого собирался провести декаду на пляже в Маленнине, где был намерен плавать, и отдыхать, и совокупляться с женщиной по имени Пипар. Все это он объяснил сыну. Шевек доверял ему, и он заслуживал доверия. Когда шестьдесят дней кончились, он подошел к детским общежитиям в Широких Равнинах, длинный, худой, выглядевший еще печальнее, чем всегда. По существу, ему нужно было не просто совокупляться. Ему нужна была Рулаг. Увидев мальчика, он улыбнулся и страдальчески наморщил лоб.

Им было приятно быть друг с другом.

— Палат, ты когда-нибудь видел такие книги, чтобы в них были одни числа?

— Что ты имеешь в виду, математику?

— Наверное, да.

— Как вот эта?

Палат вынул из кармана верхней блузы книгу. Она была маленькая, специально, чтобы носить в кармане, и — как большинство книг — была в зеленом переплете с вытесненным на нем Кругом Жизни. Она была напечатана очень плотно, мелким шрифтом и с узкими полями, потому что бумага — материал, для изготовления которого нужно очень много холумовых деревьев и очень много труда людей, как всегда говорил раздатчик письменных принадлежностей, когда испортишь лист и подойдешь за новым. Палат протянул раскрытую книгу Шевеку. Весь разворот был занят столбиком цифр. Вот они, здесь, как он себе и представлял. Ему в руки дали договор о вечной справедливости. «Логарифмические Таблицы, Основания от 10 до 12» — гласило название на переплете, над Кругом Жизни.

Мальчик довольно долго рассматривал первую страницу.

— А зачем они? — спросил он, потому что эти числа были явно помещены сюда не только из-за красоты. Инженер, сидя рядом с ним на жестком диване в холодной, плохо освещенной комнате отдыха барака, стал объяснять ему логарифмы. На другом конце комнаты два старика играли в «Чей верх» и кудахтали от смеха. Очень юная парочка вошла, спросила, есть ли свободная отдельная комната на сегодняшнюю ночь, и отправилась в нее. Дождь яростно забарабанил по металлической крыше одноэтажного барака и быстро перестал. Дожди всегда кончались быстро. Палат достал свою логарифмическую линейку и показал Шевеку, как с ней обращаться; за это Шевек показал ему Квадрат и принцип его построения. Было уже очень поздно, когда они спохватились, что уже поздно. В изумительно благоухающей после дождя мутной тьме они добежали до детского общежития, где ночной дежурный слегка пожурил их. Они торопливо поцеловались, трясясь от смеха, и Шевек бегом бросился в большую общую спальню, к окну, из которого ему было видно, как отец возвращается обратно по единственной улице Широких Равнин, в мокрой, наэлектризованной темноте.

Мальчик улегся в постель с немытыми ногами и увидел сон. Ему снилось, что он идет по дороге в какой-то пустыне. Далеко впереди дорогу пересекала какая-то линия. Когда он подошел к ней, он увидел, что это — стена. Она пересекала всю эту пустыню от одного края горизонта до другого. Она была непрозрачная, темная и очень высокая. Дорога подошла к ней вплотную и кончилась.

Он должен был идти дальше — и не мог. Стена не пускала его. В нем вспыхнул мучительный, злой страх. Ему обязательно нужно было идти дальше, а то он никогда не сможет вернуться домой. Но перед ним была стена. Пути не было.

Он колотил руками по гладкой поверхности стены и орал на нее. Он услышал свой крик, каркающий, без слов. Испуганный звуком своего голоса, он съежился и пригнулся и вдруг услышал другой голос, сказавший: «Смотри». Это был голос его отца. Ему казалось, что его мать, Рулаг, тоже здесь, хотя он не видел ее (он не помнил ее лица). Ему казалось, что и она, и Палат — оба стоят на четвереньках в темноте под стеной, и что они крупнее, чем люди, и какой-то другой формы. Они показывали ему на что-то, лежавшее там, на земле, на кислой почве, на которой ничего не росло. Там лежал камень. Он был темный, как стена, но на нем — или внутри него — было число, сначала ему показалось, что 5, потом он принял его за 1, потом понял, что это такое — это было первичное число, которое есть одновременно и единица и множество. «Это краеугольный камень», — сказал чей-то знакомый и милый ему голос, и Шевека насквозь пронзила радость. В этой тени не было стены, и он понял, что вернулся, что он дома.

Потом он не мог вспомнить подробностей этого сна, но как нахлынула пронзительная

радость, он не забыл; он никогда не испытывал ничего подобного ей; таким надежным было обещание неизменности и постоянства, которые она сулила, — словно увиденный на миг свет, который ровно светит все время, — что он ни разу не подумал об этой радости, как о нереальной, хотя испытал ее во сне. Вот только, как бы надежно она ни присутствовала там, он ни разу не смог вновь обрести ее, ни тем, что страстно ждал ее, ни усилием воли. Он мог только вспоминать ее, просыпаясь. Когда ему опять снилась стена — а это иногда случалось — сны были мрачные и ничем определенным не кончались.

Понятие о «тюрьмах» они получили из некоторых эпизодов в «Жизни Одо», которую читали все они, все кто решил заниматься историей. В книге было много непонятных мест, а в Широких Равнинах никто не разбирался в истории настолько, чтобы суметь объяснить их; но к тому времени, как они дошли до периода, проведенного Одо в Форту Дрио, понятие «тюрьма» стало ясно само собой. А когда разъездной учитель истории проезжал через их городок, он подробно объяснил им это — неохотно, как всякий порядочный взрослый, вынужденный объяснять детям нечто непристойное. Да, — сказал он, — тюрьма — это такое место, куда Государство помещает людей, которые не подчиняются его Законам. Но почему же они просто не уходят из этого места? — Не могут, двери заперты. — Как это «заперты»? — Глупый, как в грузовике на ходу, чтобы ты не выпал! — А что же они делают все время в комнате? — Ничего. Там нечего делать. Вы же видели картины, изображающие Одо в тюремной камере в Дрио, верно? Образ вызывающего терпения, склоненная седая голова, стиснутые руки, неподвижность в наползающих тенях. Иногда заключенных приговаривают к работе. — Приговаривают? — Ну, это значит, что судья — человек, которому Законом дана власть — приказывает им выполнять какую-то физическую работу. — Приказывает им? А если им не хочется делать эту работу? — Ну, их заставляют выполнять ее; если они не работают, их бьют. — Дрожь пронизала слушавших детей, одиннадцатилетних, двенадцатилетних; ведь ни одного из них никто ни разу в жизни не ударил, и никто из них ни разу в жизни не видел, чтобы кто-нибудь кого-нибудь ударил, кроме случаев, когда это было вызвано непосредственно чисто личной злостью.

Тирин задал вопрос, который пришел в голову всем:

— Значит, много людей стали бы бить одного человека?

— Да.

— У надзирателей было оружие. У заключенных — нет, — сказал учитель. Он говорил с резкостью человека, который вынужден сказать гадость и смущен этим.

Всякое извращение обладает примитивной притягательной силой; это свело Тирина, Шевека и трех других мальчишек. Девочек они в свою компанию больше не допускали, хотя не сумели бы объяснить, почему. Тирин нашел идеальную тюрьму под западным крылом учебного центра. Это было пространство, которого как раз хватало, чтобы в нем мог лежать или сидеть один человек; оно было образовано тремя бетонными стенами фундамента и нижней стороной пола над фундаментом; стены фундамента были частью бетонной формы, пол составлял с ними единое целое, и тяжелая плита из пенокамня полностью отрезала бы его от внешнего мира. Но дверь надо было запереть. После некоторых попыток они обнаружили, что две подпорки, вставленные между противоположной стеной и плитой, запирают дверь с устрашающей бесповоротностью. Никто не сумел бы открыть эту дверь изнутри.

— А как же со светом?

— Никакого света, — сказал Тирин. О таких вещах он говорил авторитетно, потому что его воображение позволяло ему ощутить, что он находится внутри воображаемого. Если он располагал какими-то фактами, он использовал их, но уверенность ему придавали не факты. — В Дрио, в Форту, заключенных оставляли в темноте. Годами.

— Да, но как же воздух? — спросил Шевек. — Эта дверь прилегает плотно, как вакуумное

сцепление. В ней нужно сделать дырку.

— Да ведь пенокамень сверлить — это сколько часов уйдет. И кто же станет сидеть в этом ящике столько, чтобы воздух кончился!

Хор добровольцев и претендентов.

Тирин посмотрел на них насмешливым взглядом.

— С ума вы все посходили. Кому охота, чтобы его взаправду заперли в такой дыре? Зачем?

Сделать тюрьму — была его идея, и этого ему было довольно; он не понимал, что некоторым людям воображения недостаточно, они должны войти в камеру, должны попытаться открыть дверь, которая не открывается.

— Я хочу попробовать, как это, — сказал Кадагв, широкогрудый, серьезный, высокомерный двенадцатилетний мальчик.

— Думай головой! — ехидно сказал Тирин, но остальные поддержали Кадагва. Шевек притащил из мастерской дрель, и они провертели в «двери» на уровне носа сквозную двухсантиметровую дыру. Как Тирин и предсказывал, на это ушел почти час.

— Сколько ты хочешь там пробыть, Кад? Час?

— Слушайте, — сказал Кадагв, — если я — заключенный, то я не могу решать. Я не свободен. Это вы должны решить, когда меня выпустить.

— Верно, — сказал Шевек, которому от этой логики стало не по себе.

— Ты там не слишком засиживайся, Кад, я тоже хочу посидеть, — сказал Гибеш, самый младший из них. Заключенный не удостоил его ответом. Он вошел в камеру. Дверь подняли, с грохотом установили на место и заклинили подпорками, причем все четыре тюремщика с энтузиазмом забивали их между дверью и стеной. Потом все столпились у дырки для воздуха, чтобы посмотреть на своего пленника, но ничего не увидели, потому что свет попадал в тюрьму только через это отверстие.

— Смотри, не выдыши у бедного засранца весь воздух!

— Вдуй ему туда немножко воздуха!

— Вперни!

— Сколько мы его продержим?

— Час.

— Три минуты.

— Пять лет!

— До отбоя четыре часа. По-моему, этого хватит.

— Но я тоже хочу там посидеть!

— Ладно, мы тебя там на всю ночь оставим.

— Нет, я имел в виду — завтра.

Через четыре часа они вышибли подпорки и освободили Кадагва. Он вышел, оставаясь таким же хозяином положения, как и когда входил, и сказал, что хочет есть, и что это все ерунда, он почти все время проспал.

— А еще раз ты бы согласился? — с вызовом спросил Тирин.

— А то!

— Нет, теперь моя очередь!

— Да заткнись ты, Гиб. Ну, Кад? Войдешь прямо сейчас туда обратно, не зная, когда мы тебя выпустим?

— А то!

— Без еды?

— Заключенных кормили, — сказал Шевек. — Это-то во всем этом и есть самое нелепое.

Кадагв пожал плечами. У него был вид высокомерного долготерпения, совершенно

невыносимый.

— Слушайте, — сказал Шевек двум самым младшим мальчишкам, — сходите на кухню, попросите остатков, да захватите воды — полную бутылку или что-нибудь такое. — Он обернулся к Кадагву. — Мы тебе дадим целый мешок еды, так что можешь сидеть в этой дыре, сколько захочешь.

— Сколько вы захотите, — поправил Кадагв.

— Ладно. Лезь! — Самоуверенность Кадагва пробудила в Тирине жилку сатирического актера. — Ты — заключенный. Ты не имеешь права возражать. Понял? Повернись кругом. Положи руки на голову.

— Зачем?

— Что, передумал?

Кадагв угрюмо повернулся к нему лицом.

— Ты не имеешь права спрашивать, почему. Потому что, если спросишь, мы можем тебя побить, а тебе придется стерпеть это, и никто тебе не поможет. Потому что мы можем тебе напинать по яйцам, а ты не имеешь права дать нам сдачи. Потому что ты не свободен. Ну, как, хочешь довести это дело до конца?

— А то! Стукни меня.

Тирин, Шевек и заключенный стояли лицом друг к другу, — странная замершая группа вокруг фонаря, в темноте, среди тяжелых стен фундамента.

Тирин улыбнулся — дерзко, с наслаждением:

— Ты мне не указывай, что мне делать, спекулянт поганый. Заткнись и лезь в камеру! — И, когда Кадагв повернулся, чтобы выполнить приказание, Тирин выпрямленной рукой толкнул его в спину, так что он с размаху упал. Кадагв резко охнул, то ли он неожиданности, то ли от боли, и сел, держась за палец, ободранный или выбитый о заднюю стенку камеры. Шевек и Тирин молчали. Они стояли неподвижно, с нич его не выражающим лицами, в роли тюремщиков. Теперь уже не они играли эту роль, она сама владела ими. Младшие мальчики вернулись, неся холумовый хлеб, дыню и бутылку воды; они разговаривали между собой, но странное молчание у камеры сразу же охватило и их. Еду и воду просунули в камеру, дверь подняли и заклинили. Кадагв остался один в темноте. Остальные столпились вокруг фонаря. Гибеш прошептал:

— А куда он будет писать?

— В постель, — сардонически-четко ответил Тирин.

— А если он какать захочет? — спросил Гибеш и вдруг звонко засмеялся.

— Что смешного в том, что человек хочет какать?

— Я подумал… вдруг он не увидит… в темноте… — Гибеш не сумел толком объяснить, что его так рассмешило. Они все начали хохотать — без объяснений, захлебываясь смехом, пока не стали задыхаться. Все понимали, что мальчику, запертому там, внутри, слышно, как они смеются.

В детском общежитии уже прошел отбой, свет погасили, и многие взрослые уже тоже легли спать, хотя кое-где в бараках еще горел свет. Улица была пуста. Мальчишки с хохотом неслись по ней, окликая друг друга, вне себя от радостного сознания, что у них есть общая тайна, что они мешают другим, что они озорничают. В своем общежитии они перебудили половину ребят, гоняясь друг за другом по холлам и между кроватями. Никто из взрослых не вмешался; постепенно шум затих.

Тирин и Шевек еще долго сидели на кровати Тирина и шептались. Они решили, что Кадагв сам нарвался, и теперь пусть сидит в тюрьме целых две ночи.

Во второй половине дня из группа собралась в мастерской регенерации пиломатериалов, и мастер спросил, где Кадагв. Шевек переглянулся с Тирином. Не ответив, он почувствовал себя

умным, хитрым, могущественным. Но когда Тирин спокойно ответил, что он, наверно, сегодня пошел в другую группу, эта ложь неприятно поразила Шевека. Ему вдруг стало не по себе от своего чувства тайного могущества: у него зачесались ноги, загорелись уши. Когда мастер обратился к нему, он резко вздрогнул от страха, или тревоги, или от какого-то подобного чувства, которого он раньше никогда не испытывал; это было что-то вроде смущения, только хуже: глубоко внутри и мерзкое… Он заделывал и шлифовал песком дырки от гвоздей в трехслойных холумовых досках и сами доски шлифовал песком до шелковистой гладкости. И каждый раз, как он заглядывал в свои мысли, в них оказывался Кадагв. Это было отвратительно.

Гибеш, которого они поставили часовым после обеда, с встревоженным видом к Тирину и Шевеку.

— Мне послышалось, что Кад там что-то говорит. Каким-то чудным голосом.

Все помолчали.

— Мы его выпустим, — сказал Шевек.

Тирин напустился на него:

— Да брось ты, Шев, чего ты сопли-то распустил. Не впадай в альтруизм! Пусть досидит до конца, тогда сам себя потом уважать сможет.

— Какой, к черту, альтруизм. Я хочу себя уважать, — ответил Шевек и направился к учебному центру. Тирин знал его; он больше не стал тратить время на спор с ним, а пошел следом. Одиннадцатилетние плелись сзади. Они проползли под зданием к камере. Шевек вышиб одну подпорку, Тирин — вторую. Дверь тюрьмы с глухим грохотом упала наружу.

Кадагв лежал на земле на боку, свернувшись калачиком. Он сел, потом очень медленно встал и вышел наружу. Он сутулился больше, чем было нужно из-за низкого потолка, и часто-часто мигал от света фонаря, но выглядел, как обычно. Воняло от него невероятно. Пока он сидел в камере, у него неизвестно почему сделался понос. В камере было нагажено, на рубашке у него были мазки желтого кала. Когда при свете фонаря он увидел это, он попытался прикрыть их рукой. Никто ничего не сказал.

Когда они выползли из-под здания и повернули к общежитию, Кадагв спросил:

— Сколько прошло-то?

— Около тридцати часов, считая первые четыре.

— Долго, — без особого убеждения сказал Кадагв.

Когда они отвели его в душевую отмываться, Шевек бегом кинулся в уборную. Там он наклонился над унитазом, его стало рвать. Спазмы прекратились только через четверть часа. Когда они прошли, он почувствовал себя совершенно вымотанным, ноги у него дрожали. Он пошел в общую комнату отдыха, немножко почитал физику и рано лег спать. Ни один из всех пятерых больше ни разу не подходил к тюрьме под учебным центром. Никто из них ни разу не упомянул об этом случае, кроме Гибеша, который однажды похвастался им нескольким мальчикам и девочкам постарше; но они ничего не поняли, и он перестал говорить об этом.

Высоко над Региональным Институтом Благородных и Материальных Наук Северного Склона стояла Луна. Четыре паренька лет пятнадцати-шестнадцати сидели между островками колючей травы земляного холума и смотрели вниз на Региональный Институт и вверх на Луну.

— Интересно, — сказал Тирин. — Я раньше никогда не думал…

Остальные трое должным образом прокомментировали очевидность этого замечания.

— Я раньше никогда не думал, — невозмутимо продолжил Тирин, — о том, что там, на Уррасе, сидят на холме люди, смотрят на Анаррес, на нас, и говорят: «Глядите, вон Луна». Наша земля — их Луна, а наша Луна — их земля.

— Так в чем же Истина? — продекламировал Бедап и зевнул.

— В этом холме, на котором мы сидим, — сказал Тирин.

Все они продолжали неотрывно смотреть вверх на сверкающий, расплывчатый кусок бирюзы, не совсем круглый, уже начинавший убывать. Северная ледовая шапка сверкала так, что глазам было больно.

— На севере погода ясная, — сказал Шевек. — Солнечная. А вон та коричневая шишка — это А-Ио.

— Они там все валяются на солнце голые, — сказал Кветур, — с драгоценными камнями в пупках, и волос на них нет.

Все помолчали.

На вершину холма они забрались, чтобы побыть в чисто мужской компании. Присутствие женского пола их всех угнетало. Последнее время им казалось, что мир полон девочек. Куда бы они не поглядели, наяву ли, во сне ли — всюду они видели девочек. Все они пробовали совокупляться с девочками, некоторые из них с отчаяния даже пробовали не совокупляться с девочками. Ни то, ни другое не помогало. Все равно всюду были девочки.

Три дня назад на занятии по Истории Одонианского Движения они все смотрели один и тот же видеоурок, и образ переливающихся всеми цветами радуги драгоценных камней в гладкой ямке пупка на блестящих от масла женских животах с тех пор тайно преследовал каждого из них.

А еще они видели мертвые тела детей, волосатые, как и их собственные тела, сложенные на песчаном берегу моря штабелями, как металлолом, негнущиеся и ржаво-рыжие, и люди обливали эти детские тела нефтью и поджигали. «Голод в Провинции Бачифойл (государство Ту)» — сказал голос комментатора. — «Трупы детей, умерших от голода и болезней, сжигают на пляжах. А на пляжах Тиуса, в 700 км отсюда, в государстве А-Ио (тут-то и показались на экране украшенные драгоценными камнями пупки) женщины, которых содержат специально для удовлетворения сексуальных потребностей мужчин класса имущих (комментатор употребил иотийские слова, так как в правийском языке не было эквивалента ни для того, ни для другого термина), лежат на песке весь день, пока люди из класса неимущих не принесут им обед». Крупным планом — обедающие: нежные рты жуют и улыбаются, нежные руки тянутся за деликатесами, влажными горками лежавшими в серебряных чашах. И снова переключение на невидящее, бьющее по нервам лицо мертвого ребенка, с открытым, пустым почерневшим, пересохшим ртом. — «Боко-бок», — сказал спокойный голос.

Но образ, всплывший в сознании мальчиков подобно маслянистому, радужному пузырьку, был всегда один и тот же.

— Сколько лет этим пленкам? — спросил Тирин. — Они сняты еще до Заселения или современные? Они никогда не говорят.

— Не все ли равно? — возразил Кветур. — Так жили на Уррасе перед Одонианской Революцией. Одониане все перебрались оттуда сюда, на Анаррес. Так что, наверное, ничего не изменилось, они там, — он показал на огромную зеленовато-голубую Луну, — продолжают в том же духе.

— Откуда мы знаем, что продолжают?

— Что ты хочешь этим сказать, Тир? — спросил Шевек.

— Если этим фильмам сто пятьдесят лет, то на Уррасе сейчас все может быть совершенно по-другому. Я не говорю, что так оно и есть, но если бы это и было так, то как бы мы об этом узнали? Мы туда не летаем, мы с ними не разговариваем, никакой связи между планетами нет. Фактически мы и понятия не имеем, как сейчас живут на Уррасе.

— Люди из КПР (Управление Координации Производства и Распределения) знают. Они разговаривают с уррасти — с экипажами грузовых ракет, которые приземляются в Анарресском Космопорте. Они имеют постоянную информацию. Они вынуждены это делать, чтобы мы могли

все время торговать с Уррасом, а к тому же — знать, насколько большую угрозу они для нас представляют. — Бедап говорил разумные вещи, но ответ Тирина прозвучал резко.

— Ну, значит, КПРовцы знают, а мы — нет.

— Знаем, не знаем! — сказал Кветур. Я с ясельного возраста только и слышу, что про Уррас. По мне, так я бы этих изображений поганых уррасских городов и вымазанных жиром тел уррасти век бы не видал!

— Вот то-то и есть, — сказал Тирин с ликованием человека, рассуждающего логически. — Весь материал по Уррасу, доступный учащимся, — один и тот же. Отвратительно, безнравственно, экскрементально. Но послушайте. Если, когда первопоселенцы улетели, все было так плохо, то как же оно продолжалось сто пятьдесят лет? Если они были так больны, то почему же они не умерли? Почему их собственнические общества не рухнули? Чего мы так боимся?

— Заразиться, — сказал Бедап.

— Мы что, такие слабые, что не выдержим небольшого контакта? И вообще, не могут же они все быть больны? Каким бы ни было их общество, а хоть некоторые из них должны быть порядочными людьми. Разве мы все — идеальные одониане? Вы посмотрите на этого сопливого Пезуса!

— Но в больном организме обречена и здоровая клетка, — возразил Бедап.

— Ну, при помощи Аналогии можно доказать все, что угодно, и ты это знаешь. А вообще, откуда мы, собственно, знаем, что их общество больно?

Бедап немножко погрыз ноготь.

— Ты говоришь, что КПР и синдикат снабжения учебными пособиями нам врут про Уррас?

— Нет, я сказал, что мы знаем только то, что нам говорят. А вы понимаете, что нам говорят? — Тирин повернул к ним смуглое, курносое лицо, ясно видное в лунном свете. — Квет только что правильно сказал. Он все воспринял, как надо. Все же слышали: питайте к Уррасу отвращение, ненавидьте Уррас, бойтесь Урраса.

— Ну и что? — сердито спросил Кветур. — Ты посмотри, как они с нами, с одонианами, обращались!

— Они отдали нам свою Луну, не так ли?

— Да, чтобы не дать нам разрушить их спекулянтские Государства и установить там справедливое общество. И спорим, что как только они от нас избавились, так сразу и начали скорей-скорей создавать правительства и армии, потому что остановить их уже было некому.

Если бы для них открыли Космопорт, ты что думаешь, они бы к нам заявились как друзья и братья? Когда их — тысяча миллионов, а нас — двадцать миллионов? Они бы нас либо с лица земли стерли, либо сделали бы нас всех этими… ну, как их, слово есть такое… рабами, чтобы мы для них на рудниках работали!

— Ладно. Согласен, что бояться Урраса, вероятно, разумно. Но зачем ненавидеть? Ненависть не функциональна; зачем нас ей учат? Может быть, потому, что, если бы мы знали, какой Уррас на самом деле, он бы нам понравился?.. что-то на нем… кому-то из нас? Потому, что КПР хочет помешать не только некоторым из них прилететь с юда, но и некоторым из нас — захотеть отправиться туда?

— Отправиться на Уррас? — изумленно спросил Шевек.

Они спорили, потому что им нравился сам процесс спора, нравился свободный бег свободного ума по путям возможного, нравилось подвергать сомнению то, что не подлежало сомнению. Они были умны, их ум уже был дисциплинирован четкостью ясностью науки, и им было по шестнадцать лет. Но с этого момента спор перестал доставлять удовольствие Шевеку, как немного раньше — Кветуру. Он был встревожен.

— Да кто же захочет лететь на Уррас? — настойчиво спросил он. — Зачем?

— Это детский разговор, — сказал Кветур. — Вон, говорят, в некоторых других звездных системах тоже есть жизнь, — и он махнул рукой куда-то в залитое лунным светом небо. — Ну и что? Нам-то ведь повезло — мы родились здесь!

— Если мы лучше любого другого человеческого общества, — возразил Тирин, — то мы должны были бы им помогать. Но это нам запрещено.

— Запрещено? Это слово — не органическое. Кто запрещает? Ты овеществляешь саму интегративную функцию, — страстно сказал Шевек, наклонясь вперед. — Порядок не есть «приказ». Мы не покидаем Анаррес, потому что мы и есть Анаррес. Ты — Тирин и поэтому не можешь вылезти из кожи Тирина. Тебе, может, и хотелось бы попробовать побыть кем-нибудь другим, чтобы узнать, на что это похоже, но ты этого не можешь. Но разве тебе силой не дают этого сделать? Разве нас здесь удерживают силой? Что это за сила — какие законы, правительства, полиция? Ничего этого у нас нет. Просто наше собственное бытие, наша сущность как одониан. Твоя сущность — в том, чтобы быть Тирином, моя — в том, чтобы быть Шевеком, а наша общая сущность в том, чтобы быть одонианами, ответственными друг перед другом. И эта ответственность и есть наша свобода. Избежать ее означало бы потерять нашу свободу. Ты что, действительно хотел бы жить в обществе, где у тебя не было бы ни ответственности, ни свободы, ни выбора, а только право мнимого выбора между повиновением закону и неповиновением, за которым следует наказание? Ты бы действительно хотел пойти жить в тюрьму?

— Да нет, черт возьми. Что уж, и поговорить нельзя? С тобой, Шевек, беда в том, что ты ничего не говоришь, пока не накопишь целый вагон адски тяжелых кирпичей-аргументов, а потом как вывалишь их все сразу и даже не взглянешь на окровавленное тело, раздавленное этой горой кирпичей…

Шевек уселся с видом человека, доказавшего свою правоту.

Но, Бедап, коренастый, крепкий парень с квадратным лицом, грызя ноготь на большом пальце, сказал:

— Все равно, от сути того, что сказал Тирин, мы не ушли. Хорошо было бы знать, что мы знаем об Уррасе всю правду.

— Кто же, по-твоему, нам врет? — спросил Шевек.

Бедап невозмутимо встретил его внимательный взгляд.

— Кто, брат? Кто же, как не мы сами?

Планета-сестра лила на них свой свет, безмятежная и ослепительная, прекрасный пример невероятности реального.

Насаждение лесов на Западно-Темаэнской Литторали было одним из великих предприятий пятнадцатого десятилетия Заселения Анарреса; в нем были заняты в течение двух лет почти восемнадцать тысяч человек.

Хотя длинные пляжи Юго-Востока были плодородны и обеспечивали многие рыбацкие и земледельческие общины, пахотная земля лишь узкой полосой тянулась вдоль моря. Дальше от моря и к западу широкие равнины Юго-Запада на всем протяжении были почти необитаемы, если не считать нескольких лежащих далеко друг от друга рудничных городков. Этот район назывался Пыль.

В предыдущую геологическую эру Пыль была необъятным лесом холума — вездесущего, преобладающего на Анарресе вида растений. Климат тогда был жарче и суше. Длившаяся тысячелетиями засуха убила деревья и иссушила почву, превратив ее в мелкую серую пыль, которая теперь при каждом дуновении ветра поднималась, образуя холмы столь же чистых очертаний и столь же бесплотные, как всякая песчаная дюна. Анаррес надеялся восстановить

плодородие этой не знающей покоя земли, вновь насадив погибший лес. Это, по мнению Шевека, согласовалось с принципом Причинной Обратимости, который отвергала Секвенциальная школа физики, почитаемая в данный момент на Анарресе, но который все же оставался сокровенным, молчаливо подразумеваемым элементом одонианской мысли. Шевек хотел бы написать статью, в которой была бы показана связь идей Одо с идеями темпоральной физики, особенно — влияние Причинной Обратимости на то, как Одо трактует проблему цели и средств. Но в восемнадцать лет ему не хватало знаний, чтобы написать такую статью, а если он не сумеет в скором времени вернуться из этой чертовой Пыли к физике, у него этих знаний вообще никогда не будет.

По ночам в лагерях Проекта «Лес» все кашляли. Днем они кашляли меньше; они были слишком заняты, чтобы кашлять. Эта пыль была их врагом, мелкая, сухая гадость, забившая горло и легкие; их врагом и их подопечной, их надеждой. Когда-то эта пыль лежала в тени деревьев, густая и темная. Быть может, после их долгого труда опять станет так.

Лист зеленый из камня выводит она,

Ключ прозрачный — из сердца скалы…

Гимар все время напевала про себя эту мелодию, и теперь, возвращаясь жарким вечером по равнине в лагерь, она пропела эти слова вслух.

— Кто? Какая «она»? — спросил Шевек.

Гимар улыбнулась. Ее широкое шелковистое лицо было измазано пылью, местами спекшейся, все волосы были в пыли, от нее сильно и приятно пахло потом.

— Я выросла на Южном Взгорье, — ответила она. — Там, где живут рудокопы. Это песня рудокопов.

— Каких рудокопов?

— Разве ты не знаешь? Людей, которые уже были здесь, когда прибыли Поселенцы. Некоторые из них остались и присоединились к общине. Рабочие с золотых рудников, с оловянных рудников. У них еще есть свои праздники и свои песни. Тадде («папа». Маленький ребенок может называть «тадде» и «мамме» любого взрослого. «Тадде» Гимар мог быть ей отцом, дядей или просто взрослым — не родственником ей, относившимся к ней с отцовской или дедовской привязанностью. Она могла называть «тадде» или «мамме» нескольких человек, но это слово употребляется в более специфических случаях, чем «аммар» (брат/сестра), которым можно называть любого) был рудокопом, он мне это пел, когда я была маленькая.

— Ну, так кто же «она»?

— Не знаю, просто в песне так говорится. Разве мы здесь делаем не то же самое? Выводим зеленые листья из камней!

— Звучит, как религия.

— Да ну тебя с твоим заумными книжными словами. Просто песня такая. Ой, хоть бы вернуться в тот лагерь, там хоть поплавать можно было бы. От меня воняет!

— И от меня воняет.

— От нас всех воняет.

— Из солидарности…

Но теперешний лагерь был в пятнадцати километрах от Темаэ и плавать можно было только в пыли.

В лагере был мужчина, имя которого звучало похоже на имя Шевека: Шевет. Когда звали одного, откликался другой. Из-за этой случайной схожести Шевек чувствовал к этому человеку что-то вроде сродства, особую связь с ним, иную, чем братская. Пару раз он ловил на себе взгляд Шевета. Пока они еще не разговаривали друг с другом.

Первые декады в проекте «Лес» Шевек провел в молчаливом негодовании. Людей,

избравших для себя работу в центрально-функциональных областях, таких, как физика, не следует перебрасывать на все эти проекты и специальные трудовые повинности. Разве не безнравственно заниматься делом, которое тебе не нравится? Эту работу надо делать, но ведь очень многим совершенно все равно, куда их направляют, и они все время меняют занятия; вот пусть бы они и вызвались сюда. Эту работу каждый дурак сумеет делать. Собственно говоря, очень многие умеют ее делать лучше, чем он. Раньше он всегда гордился своей силой, и на сменном «дежурстве десятого дня» всегда добровольно вызывался на тяжелые работы; но здесь тяжело работать приходилось ежедневно, по восемь часов в день, в пыли, на жаре. Весь день он ждал вечера, когда он сможет остаться один и подумать — и как только он после ужина добирался до спальной палатки, голова его сама падала, и он спал до рассвета, как убитый, и ни одна мысль даже не заглядывала к нему в голову.

Товарищи по работе казались ему тупыми и хамоватыми, и даже те, кто был моложе его, обращались с ним, как с мальчишкой. Презирая все вокруг и негодуя, он находил удовольствие только в том, чтобы писать своим друзьям Тирину и Роваб письма кодом, который они придумали в Институте. Это был комплекс словесных эквивалентов для специальных символов темпоральной физики. Будучи записаны, они казались осмысленным письмом, но на самом деле не имели смысла, за исключением скрывавшегося за ними уравнения или философской формулы. У Шевека и Роваб уравнения были настоящими. Письма Тирина были очень забавны и убедили бы любого, что в них говорится о действительных чувствах и событиях, но физика в них вызывала сомнения. С тех пор, как Шевек обнаружил, что может составлять такие головоломки мысленно, ковыряя тупой лопатой дырки в скале во время пыльной бури, он часто посылал их друзьям. Тирин ответил несколько раз, Роваб — только раз. Она была холодной девушкой, он знал, что она холодная. Но никто из них там, в Институте, не знает, как ему плохо. Их, небось, не мобилизовали как раз в тот момент, когда они начали самостоятельные исследования, сажать эти проклятые деревья. Их центральная функция не пропадает зря. Они работают: делают то, что хотят делать. А он не работает — из него извлекают работу.

И все же странно, как гордишься тем, что вы здесь все вместе сделали — какое это дает удовлетворение. И некоторые из товарищей по работе оказались просто необыкновенными людьми. Гимар, например. Сначала ее мускулистая красота пугала его, но теперь он достаточно окреп, чтобы желать ее.

— Гимар, побудь сегодня ночью со мной.

— Ох, нет, — сказала она и взглянула на него с таким удивлением, что он с достоинством страдания сказал:

— А я думал — мы друзья.

— Мы и есть друзья.

— Но тогда…

— У меня есть партнер. Он там, дома.

— Могла бы и сказать, — покраснев, пробормотал Шевек.

— Да мне и в голову не пришло, что надо сказать. Ты извини, Шев.

Она посмотрела на него с таким сожалением, что он со слабой надеждой сказал:

— А может…

— Нет. В партнерстве так не поступают — кусочек ему, а кусочек кому-то.

— Я считаю, что пожизненное партнерство, по существу, противоречит одонианской этике, — резко и педантично сказал Шевек.

— Фигня, — ответила Гимар своим кротким голосом. — Иметь — плохо, делиться — хорошо. Что же человек может разделить с другим больше, чем самого себя, всего себя, всю свою жизнь, все ночи и все дни?

Он сидел, зажав руки между коленями, наклонив голову, длинный мальчик, худой — кожа да кости, безутешный, еще не ставший взрослым.

— Я на это не способен, — сказал он после долгой паузы.

— Ты?

— Я по-настоящему еще никого не знал. Ты же видишь — я не смог тебя понять. Я отрезан. Не могу ни к кому пробиться. И никогда не смогу. Глупо мне было бы думать о партнерстве. Такие вещи — для… для людей.

Робко, не кокетливо, а с робостью глубокого уважения Гимар положила руку ему на плечо. Она не стала утешать его, не стала говорить ему, что он такой же, как все. Она сказала:

— Я никогда не встречу другого такого, как ты, Шев. Я никогда тебя не забуду.

Но все равно, отказ есть отказ. Несмотря на всю ее деликатность, он ушел от нее с раненой душой и сердитым.

Погода была очень жаркая, прохлада приходила лишь на час, перед самой зарей.

Однажды вечером, после ужина, к Шевеку пришел человек по имени Шевет. Это был коренастый, красивый парень лет тридцати.

— Мне надоело, что меня путают с тобой, — сказал он. — Называйся какнибудь по-другому.

Раньше Шевек растерялся бы от такой угрюмой агрессивности. Теперь он просто ответил тем же.

— Сам смени себе имя, если оно тебе не нравится, — сказал он.

— Ты один из этих спекулянтишек, которые ходят в школу, чтобы ручки не запачкать, — заявил Шевет. — Мне всегда хотелось хоть одному из вас навтыкать.

— А ты меня спекулянтом не обзывай! — ответил Шевек, но это была не словесная перепалка. Шевет ударил его так, что он согнулся по полам. Он сумел несколько раз дать сдачи, потому что у него были длинные руки и больше злости, чем ожидал его противник; но перевес был не на его стороне. Несколько человек остановились, посмотрели, увидели, что дерутся честно, но ничего интересного в этом нет, и пошли дальше. Примитивная драка их не возмущала и не привлекала. Шевек не звал на помощь, значит, никого, кроме него самого, это не касалось. Когда он пришел в себя, оказалось, что он лежит навзничь на земле, в темном проходе между двумя палатками.

Несколько дней у него звенело в правом ухе; губа была рассечена и долго не заживала из-за пыли, которая растравляла все ранки. С Шеветом они больше ни разу не разговаривали. Шевек видел его издали, у других костров, и не чувствовал к нему вражды. Шевет дал ему все, что имел, и он принял этот удар, хотя долгое время не пытался дать ему оценку и не задумывался о его природе. К тому времени, как он сделал это, его уже невозможно было отличить от другого дара, от другой эпохи в его взрослении. Девушка, одна из новеньких в его рабочей команде, подошла к нему точно так же, как тогда Шевет — в темноте, когда он только что отошел от костра, и губа у него еще не зажила… Он никогда не мог вспомнить, что она сказала; она заигрывала с ним; его реакция опять была простой. В ночи они ушли на равнину, и там она отдалась ему. Это был ее дар, и он принял его. Как у всех детей Анарреса, у него был большой опыт сексуального общения как с девочками, так и с мальчиками, но и он, и они были детьми; он ни разу не проник дальше простого удовольствия, кроме которого, как он считал, ничего в этом нет. Бэшун, опытная в наслаждении, приобщила его к самой сути сексуальности, где нет ни злобы, ни неумелости, где два тела, стремящиеся соединиться друг с другом, в своем стремлении уничтожают момент и выходят за пределы своих «я», и выходят за пределы времени.

Сейчас все было так легко, так легко и прекрасно, в теплой пыли, под звездами. А дни были долгими, и жаркими, и яркими, и пыль пахла, как тело Бэшун.

Теперь он работал в посадочной бригаде. С Северо-Востока пришли грузовики, полные крошечных деревьев, тысяч саженцев, выращенных в Зеленых Горах, в поясе дождей, где в год выпадало до сорока дюймов дождя. Они сажали деревья в пыль.

Когда это работа была закончена, пятьдесят бригад, которые проработали здесь весь второй год, уехали на грузовиках-платформах, и, уезжая, оглядывались назад. Они увидели, что они сделали. Чуть заметная зеленая дымка покрывала бледные изгибы и уступы пустыни. На мертвой земле лежал, едва касаясь ее, покров жизни. Они кричали «ура», пели, перекрикивались с грузовика на грузовик. На глаза Шевека навернулись слезы. Он подумал: «Лист зеленый из камня выводит она…» Гимар уже давно перевели обратно на Южное Взгорье.

— Чего это ты гримасы строишь? — спросила Бэшун, прижимаясь к нему на трясущейся платформе и водя рукой по его твердому, побелевшему от пыли предплечью.

— Женщины, — говорил Вокеп на грузовой автостанции в Оловянных Рудах (Юго-Запад). — Женщины думают, что ты — ихняя собственность. Ни одна женщина не способна быть настоящей одонианкой.

— Но Одо сама…

— Теория. И никакой половой жизни с тех пор, как был убит Асиэо, верно? И вообще, всегда бывают исключения. Но большинство женщин… все их отношения с мужчинами сводятся к одному — иметь. Либо самой владеть, либо, чтобы ею владели.

— Ты думаешь, они в этом отношении отличаются от мужчин?

— Не думаю, я знаю. Мужчине нужна свобода. А женщине нужна собственность. Она тебя только тогда отпустит, если сможет обменять на что-нибудь еще. Все женщины — собственницы.

— Ничего себе вещи ты говоришь о половине рода человеческого, — сказал Шевек. Ему хотелось бы знать, прав ли Вокеп. Когда его перевели обратно на Северо-Запад, Бэшун так плакала, что ей стало плохо, она впадала в ярость, и рыдала, и пыталась заставить его сказать ей, что он без нее жить не может, и утверждала, что не может жить без него, и что поэтому они должны стать партнерами — партнерами, как будто она может хотя бы полгода пробыть с одним и тем же мужчиной!

В том языке, на котором Шевек говорил, в единственном, который он знал, не было собственнических терминов для обозначения полового акта. На правийском языке, если бы мужчина сказал, что он «имел» женщину, это было бы лишено смысла. Слово, по значению наиболее близкое к глаголу «е… ть» и так же, как он, применяемое как ругательство, имеет узкий смысл: оно означает «изнасиловать». Обычный глагол употребляется только с подлежащим во множественном числе и может быть переведен только нейтральным словом, например, «совокупляться». Он означает действие, совершаемое двумя людьми, а не то, что делает или имеет один человек. Такие словесные рамки — как и любые другие — не могут вместить всю полноту опыта, и Шевек сознавал, что какая-то область упущена, хотя он не понимал, какая именно. Конечно, в некоторые из этих залитых звездным светом ночей в Пыли он чувствовал, что владеет Бэшун, обладает ею. А она думала, что владеет им. Но они оба ошибались; и Бэшун, несмотря на свою сентиментальность, знала это; она, улыбнувшись, наконец, поцеловала его на прощание и отпустила. Его собственное тело испытало первый, потрясающий взрыв взрослой сексуальной страсти; это действительно владело им — и ею. Но с этим было покончено. Это случилось и прошло. И больше никогда (так думал он в восемнадцать лет, сидя с случайным попутчиком на грузовой автостанции в Оловянных рудах в полночь над стаканом липкого фруктового напитка, дожидаясь, чтобы кто-нибудь из уходящей на север автоколонны подвез его) не повторится. Многое еще случится, но второй раз он не даст застать себя врасплох, сбить с ног, победить. В поражении, в капитуляции была своя прелесть. Самой

Бэшун, кроме этого, может быть, и вообще никакой другой радости не нужно. Да и зачем ей? Ведь это она, в своей свободе, освободила и его.

— Знаешь, я не согласен, — сказал он унылому Вокепу, агрохимику, ехавшему в Аббенай. — Я думаю, что мужчинам большей частью приходится учиться быть анархистами. А женщинам этому учиться не приходится.

Вокеп угрюмо покачал головой.

— Это все дети, — сказал он. — То, что они детей рожают. Это их делает собственницами. Они вцепляются и не отпускают. — Он вздохнул. — Тут, брат, правило одно — во-время смотаться. Никогда не допускай, чтобы тобой завладели.

Шевек улыбнулся и допил фруктовый сок.

— Не допущу, — пообещал он.

Для него было радостью вернуться в Региональный Институт, увидеть низкие холмы, покрытые островками бронзоволистового холумового кустарника, огороды, бараки, общежития для одиноких, мастерские, классы, лаборатории, где он жил с тринадцати лет. Он навсегда останется человеком, для которого возвращение будет так же важно, как и уход. Уйти было для него недостаточно, лишь наполовину достаточно, он непременно должен был вернуться. Быть может, в такой тенденции уже заранее прослеживалась природа огромного исследования, которое ему предстояло предпринять, проникновения в самые пределы постижимого. Скорее всего, он не пустился бы в это затянувшееся на многие годы предприятие, не будь у него глубокой уверенности в том, что возвращение возможно, хотя сам он, быть может, и не вернется; что сама по себе природа его путешествия, как природа кругосветного плавания, подразумевает возвращение. В одну и ту же реку дважды не войти; точно так же невозможно и вновь вернуться домой. Это он знал; по существу, это было основой его мировоззрения. Но, примирившись с этой преходящестью, он вывел и развил из нее свою емкую теорию, которая показывает, что самое изменчивое является самым вечным, и твоя связь с рекой, и связь реки с тобой и с самой собой оказывается одновременно и более сложной, и более обнадеживающей, чем простое отсутствие тождественности. Ты можешь снова вернуться домой, — утверждает Общая Теория Времени, — при условии, что твой дом — место, где ты никогда не бывал.

Итак, он был рад вернуться к тому, что было настолько близко к понятию «домой», насколько он мог или хотел себе представить. Но его здешние друзья показались ему довольно зелеными юнцами. За этот год он изрядно повзрослел. Некоторые из девушек не отстали от него или обогнали его; они стали взрослыми женщинами.

Однако, он избегал всяких контактов с девушками, кроме самых осторожных, потому что в тот момент у него не было потребности в очередном большом сексуальном загуле, ему и без того было, чем заняться. Он видел, что самые способные из девушек, такие, как Роваб, были так же осторожны и осмотрительны; в лабораториях и рабочих бригадах, и в комнатах отдыха общежитий они держались чисто по-товарищески и не более того. Девушки хотели, прежде чем родить ребенка, доучиться и начать собственные исследования или найти работу, которая бы им нравилась; а подростковые сексуальные эксперименты их уже больше не удовлетворяли. Они хотели зрелых отношений, не бесплодных, но потом, позже.

Эти девушки были хорошими товарищами, дружелюбными и независимыми. Юноши, ровесники Шевека, казалось, застряли в конце какой-то инфантильности, которая уже как-то слабела и усыхала. Они были чересчур интеллектуальны. Казалось, им не хотелось полностью посвящать себя ни работе, ни сексу. Слушая разговоры Тирина, можно было подумать, что это он изобрел совокупление, но все его романы были с пятнадцати-шестнадцатилетними девочками; от ровесниц он шарахался. Бедап, который никогда не был особенно энергичен по части секса, принимал поклонение мальчика помоложе, питавшего к нему гомосексуально-

идеалистическое обожание, и этого ему хватало. Казалось, он ничего не принимает всерьез; он стал ироничным и скрытным. Шевек чувствовал себя исключенным из круга его друзей. Он терял всех друзей; даже Тирин был слишком эгоцентричен, а в последнее время и слишком подвержен переменам настроения, чтобы можно было восстановить старую дружбу — если бы Шевек этого захотел. Но на самом деле он этого не хотел. Он всем сердцем радовался своей изоляции. Ему и в голову не приходило, что сдержанность, с которой он столкнулся у Бедапа и Тирина, может быть ответной; что его тихий, но уже страшно замкнутый характер, возможно, сам формирует свое окружение, и противостоять этому способна лишь очень большая сила или очень большая преданность. В сущности, он замечал только одно — что наконец-то у него появилась масса времени для работы.

Там, на Юго-Востоке, после того, как он привык к непрерывному физическому труду и перестал расходовать умственные способности на переписку кодом, а сперму — на ночные поллюции, у него начали появляться кое-какие идеи. Теперь у него была возможность разработать эти идеи, посмотреть, есть ли в них что-нибудь.

Старшего преподавателя физики в Институте звали Митис. В то время она не руководила курсом физики, так как на каждую административную должность поочередно, на годичный срок, назначался каждый из двадцати постоянных сотрудников, но она работала в Институте уже тридцать лет, и голова у нее была лучше, чем у всех остальных. Вокруг Митис всегда было что-то вроде психологического свободного пространства, — так не бывает толпы вокруг вершины горы. Отсутствие всех преимуществ и нагрузок высокого положения четко видеть суть. Бывают люди с прирожденным авторитетом; у некоторых королей действительно бывает новое платье.

— Ту статью, что ты написал об Относительной Частоте, я отправила Сабулу, в Аббенай, — сказала она Шевеку, как обычно, отрывисто и приветливо. — Хочешь прочесть ответ?

Она подвинула к нему через стол неаккуратный клочок бумаги, явно — угол, оторванный от куска побольше. На нем мелко-мелко было нацарапано:

((ts)/2)R = o

Шевек оперся ладонями о стол и, не отрываясь, смотрел на этот клочок бумаги. Глаза у него были светлые, и свет из окна наполнял их, так что они казались прозрачными, как вода. Ему было девятнадцать лет, Митис — пятьдесят пять. Она смотрела на него с состраданием и восхищением.

— Вот этого-то и не хватало, — сказал он. Ощупью он нашел на столе карандаш и начал быстро писать на этом же обрывке бумаги. Когда он писал, его лишенное краски лицо, посеребренное тонкими короткими волосами, разрумянилось, уши покраснели.

Митис потихоньку обошла вокруг стола, чтобы сесть. У нее было нарушено кровообращение в ногах, и она не могла подолгу стоять. Но ее движение помешало Шевеку. Он поднял холодный, раздраженный взгляд.

— Я смогу это закончить за день — за два, — сказал он.

— Когда закончишь, Сабул хочет видеть результаты.

Наступило молчание. Краска отхлынула от лица Шевека, он опять заметил Митис, которую он любил.

— Зачем ты послала эту статью Сабулу? — спросил он. — С такой большой дыркой в середине! — Он заулыбался; он весь сиял от радости, что может заделать эту дырку в своих рассуждениях.

— Я подумала, что он сумеет найти твою ошибку. Я не смогла. И потом, я хотела, чтобы он увидел, чего ты ищешь… Знаешь, он захочет, чтобы ты поехал туда, в Аббенай.

Юноша не ответил.

— Ты хочешь поехать?

— Пока нет.

— Я так и думала. Но ты должен поехать. Из-за книг; и из-за тех умов, с которыми ты встретишься. Ты не должен губить такую голову в пустыне! — заговорила Митис с внезапной странностью. — Твой долг, Шевек, стремиться к самому лучшему; никогда не поддаваться на обман ложного уравнивания. Ты будешь работать с Сабулом; он хороший физик; он будет давать тебе большую нагрузку. Но у тебя будет возможность найти направление, которое ты захочешь разрабатывать. Пробудь здесь еще одну четверть, потом уезжай. И будь осторожен там, в Аббенае. Оставайся свободным. Власть — неотъемлемое свойство любого центра. Ты отправляешься в центр. Я мало знаю Сабула; я не знаю о нем ничего плохого; но помни вот что: ты будешь его человеком.

Формы единственного числа притяжательных местоимений в правийском языке применялись в основном для выразительности; в обыденной речи их избегали. Маленький ребенок мог сказать: «Моя мать», — но скоро он приучался говорить: «мать». Вместо «моя рука» говорили просто: «рука» и так далее; слова: «это мое, а то — твое» — по-правийски звучали так: «я пользуюсь этим, а ты пользуешься тем». Утверждение Митис: «Ты будешь его человеком» — звучало странно. Шевек непонимающе смотрел на нее.

— У тебя есть работа, — сказала Митис. У нее были черные глаза, они сверкали, словно от гнева. — Делай ее! — И она вышла, потому что в лаборатории ее ждала группа. Шевек растерянно смотрел на исписанный обрывок бумаги. Он думал, что Митис велит ему поскорее исправить уравнение. Лишь много позже он понял, что она сказала ему тогда.

Накануне его отъезда в Аббенай его соученики устроили в его честь вечеринку. Вечеринки устраивали часто, под любым пустяковым предлогом, но Шевека удивило, сколько энергии было вложено в эту; и он не мог понять, почему она так удалась. Не поддаваясь влиянию других, он не замечал, что сам влияет на них; он и понятия не имел, что к нему хорошо относятся.

Многие из них, должно быть, не один день копили для этой вечеринки свой ежедневный паек. Еды было невероятное количество. Выпечки было заказано столько, что пекарь дал волю фантазии и произвел на свет неведомые доселе лакомства: вафли с пряностями, наперченные квадратики теста к копченой рыбе, сладкие жареные лепешки, сочившиеся жиром. Были там фруктовые напитки, консервированные фрукты из района Керанского Моря, крошечные креветки, груды хрустящего жареного картофеля. Обильная, жирная еда опьяняла. Все очень развеселились, а некоторые объелись.

Были сценки и представления, отрепетированные и экспромты. Тирин обвешался лохмотьями из регенерационного контейнера и подходил то к одному, то к другому, изображая Бедного Уррасти, нищего — это было одно из иотийских слов, выученных всеми на уроках истории.

— Дайте мне деньги — канючил он, тряся рукой у них перед носом. — Деньги! Деньги! Почему вы не даете мне деньги? У вас нет? Грязные собственники! Спекулянты! Гляньте на всю эту еду, откуда вы ее взяли, если у вас нет деньги? — Потом он выставил на продажу себя: — Кубите меня, кубите меня, за совсем немножко деньги, — упрашивал он.

— Не «кубите», а «купите», — поправила его Роваг.

— «Кубите меня», «купите меня», какая разница, посмотрите, какое красивое тело, неужели оно вам не нужно? — ворковал Тирин, виляя узкими бедрами и строя глазки. В конце концов его принародно казнили рыбным ножом, после чего он убежал и появился уже в нормальной одежде. Среди них были искусные артисты и певцы, так что было много пения и танцев, а еще больше — разговоров. Все говорили, не умолкая, словно завтра им предстояло онеметь.

Ночные часы шли, и юные влюбленные уходили искать отдельные комнаты, чтобы

совокупляться; другие, захотев спать, расходились по общежитиям; наконец среди пустых чашек, рыбьих костей и крошек пирожных, которые им еще предстояло убрать до наступления утра, осталась маленькая кучка студентов. Но до утра было еще далеко. Они разговаривали. Разговаривая, они понемножку грызли то одно, то другое. Они — это Бедап, и Тирин, и Шевек, еще пара-тройка парней, три девушки. Они говорили о пространственном представлении времени в виде ритма и о связи древних теорий Числовых Гармоний с современной темпоральной физикой. Они говорили о том, каким стилем лучше всего плавать на длинные дистанции. Они говорили о том, было ли детство каждого из них счастливым. Они говорили о том, что такое счастье.

— Страдание — это недоразумение, — говорил Шевек, наклоняясь вперед, широко открыв просветлевшие глаза. Он был все еще долговязый и тощий, большерукий, лопоухий, угловатый; но он был очень красив в совершенстве здоровья и силы юного мужчины. Его серовато-коричневые волосы, как и у остальных, были тонкими и прямыми; как и остальные, он не стриг их и откидывал со лба назад, подхватывая повязкой. Лишь у одной из них — у темноволосой девушки с высокими скулами и плоским носом — была другая прическа; она постриглась в кружок, так, что волосы облегали ее голову блестящей шапочкой. Она не отводила от Шевека серьезного взгляда. Губы у нее жирные от жареных лепешек, а на подбородке — крошка.

— Оно существует, — сказал Шевек, разводя руками. — Оно реально. Я могу называть его недоразумением, но я не могу сделать вид, что оно не существует или когда-нибудь перестанет существовать. Страдание есть условие нашего существования. И когда оно приходит, мы узнаем его. Мы узнаем его как истину. Конечно, надо лечить болезни, не допускать голода и несправедливости, как и делает наш социальный организм. Но никакое общество не может изменить природу существования. Мы не можем предотвратить страдание. Эту боль и ту боль — да, но не Боль. Общество может облегчить только социальное страдание — излишнее страдание. Остальное остается. Корень, реальность. Всем нам, кто здесь сидит, предстоит узнать горе; если мы проживем пятьдесят лет, значит, пятьдесят лет мы будем чувствовать боль. А в конце мы умрем. Это — условие нашего рождения. Я боюсь жизни! Иногда мне… мне очень страшно. Любое счастье остается тривиальным. И все же я спрашиваю себя: может быть, все это — недоразумение? Вся эта погоня за счастьем, эта боязнь страдания… Может быть, вместо того, чтобы бояться его и убегать от него, можно… пробиться сквозь него, уйти за его пределы. За его пределами что-то есть. Ведь страдает наше «я», а есть место, где «я»… перестает существовать. Я не знаю, как это сказать. Но я полагаю, что та реальность, та истина, которую я распознаю в страдании так, как не распознаю ее в душевном спокойствии и счастье… что реальность боли — это не боль, если ты можешь прорваться сквозь нее. Если ты можешь вытерпеть ее до конца.

— Реальность нашей жизни — в любви, в солидарности, — сказала высокая девушка с добрыми глазами. — Истинное условие жизни человека — любовь.

Бедап покачал головой.

— Нет, Шев прав, — сказал он. — Любовь — просто один из путей сквозь боль, и она может сбиться с пути и промахнуться. Страдание никогда не промахивается. Но поэтому-то у нас и нет особенного выбора — переносить его или нет. Хотим — не хотим, а терпеть придется.

Девушка с короткими волосами затрясла головой:

— Но мы же не будем терпеть! Один из ста, один из тысячи проходит весь путь, весь путь до конца. А мы все, остальные, все время притворяемся счастливыми, а если нет, то просто впадаем в оцепенение. Мы страдаем, но недостаточно. И поэтому страдаем напрасно.

— Что же мы, по-твоему, должны делать? — спросил Тирин. — Каждый день по часу лупить себя молотком по голове, чтобы уж точно страдать достаточно?

— Ты делаешь из боли культ, — сказал кто-то еще. — Цель одонианина позитивна, а не

негативна. Страдание дисфункционально, кроме тех случаев, когда оно предупреждает организм об опасности. Психологически и социально оно разрушительно и не более того.

— А какая мотивация была у Одо, если не исключительная чувствительность к страданию — своему и чужому? — возразил Бедап.

— Но ведь принцип взаимопомощи направлен на предотвращение страдания!

Шевек сидел на столе, его длинные ноги болтались, не доставая до пола, лицо его было сосредоточенно-спокойным.

— Вы когда-нибудь видели, как умирает человек? — спросил он остальных. Большинство из них видело, в бараке или во время добровольного дежурства в больнице. Всем, кроме одного, доводилось помогать хоронить умерших.

— Когда я был в лагере на Юго-Востоке, там был один человек… я тогда в первый раз увидел такое. В моторе аэромобиля что-то испортилось, он при взлете упал и загорелся. Того человека вытащили всего обгоревшего. Он еще два часа прожил. Спасти его было нельзя; не было никаких оснований, чтобы он столько прожил, никакого оправдания этим двум часам. Мы ждали, чтобы с побережья самолетом прислали обезболивающее. Я остался с ним, и еще несколько девушек, мы там в это время нагружали самолет. Врача не было. Для него ничего нельзя было сделать, только оставаться там, быть с ним. У него был шок, но он почти все время был в сознании. Ему было жутко больно, особенно руки болели… он, по-моему, не знал, что у него вообще все тело обуглено, он больше всего чувствовал руки. До него нельзя было дотронуться, чтобы как-то его утешить — от прикосновения отваливались кожа и мясо, и он начинал дико кричать. И помочь ему было невозможно. Нечем было помочь. Может, он и сознавал, что мы там, с ним, не знаю. Легче ему от этого не было. Ему ничем нельзя было помочь. И тогда я понял… понимаете… понял, что никто никому не может ничем помочь. Мы не можем спасти друг друга. И себя тоже.

— Ну, и что же ты оставил? Изоляцию и отчаяние! Ты отрицаешь братство, Шевек! — воскликнула высокая девушка.

— Нет… нет, не отрицаю. Я пытаюсь сказать, что такое, по-моему, братство в действительности. Оно начинается… Оно начинается с разделенной боли.

— А где оно тогда кончается?

— Не знаю. Еще не знаю.

Глава третья. УРРАС

Все первое утро на Уррасе Шевек проспал, а когда проснулся, нос у него был заложен, горло болело, и он все время кашлял. Он подумал, что простудился — с обыкновенной простудой не сумела справиться даже одонианская гигиена — но доктор, который ждал, чтобы осмотреть его, пожилой, величественный, сказал, что это больше похоже на сильную сенную лихорадку, аллергическую реакцию на чужеродные для Шевека уррасские пыль и пыльцу растений.

Он дал таблетки, сделал укол, что Шевек принял безропотно, и велел подать завтрак, что Шевек принял с жадностью. Доктор велел ему не выходить на улицу и ушел. Как только Шевек кончил есть, он начал обследовать Уррас — комнату за комнатой.

Для кровати, массивной кровати на четырех ножках, с матрацем, куда более мягким, чем в койке на «Внимательном», со сложным постельным бельем (некоторые вещи были тонкие и мягкие, как шелк, а некоторые — теплые и толстые), с горой подушек, похожих на кучевые облака, была предоставлена отдельная комната. Пол был покрыт упругим ковром; был там украшенный красивой резьбой комод из прекрасно отполированного дерева, и стенной шкаф, такой большой, что хватило бы на десятиместную общежитскую спальню. Еще была большая комната отдыха с камином, та, которую он видел вчера; и третья комната, в которой стояла ванна, умывальник и сложного устройства унитаз. Эта комната, как видно, предназначалась только для него одного, потому что вход в нее был из спальни, и каждое устройство в ней было только одно, но каждое отличалось чувственной роскошью такой силы, что она далеко превосходила простую эротику и, по мнению Шевека, являла собой предельный апофеоз экскрементальности. В этой третьей комнате он провел почти час, пользуясь всеми приспособлениями по очереди, и в процессе этого исследования стал очень чистым. А как здесь расходовали воду… это было просто поразительно. Вода не переставала течь из крана, пока его не закрутишь; в ванну входило, должно быть, целых шестьдесят литров, и из сливного бачка за один раз выливалось литров пять, не меньше. В сущности, это было не удивительно. Поверхность Урраса на пять шестых состояла из воды. Даже его пустыни были ледяными, у полюсов. Зачем им экономить — у них не бывает засух… Но куда же девается дерьмо? Он задумался об этом, стоя на коленях возле унитаза, после того, как обследовал его механизм. Должно быть, отфильтровывают из воды на фабрике навоза. На Анарресе были населенные пункты, где для регенерации применялась такая система. Он решил, что спросит об этом, но так и не собрался. Много было вопросов, которые он так и не задал на Уррасе.

Несмотря на заложенный нос, он чувствовал себя хорошо, и ему не хотелось сидеть на месте. В комнатах было так тепло, что он решил одеться попозже, и так и расхаживал голым. Он подошел к окнам большой комнаты и стоял, глядя наружу. Комната была расположена высоко; сначала он испугался и попятился, потому что ему было непривычно находиться в здании, в котором больше одного этажа. Это было все равно, что смотреть вниз с дирижабля: чувствуешь себя отделившимся от земли, властным, свободным от всего. Под самыми окнами росли деревья, а за ними стояло белое здание с изящной квадратной башней. За этим зданием уходила вдаль широкая долина. Вся она была была возделана, потому что все бесчисленные клочки земли зелени, расцвечивавшие ее, были прямоугольными. Даже там, где зеленое вдали сливалось с голубым, еще можно было различить темные линии дорожек, живых изгородей или деревьев, сеть столь же тонкую, как нервная система живого организма. А совсем далеко возвышались окаймлявшие долину холмы, синяя складка за синей складкой, мягкие и темные на фоне бледно-серого, без оттенков, неба.

Шевек никогда не видел ничего прекраснее этого пейзажа. Нежность и живость красок, смесь прямых линий, проведенных человеком, и мощных, обильных природных контуров, разнообразие и гармония всех элементов создавали впечатление сложной цельности, такой, какую он никогда еще не видел, разве что, быть может, порой встречал ее слабое предвестие на ясных и задумчивых лицах некоторых людей.

По сравнению с этим любой пейзаж, которым мог похвалиться Анаррес, даже Аббенайская долина и ущелья в горах Нэ-Тэра, был убогим: бесплодным, пустынным и примитивным. Просторы пустынь Юго-Запада были красивы, но эта красота была враждебной и вневременной. Даже там, где люди усерднее всего возделывали землю Анарреса, ландшафт по сравнению с этим завершенным великолепием жизни, полной чувства истории и грядущих времен, неистощимой, был подобен грубому наброску желтым мелом.

— Вот так и должна выглядеть планета, — подумал Шевек.

А там, снаружи, где-то среди зелено-голубой роскоши, в вышине что-то пело: тоненький голосок, невероятно нежный, то замолкавший, то вновь начинавший звучать. Что это такое? Мелодичный, дикий, слабый, нежный голосок, музыка в воздухе.

Он слушал, и у него перехватывало дыхание.

В дверь постучали. Обернувшись от окна, Шевек, голый и удивленный, сказал: «Войдите!»

Вошел какой-то человек со свертком. Он остановился у порога. Шевек подошел к нему, по анарресскому обычаю назвав свое имя и по уррасскому обычаю протягивая руку.

Вошедший, мужчина лет пятидесяти, с морщинами, испитым лицом, сказал что-то, из чего Шевек ни слова не понял, но руку пожимать не стал. Может быть, ему мешали свертки, но он даже не попытался переложить и освободить руку. Лицо у него было страшно серьезное. Возможно, он был смущен.

Шевек, полагавший, что хотя бы уррасскую манеру здороваться он освоил, растерялся.

— Заходите, — повторил он и, так как уррасти вечно применяли всякие титулы и почетные звания, добавил: — Сударь!

Вошедший опять произнес какую-то непонятную тираду, а сам тем временем бочком пробирался к спальне. На этот раз Шевек уловил несколько иотийских слов, но смысла остальных так и не разобрал. Он отпустил этого типа, раз уж ему, как видно, нужно было в спальню. Может, это его сосед по комнате? Но ведь кровать только одна. Шевек оставил его в покое и вернулся к окну, а тот торопливо прошел в спальню и несколько минут довольно шумно там возился. Только Шевек решил, что этот человек работает в ночную смену и пользуется этой спальней днем (так иногда делали во временно перенаселенных общежитиях), как он опять вышел. Он что-то сказал — кажется, «Ну, вот, господин»? — и как-то странно нагнул голову, точно думал, что Шевек, стоявший в пяти метрах от него, сейчас ударит его по лицу. Он ушел. Шевек стоял у окон, и до него медленно доходило, что сейчас ему впервые в жизни поклонились.

Он вошел в спальню и увидел, что его постель застелена.

Медленно, задумчиво он оделся. Когда он обувался, в дверь снова постучали.

Эта группа вошла иначе; нормально, как показалось Шевеку, словно они имеют право быть здесь или вообще всюду, где захотят. Тот, со свертками, вошел неуверенно, почти прокрался в комнату. А между тем, его лицо, руки, одежда были ближе к представлению Шевека о том, как выглядит нормальный человек, чем у новых посетителей. Тот, робкий человек, вел себя странно, но выглядел, как анаррести. Эти четверо вели себя, как анаррести, но выглядели, со своими бритыми лицами и роскошными одеяниями, словно происходили из другого вида живых существ.

В одном из них Шевек сумел узнать Паэ, а в остальных — людей, которые провели с ним

вчерашний вечер. Он объяснил, что не расслышал их имен, и они, улыбаясь, снова представились: д-р Чифойлиск, д-р Оииэ и д-р Атро.

— Ох ты, черт! — сказал Шевек. — Атро! Я рад познакомиться с вами! — Он положил руки на плечи старика и поцеловал его в щеку, и лишь после подумал, что это братское приветствие, вполне обычное на Анарресе, здесь может оказаться неприемлемым.

Однако, Атро в ответ сердечно обнял его и снизу вверх заглянул ему в лицо мутными серыми глазами. Шевек понял, что он почти слеп.

— Мой дорогой Шевек, — сказал он, — добро пожаловать в А-Ио, добро пожаловать на Уррас, добро пожаловать домой!

— Мы столько лет переписывались, каждый так усердно громил теории другого!

— Вы всегда были лучшим разрушителем. Погодите, вот, у меня для вас кое-что есть. — Старик порылся в карманах. Под бархатной университетской мантией на нем была куртка, под ней — жилет, под ним — рубашка, а под ней, наверно, еще что-нибудь. На всех этих вещах, и на штанах тоже, были карманы. Шевек, как зачарованный, смотрел, как Атро роется в шести или семи карманах, в каждом из которых что-то лежало; наконец, он достал кубик из желтого металла, укрепленный на кусочке полированного дерева.

— Вот, — сказал он, вглядываясь в кубик. — Это ваша награда. Премия Сео Оэн, знаете ли. Деньги — на вашем счету. Вот. Опоздала на девять лет, но лучше поздно, чем никогда. — Когда он передавал кубик Шевеку, руки его дрожали.

Вещица оказалась тяжелой; кубик был из литого золота. Шевек стоял неподвижно и держал его.

— Не знаю, как вы, молодые, — сказал Атро, — а я сяду.

Они уселись в глубокие, мягкие кресла, которые Шевек осмотрел еще раньше, удивляясь материалу, которым они были обтянуты — нетканой коричневой материи, на ощупь — как кожа живого существа.

— Шевек, сколько вам было лет девять лет назад?

Атро был самым выдающимся из уррасских физиков того времени. Он держался не только с достоинством, свойственным его возрасту, но и с простой уверенностью в себе, свойственной человеку, привыкшему, чтобы ему оказывали почтение. Для Шевека это было не ново. Атро обладал именно тем единственным видом авторитета, который Шевек признавал. Кроме того, ему было приятно, что его, наконец, называют просто по имени.

— Когда я закончил «Принципы», мне было двадцать девять лет, Атро.

— Двадцать девять? Боже милостивый. Так вы самый молодой из всех лауреатов Сео Оэн за последние лет эдак сто. Мне-то ее собрались дать, когда мне было уже лет шестьдесят или около того… Но тогда сколько же вам было лет, когда вы впервые написали мне?

— Около двадцати.

Атро фыркнул.

— А я решил, что вам сорок!

— Ну, а Сабул? — спросил Оииэ. Оииэ был ростом еще меньше, чем большинство уррасти, которые вообще все казались Шевеку низкорослыми; у него было плоское лицо, с которого не сходило выражение вежливого внимания, и овальные, черные, как агат, глаза. — Был период, лет шесть — восемь, когда вы вообще не писали, а Сабул поддерживал с нами контакт, но ни разу не говорил с нами по вашему радиоканалу. Мы не могли понять, какая между вами связь.

— Сабул преподает физику в Аббенайском Институте, — сказал Шевек. — Я одно время работал с ним.

— Более старый соперник; завидовал; лез в ваши книги; с самого начала было ясно. Вряд ли нам нужны объяснения, Оииэ, — жестко сказал четвертый, Чифойлиск. Это был коренастый,

смуглый мужчина средних лет и изящными руками кабинетного работника. Из них всех только у него лицо было не выбрито полностью: он оставил на подбородке торчащие, короткие, серо-стального цвета волосы, такие же, как на голове. — Незачем притворяться, что все вы, братья-одониане, преисполнены братской любви, — сказал он. — Человеческая природа есть человеческая природа.

Шевек промолчал, но это молчание никому не показалось многозначительным, потому что он вдруг отчаянно расчихался.

— У меня нет носового платка, — извинился он, вытирая глаза.

— Возьмите мой, — предложил Атро и достал из одного из своих многочисленных карманов белоснежный платок. Шевек взял его, и сердце у него сжалось от непрошенного воспоминания. Он вспомнил, как его дочка Садик, маленькая темноглазая девочка, сказала: «Давай я поделюсь с тобой носовым платком, которым я пользуюсь». — Это воспоминание, очень дорогое ему, сейчас было невыносимо мучительным. Пытаясь уйти от него, он наугад улыбнулся и сказал:

— У меня аллергия к вашей планете. Это говорит доктор.

— Господи, да неужели вы так всегда и будете чихать? — спросил старый Атро, близоруко вглядываясь в него.

— А ваш лакей еще не приходил? — спросил Паэ.

— Мой лакей?

— Слуга. Он должен был принести вам кое-какие вещи. В том числе носовые платки. Просто, чтобы вам хватило до тех пор, пока вы не сможете самостоятельно делать покупки. Ничего особенного — боюсь, что из готового платья для человека вашего роста ничего особенного и не выберешь.

Когда Шевек разобрался во всем этом (Паэ говорил быстро и протяжно, и это гармонировало с мягкими, красивыми чертами его лица), он сказал:

— Вы добры ко мне. Я чувствую себя… — Он взглянул на Атро. — Я, знаете ли, Нищий, — сказал он старику, как говорил д-ру Кимоэ на «Внимательном». — Я не мог взять с собой деньги, мы ими не пользуемся. Я не мог привезти дары, мы не пользуемся ничем, чего бы не было у вас. Поэтому я пришел, как хороший одонианин, «с пустыми руками».

Атро и Паэ заверили его, что он — гость, что о плате и речи нет, что это — их привилегия.

— А кроме того, — сказал своим кислым голосом Чифойлиск, — по счетам платит Иотийское Правительство.

Паэ быстро, внимательно взглянул на него, но Чифойлиск, не ответив на этот взгляд, в упор посмотрел на Шевека. На его смуглом лице было выражение, которое он не пытался скрыть, но которое Шевек не мог понять: предостережение или соучастие?

— В вас говорит нераскаянный тувиец, — фыркнул старик Атро. — Но вы хотите сказать, Шевек, что не привезли с собой совсем ничего, никаких статей, никаких новых работ? А я-то ждал книги. Еще одного переворота в физике. Думал увидеть, как вы перевернете вверх ногами этих бойких молодых людей. Так, как вы своими «Принципами» перевернули меня. Над чем вы работали?

— Ну, я читал работу Паэ… д-ра Паэ о блочной вселенной, о Парадоксе и Относительности.

— Все это прекрасно. Саио у нас сейчас — звезда, в этом никто не сомневается, а меньше всех — он сам, а, Саио? — Но причем тут цена сыра? Где ваша Общая Теория Времени?

— У меня в голове, — широко и весело улыбнувшись, сказал Шевек.

Последовала крошечная пауза.

Оииэ спросил его, видел ли он работу по теории относительности одного инопланетного физика, Айнсетайна с Терры. Шевек не был знаком с ней. Эта теория очень сильно

интересовала их всех, кроме Атро, который был уже не способен ни на какие сильные чувства. Паэ побежал к себе в комнату, чтобы дать Шевеку экземпляр перевода.

Ей уже несколько сот лет, но для нас в ней есть свежие идеи, — сказал он.

— Возможно, — сказал Атро, — но никто из этих чужаков не может понять нашу физику. Хейниты называют ее материализмом, а террийцы — мистицизмом, и в результате и те, и другие отказываются от нее. Не позволяйте этому модному увлечению всем инопланетным сбить вас с толку, Шевек. Для нас у них нет ничего. Как говорил мой отец, «сам копай свой огород». — Он снова старчески фыркнул и с трудом выбрался из кресла. — Пойдемте со мной, погуляем в Роще. Неудивительно, что вы сопите носом — закупорились тут.

— Доктор говорит, что я должен три дня оставаться в этой комнате. Я, может быть… зараженный? Заразительный?

— Не обращайте вы на докторов внимания, милый мой.

— В этом случае, может быть, следует все же послушаться, д-р Атро, — предположил Паэ своим обычным непринужденным, примирительным тоном.

— В конце концов, ведь этот доктор назначен Правительством, не так ли? — с явным ехидством заметил Чифойлиск.

— Лучший специалист, какого они сумели найти, я в этом уверен, — без улыбки сказал Атро и откланялся, больше не уговаривая Шевека.

С ним ушел и Чифойлиск. Оба молодых человека остались с Шевеком и еще долго разговаривали о физике.

С огромным наслаждением и с тем же чувством глубокого узнавания, с ощущением, что все — именно так, как и должно быть, Шевек впервые в жизни открыл для себя, что такое беседа на равных.

Хотя Митис была великолепным преподавателем, она так и не сумела последовать за ним в новые области теории, которые он начал разрабатывать при ее поддержке и поощрении. Из всех, с кем он сталкивался, единственным человеком, не уступавшим ему по подготовке и способностям, была Гвараб, но он и Гвараб встретились слишком поздно, в самом конце ее жизни. С тех пор Шевек работал с многими талантливыми людьми, но, так как он не был штатным сотрудником Аббенайского Института, ему не удавалось ознакомить их со своей теорией достаточно глубоко; они увязали в старых проблемах, в классической секвенциальной физике. Там ему не было равных. Здесь, в царстве неравенства, он наконец встретил их.

Это было откровение, освобождение. Здесь, в Университете, были все: физики, математики, астрономы, специалисты по логике — и они подходили к нему или он шел к ним, и они разговаривали, и из их разговоров рождались новые миры. Идея должна быть сообщена другим: написана, высказана, выполнена — это лежит в ее природе. Идея — как трава. Ей необходим свет, она любит, чтобы было многолюдно, ей очень полезно скрещивание с другими видами, чем больше ее топчут, тем лучше она растет.

Даже в этот первый день в Университете, с Оииэ и Паэ, Шевек понял, что нашел то, о чем тосковал всегда, с тех самых пор, как, еще мальчишками и на мальчишеском уровне, он, и Тирин, и Бедап, бывало, по пол-ночи разговаривали, дразня и вызывая друг друга на все более смелые полеты мысли. Он живо припомнил некоторые из этих ночей. Он увидел Тирина, Тирина, говорившего: «Если бы мы знали, каков Уррас на самом деле, может быть, кто-то из нас захотел бы отправиться туда». — А его эта идея так шокировала, что он прямо-таки набросился на Тирина, и Тир сразу же пошел на попятный; он всегда шел на попятный, бедная пропащая душа, но всегда оказывался прав…

Разговор прервался. Паэ и Оииэ молчали.

— Извините, — сказал он. — В голове тяжело.

— А как с притяжением? — спросил Паэ с обаятельной улыбкой человека, который, как сообразительный ребенок, рассчитывает на свое обаяние.

— Я не замечаю, — ответил Шевек. — Только вот в этих… как они называются?

— Колени. Коленные суставы.

— Да, колени. Функция нарушена. Но я привыкну. — Он посмотрел на Паэ, потом на Оииэ. — Есть вопрос. Но я не хочу причинить обиду.

— Не стесняйтесь, сударь, — ответил Паэ.

Оииэ сказал:

— Я не уверен, что вы умеете обижать. — Оииэ не был симпатичным, как Паэ. Даже говоря о физике, он держался как-то уклончиво, скрытно. И все же под этой манерой держаться было что-то, чему, как казалось Шевеку, можно было доверять; тогда как под обаянием Паэ… что скрывалось под ним? Ну, неважно. Он должен доверять им всем — и будет им доверять.

— Где женщины?

Паэ засмеялся. Оииэ улыбнулся и спросил:

— В каком смысле?

— Во всех смыслах. Вчера вечером, на приеме, я встречал женщин — пять, десять — и сотни мужчин. Эти женщины, я думаю, — не ученые. Кто они были?

— Жены. Одна из них, собственно говоря, — моя жена, — сказал Оииэ со своей скрытной улыбкой.

— Где другие женщины?

— О, сударь, это проще простого, — торопливо ответил Паэ. — Вы только скажите, что вы предпочитаете, и мы вам это доставим без всяких проблем.

— Конечно, нам приходилось слышать довольно яркие рассуждения об анаррессских обычаях, но я склонен думать, что мы сможем предоставить вам почти все, что вы пожелаете, — сказал Оииэ.

Шевек совершенно не понимал, о чем они говорят. Он почесал голову.

— Значит, здесь все ученые — мужчины?

— Ученые? — словно не веря своим ушам, переспросил Оииэ.

Паэ кашлянул:

— Ученые. О, да, разумеется, все они — мужчины. В школах для девочек есть, конечно, преподаватели-женщины. Но им никогда не удается подняться выше уровня Аттестата.

— Почему?

— Математика не дается; не способны к абстрактному мышлению; не годятся они для этого. Ну, вы же знаете, процесс, который женщины называют «думать», происходит в матке! Конечно, есть отдельные исключения. Жуткие мозговитые бабы с атрофией влагалища.

— А вы, одониане, разрешаете женщинам заниматься наукой? — спросил Оииэ.

— Ну да, они занимаются науками.

— Надеюсь, таких немного.

— Ну, примерно половина.

— Я всегда говорил, — сказал Паэ, — что при соответствующем подходе девушки-лаборантки могли бы в любой ситуации очень разгрузить мужчин в лабораториях. Фактически, они выполняют монотонную работу более ловко и быстро, чем мужчины, они более послушны, и им не так быстро надоедает делать одно и то же. Если бы мы использовали женщин, мы гораздо скорее смогли бы высвободить мужчин для творческой работы.

— Ну уж, только не в моей лаборатории, — возразил Оииэ. — Пусть знают свое место.

— Д-р Шевек, а вы считаете каких-нибудь женщин способными к определенному интеллектуальному труду?

— И даже в большей степени, чем они — меня. Митис, на Северном Склоне, была моей учительницей; и еще Гвараб — я думаю, вы о ней знаете.

— Гвараб — женщина? — с неподдельным изумлением спросил Паэ и расхохотался.

У Оииэ сделался недоверчиво-оскорбленный вид.

— Конечно, по вашим именам не поймешь, — холодно сказал он. — Вы, я полагаю, специально стараетесь не делать различий между полами.

Шевек кротко заметил:

— Одо была женщина.

— Вот именно, — сказал Оииэ. Он не пожал плечами, но было заметно, что он едва удержался от этого. Паэ с почтительным видом кивнул, точно так же, как кивал, когда разболтался старый Атро.

Шевек понял, что затронул в этих мужчинах некую очень глубоко укоренившуюся безличную враждебность. По-видимому, в них, как и в столах на «Внимательном», скрывалась женщина, подавляемая, заглушаемая, превращенная в животное женщина, фурия в клетке. Он не имел права дразнить их. Они знают лишь один вид отношений — обладание. И они — одержимые.

— Красивая, добродетельная женщина, — сказал Паэ, — вдохновляет нас; она — самое драгоценное, что есть на свете.

Шевек почувствовал себя крайне неловко. Он встал и подошел к окнам.

— Ваша планета удивительно красива, — сказал он. — Я хотел бы увидеть больше. Пока мне нельзя выходить, вы дадите мне книги?

— Конечно, сударь! Какие?

— Историю… иллюстрации… рассказы… что угодно. Может быть, это должны быть книги для детей. Видите ли, я очень мало знаю. Мы учим про Уррас в школе, но в основном — про эпоху Одо. До этого были восемь с половиной тысяч лет! И потом, после Заселения Анарреса прошло полтора века; с тех пор, как последний планетолет привез последних Первопоселенцев, — полное неведение. Мы игнорируем вас, вы — нас. Вы — наша история. Мы, быть может, — ваше будущее. Я хочу узнавать, не игнорировать. Поэтому я и прилетел. Мы должны знать друг друга. Мы — не первобытные люди. Наша мораль — уже не племенная мораль, она не может быть такой. Такое неведение — зло, из которого произойдет зло. Поэтому я пришел, чтобы узнать.

Он говорил очень серьезно. Паэ с энтузиазмом согласился:

— Совершенно верно, сударь! Мы все полностью согласны с вашими целями!

Оииэ взглянул на него этими своими черными, непроницаемыми, овальными глазами и сказал:

— Значит, по сути дела, вы прибыли в качестве посланника вашего общества?

Шевек вернулся к камину и сел на мраморную скамью возле него, которую уже воспринимал, как свое место, свою территорию. Он чувствовал, что необходима осторожность. Но еще сильнее он чувствовал ту потребность, которая через иссохшую бездну привела его сюда из другого мира, потребность в общении, желание разрушить стены.

— Я прибыл, — сказал он, тщательно подбирая слова, — в качестве синдика Синдиката Инициативы — группы, которая в последние два года разговаривает с Уррасом по радио. Но я, знаете ли, не являюсь послом ни от какой власти, ни от какого официального учреждения. Я надеюсь, что вы пригласили меня не в таком качестве.

— Нет, — сказал Оииэ. — Мы пригласили вас как физика Шевека. Разумеется, с одобрения нашего правительства и Совета Правительства Планеты. Но здесь вы — частный гость Университета Иеу-Эун.

— Хорошо.

— Но мы не были уверены, одобряет или не одобряет ваш приезд… — он замялся.

Шевек усмехнулся:

— Мое правительство?

— Мы знаем, что номинально на Анарресе нет правительства. Однако, очевидно, администрация есть. И мы поняли так, что группа, которая вас послала, ваш Синдикат, представляет собой нечто вроде фракции; возможно, революционной фракции.

— На Анарресе все — революционеры, Оииэ… Административно-управленческая сеть называется КПР — Управление Координации Производства и Распределения. Это — координирующая система, охватывающая все синдикаты, федератов и отдельных лиц, выполняющих продукционную работу. Они не управляют личностями; они управляют производством. Они не имеют власти ни поддерживать меня, ни запрещать мне. Они могут только сообщать нам общественное мнение о нас — какое место мы занимаем в социальном сознании. Вы спрашивали об этом? Так вот, моих друзей и меня в основном не одобряют. Большинство людей на Анарресе не хочет узнавать об Уррасе, они боятся его и не желают иметь ничего общего с собственниками. Я сожалею, если я груб! Здесь ведь с некоторыми людьми то же самое, правда? Презрение, страх, племенная психология. Ну и вот, я прибыл, чтобы начать это все изменять.

— Исключительно по собственной инициативе, — сказал Оииэ.

— Это единственная инициатива, которую я признаю, — с улыбкой, но совершенно серьезно ответил Шевек.

Следующие несколько дней он провел в разговорах с навещавшими его учеными, в чтении книг, которые принес ему Паэ, а иногда он просто стоял у сводчатых окон, задумчиво смотрел, как в огромную долину приходит лето, и слушал короткие, мелодичные беседы там, снаружи, в воздухе: птицы; он знал теперь, как называются эти певцы, и как они выглядят — он видел картинки в книгах; до сих пор всякий раз, слыша эту песню или увидев промелькнувшее крыло в листве, он замирал в детском восхищении.

Он ожидал, что здесь, на Уррасе он будет чувствовать себя таким чужим, таким затерянным, одиноким и растерявшимся, — но ничего подобного он не чувствовал. Конечно, вещам, которых он не понимал, не было числа; он только сейчас начал смутно понимать, сколько их: все это невероятно сложное общество со всеми его государствами, классами, кастами, обычаями, с его великолепной, ужасающей и бесконечной историей. И каждый отдельный человек, с которым он сталкивался, был загадкой, был полон неожиданностей. Но они не были теми грубыми, холодными эгоистами, какими он представлял себе раньше; они были так же сложны и разнообразны, как их культура, как их ландшафт; и умны; и добры. Они обращались с ним, как с братом, они делали все, что могли, чтобы он чувствовал себя не потерянным, не чужим, а так, словно он — дома. И он действительно чувствовал себя, как дома. Он ничего не мог с этим поделать. Весь этот мир, этот ласковый воздух, то, как падает на холмы солнечный свет, даже ощущение более сильного земного притяжения, доказывали ему, что это и есть его дом, планета его народа; и что вся красота этого мира принадлежит ему по праву рождения.

Тишина, мертвая тишина Анарреса: он думал о ней по ночам. Там не поют птицы. Там нет ничьих голосов, кроме человеческих. Тишина и бесплодные земли.

На третий день Атро принес ему пачку газет. Паэ, который бывал у Шевека чаще и дольше других, ничего не сказал Атро, но, когда старик ушел, он обратился к Шевеку:

— Все эти газеты — ужасная чепуха, сударь. Они забавны, но не верьте ничему, что в них написано.

Шевек взял газету, лежавшую сверху. Она была скверно напечатана на шершавой бумаге — первое грубо сделанное произведение рук человеческих, которое попалось ему на Уррасе. Собственно говоря, она выглядела, как бюллютени КПР и региональные отчеты, выполнявшие на Анарресе роль газет, но стиль ее отличался от стиля тех, захватанных, практичных, строго придерживавшихся фактов изданий. Она была полна восклицательных знаков и иллюстраций. Была там фотография: Шевек стоит перед планетолетом, а Паэ держит его под руку и хмурится. Над фотографией очень крупным шрифтом было напечатано: ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК С ЛУНЫ! Шевек, очень заинтересованный, стал читать дальше.

Его первый шаг на земле! Первый за 170 лет гость Урраса из Анарресского Поселения, д-р Шевек, был сфотографирован вчера, в момент его прибытия на грузовой ракете, совершающей регулярные лунные рейсы и приземлившейся в космопорте Пейер. Знаменитый ученый, лауреат премии Сео Оэн, которая была присуждена ему за научные заслуги перед всеми народами, принял должность профессора в Университете Иеу Эун — такой чести инопланетяне никогда прежде не удостаивались. На вопрос, что он чувствует, впервые видя Уррас, высокий, величественного вида физик ответил: «Быть приглашенным на вашу прекрасную планету — большая честь. Я надеюсь, что теперь начинается новая эра все-тау-китянской дружбы, когда Планеты-Близнецы будут двигаться вперед вместе, по-братски».

— Но я же вообще ничего не говорил! — запротестовал Шевек, обращаясь к Паэ.

— Конечно, нет; мы эту компанию к вам не подпустили. Но птичью прессу этим не смутить! Они все равно припишут вам те слова, которые им хочется от вас услышать, а что вы сказали и сказали ли вообще что-нибудь — им не важно.

Шевек прикусил губу.

— Ну, — сказал он наконец, — если бы я что-нибудь сказал, это было бы что-то в этом роде… Но что такое «все-тау-китянский»?

— Тау-китянами нас называют террийцы. Кажется, по их названию нашего солнца. В последнее время популярная пресса подхватила это слово, оно стало в некотором роде модным.

— Значит, «все-тау-китянский» означает Анаррес и Уррас вместе?

— Наверно, — ответил Паэ с подчеркнутым безразличием.

Шевек продолжал читать газеты. Он прочел, что он — мужчина гигантского роста; что он не брит и с «гривой» (что это такое, он не знал) седеющих волос; что ему 37 лет, 43 года, 56 лет; что он написал великий труд по физике под названием (орфография зависела от газеты) «Принцыпы одновременности» или «Принципы одной временности»; что он — посланец доброй воли от Одонианского Правительства; что он вегетарианец; и что, как и все анаррести, он не пьет. Тут он не выдержал и так расхохотался, что у него закололо в боку.

— Вот черт, ну и воображение у них! Что же, они думают, что мы поглощаем водяные пары, как скальный мох?

— Они имеют в виду, что вы не употребляете спиртные напитки, — сказал Паэ, тоже смеясь. — По-моему, единственное, что об одонианах знают все без исключения, — это то что вы не пьете алкоголь. А кстати, это правда?

— Некоторые гонят из перебродивших корней холума алкоголь для питья, они говорят, что это высвобождает подсознание, как тренировка биотоков мозга. Большинство людей предпочитает последнее, это очень легко и не ведет к болезни. А здесь это часто встречается?

— Пьют многие. А насчет болезни я не знаю. Как она называется?

— По-моему, алкоголизм.

— А, понимаю… Ну, а что же делают труженики на Анарресе, когда хотят повеселиться, хотя бы на вечерок вместе забыть о бедах мира сего?

У Шевека сделался озабоченный вид.

— Ну, мы… не знаю. Может быть, наши беды неизбежны?

— Оригинально, — сказал Паэ и обезоруживающе улыбнулся.

Шевек продолжал читать. Одна газета была на незнакомом ему языке, а одна — вообще напечатана совершенно другим алфавитом. Первая, объяснил Паэ, — из Ту, а вторая — из Бенбили, государства в западном полушарии. Газета из Ту была хорошо напечатана, формат ее был разумным; Паэ объяснил, что это — правительственное издание.

Здесь, в А-Ио, видите ли, образованные люди узнают новости по телефаксу, радио, телевидению, и из еженедельников. Эти газеты читают почти исключительно низшие классы, их выпускают малограмотные для малограмотных, как вы и сами видите. У нас в А-Ио — полная свобода печати, а это неизбежно означает, что мы получаем уйму макулатуры. Тувийская газета издается гораздо лучше, но она сообщает лишь о тех фактах, о которых хочет сообщить Тувийский Центральный Президиум. Цензура в Ту абсолютна. Государство — это все, и все — для Государства. Вряд ли подходящее место для одонианина, а, сударь?

— А эта газета?

— Право, понятия не имею. Бенбили — довольно отсталая страна. Там вечно какие-то революции.

— Незадолго до того, как я уехал из Аббеная, группа людей в Бенбили связалась с нами по радио на длине волны Синдиката. Они называли себя одонианами. А здесь, в А-Ио, есть такие группы?

— Я, во всяком случае, никогда ни о чем таком не слышал, д-р Шевек.

Стена. К этому времени Шевек уже научился распознавать стену, упершись в нее. Стеной были обаяние, изысканная вежливость, равнодушие этого молодого человека.

Неожиданно Шевек добродушно сказал:

— По-моему, вы боитесь меня, Паэ.

— Боюсь вас, сударь?

— Потому что я самим своим существованием опровергаю необходимость государства. Но что в этом страшного? Ведь я не причиню вреда вам, Саио Паэ, вы же знаете, что я лично совершенно безобиден… И послушайте, я не доктор. Мы не пользуемся званиями. Меня зовут Шевек.

— Я знаю. Извините, сударь. По нашей терминологии это звучит неуважительно. Получается как-то нехорошо, — обаятельно извинился Паэ, ожидая прощения.

— Разве вы не можете признать во мне равного? — спросил Шевек, взглянув на Паэ; в его взгляде не было ни прощения, ни гнева.

Впервые за все время Паэ растерялся.

— Но право же, сударь… вы, знаете ли, очень значительный человек…

— Нет оснований, чтобы вы ради меня изменили свои привычки, — сказал Шевек. — Это не важно. Я думал, что вы, может быть, будете рады освободиться от ненужного, вот и все.

За три дня вынужденного сидения в четырех стенах в Шевеке накопился избыток энергии, и когда его выпустили, он своим стремлением увидеть все сразу довел сопровождавших его до изнеможения. Они водили его по Университету, который сам был, как целый город — шестнадцать тысяч студентов и преподавателей. Со своими общежитиями, столовыми, театрами, залами для собраний и тому подобным он не слишком отличался от одонианских общин, если не считать того, что был очень странным, невероятно роскошным, что все студенты и преподаватели были только мужчины, и что он был организован не как федерация, а как иерархия — сверху вниз. Все равно, — подумал Шевек, — ощущается он, как община. Ему приходилось напоминать себе о различиях.

В наемных автомобилях — роскошных, причудливо-элегантных машинах — его вывозили за

город. Машин на дорогах было мало; нанимать стоило очень дорого, а собственные машины имели немногие, так как налог на них был очень высок. Всю подобную роскошь, которая, если бы она была доступна всем и каждому, могла бы истощить невосполнимые природные ресурсы или загрязнить отходами окружающую среду, строго регулировали различные предписания и налоги. Спутники Шевека говорили об этом подробно и не без гордости. Уже несколько веков — рассказывали они — А-Ио занимает первое место по экологическому контролю и разумному использованию природных ресурсов. Излишества Девятого Тысячелетия — это уже древняя история; единственное их стойкое последствие — недостаток некоторых металлов, которые, к счастью, можно ввозить с Луны.

Разъезжая в автомобиле или на поезде, он видел деревни, фермы, города; крепости, сохранившиеся со времен феодализма; руины насчитывавших уже сорок четыре века башен Аэ, древней столицы исчезнувшей империи. Он видел пашни, озера и холмы Провинции Аван, лежавшей в самом сердце А-Ио, а на северном горизонте — вершины Мейтейской горной цепи, белые, гигантские. Красота этой земли и благосостояние ее народа не переставали казаться ему чудом. Его спутники были правы: уррасти умеют обращаться со своей планетой. В детстве ему внушали, что Уррас — гниющая масса неравенства, всевозможных пороков и расточительства. Но все люди, с которыми он встречался, и все люди, которых он видел, в самой крошечной и глухой деревушке, были хорошо одеты, сыты и — вопреки ожиданиям — трудолюбивы. Они не стояли в угрюмом ожидании приказаний сделать то или это. Они, совсем как анаррести, все время что-то делали. Это его озадачило. Он всегда полагал, что если человека лишить естественного стимула, побуждающего его работать, — собственной инициативы — и заменить его внешней мотивацией и принуждением, то он станет ленивым и нерадивым работником. Но те, кто возделывает эти прекрасные поля или делает эти прекрасные автомобили и комфортабельные поезда, — это не нерадивые работники. Как видно, притягательная и принуждающая сила выгоды заменяла естественную инициативу куда эффективнее, чем ему внушили.

Ему хотелось бы поговорить с кем-нибудь из этих крепких, державшихся с достоинством людей, которых он видел в маленьких городках, спросить их, например, считают ли они себя бедными; потому что если это — бедные, то ему надо пересмотреть свое понимание этого слова. Но времени как-то всегда не хватало — столько всего хотели ему показать сопровождающие.

Другие большие города А-Ио были слишком далеко, и за один день до них было не доехать, но его часто возили в Нио-Эссейя, за пятьдесят километров от Университета. Там в его честь устроили целую серию приемов. Они не слишком нравились ему, у него были совершенно другие взгляды на то, какой должна быть вечеринка. Все были в высшей степени вежливы и очень много говорили, но о совершенно неинтересных вещах; и так много улыбались, что казались испуганными. Но одеты они были роскошно; казалось даже, что всю беспечность, которой им недоставало в манере держаться, они вкладывают в одежду, и в еду, и во все свои разнообразные напитки, и во все — слишком пышные — украшения и меблировку во дворцах, где устраивались эти приемы.

Ему показывали достопримечательности Нио-Эссейя, города, в котором жили пять миллионов человек — четверть населения всей его планеты. Его привели на Площадь Капитолия и показали высокие бронзовые двери Директората, резиденции Правительства А-Ио; ему разрешили присутствовать на дебатах в Сенате и на заседании одного из комитетов Совета Директоров. Его водили в Зоопарк, в Национальный Музей, в Музей Науки и Промышленности. Его водили в школу, где очаровательные дети в голубой с белым форме спели ему Национальный Гимн А-Ио. Его провели по всей фабрике электронных деталей, по полностью автоматизированному сталелитейному заводу и по ядерной электростанции, чтобы он увидел,

как собственническая экономика справляется с производством и энергоснабжением. Его повезли на строительство нового жилого массива, чтобы он увидел, как Государство заботится о своем народе. Его повезли на теплоходную экскурсию вниз по дельте реки Суа, забитой кораблями со всей планеты, к морю. Его водили в Верховный Суд, и он целый день присутствовал при слушании гражданских и уголовных дал, и это привело его в ужас; но его спутники настаивали, чтобы он посмотрел все, что следует посмотреть, побывал всюду, где ему бы хотелось побывать. Когда он немного смущенно спросил, нельзя ли ему увидеть место, где похоронена Одо, его тут же отвезли прямехонько на старое кладбище за рекой Суа; и даже позволили репортерам из низкопробных газет фотографировать его, пока он стоял в тени огромных старых ив и смотрел на ухоженную могильную плиту:

Лаиа Асиэо Одо 698—769 Быть целым — значит быть частью; истинное путешествие есть возвращение.

Его возили в Родарред, резиденцию Совета Правительств Планеты, выступать с речью перед пленарным советом этой организации. Он надеялся встретить или хотя бы увидеть там инопланетян, послов Терры или Хейна, но программа была для этого слишком насыщенной. Он очень старательно готовился к своему выступлению, пропагандировавшему свободное общение и взаимное признание между Новым и Старым Мирами. Когда он кончил говорить, все встали и разразились десятиминутной овацией. Респектабельные еженедельники одобрительно отозвались о его речи, назвав ее «бескорыстным нравственным жестом братства между людьми, сделанным великим ученым»; но ни они, ни популярные газеты ничего из нее не процитировали. Собственно говоря, несмотря на овацию, у Шевека было странное чувство, что никто ее не слушал.

Он получил много привилегий и допусков: в Научно-Исследовательскую Лабораторию Света, в Национальный Архив, в Лабораторию Ядерной Технологии, в Национальную Библиотеку в Нио, на Ускоритель в Меафеде, в Фонд Космических Исследований в Дрио. Хотя все, что он видел на Уррасе, вызывало у него желание увидеть еще больше, нескольких недель такой туристской жизни ему хватило: все было так захватывающее, поразительно и чудесно, что в конце концов совершенно его подавило. Ему захотелось на некоторое время осесть в Университете, и работать, и обдумать все это. Но напоследок он попросил, чтобы ему показали Фонд Космических Исследований. Когда Паэ услышал эту просьбу, у него сделался очень довольный вид.

Многое из того, что Шевек увидел за это время, вызывало у него благоговение, потому что было таким старым, существовало веками, даже тысячелетиями. Фонд же, напротив, был новым: он был построен в последнее десятилетие, со свойственными этому периоду размахом и изяществом. Архитектура его была преувеличенно-эффектной, обилие и яркость красок били в глаза. Здания были слишком высокими, расстояния между ними — слишком большими. Лаборатории были просторные, там было много воздуха, приданные Фонду Заводы и цеха располагались за великолепными, состоявшими из арок и колонн портиками в нео-саэтанском стиле. Ангары представляли собой большие разноцветные купола, прозрачные и фантастические. Работавшие в них люди, например, были очень спокойными и серьезными. Они увели Шевека от его обычных сопровождающих и показали ему весь Фонд, в том числе все до одной стадии разработки экспериментальной системы межзвездных полетов, начиная с компьютеров и чертежных досок и кончая наполовину построенным звездолетом, казавшимся огромным и сюрреалистическим в оранжевом, фиолетовом и желтом свете внутри огромного геодезического ангара.

— У вас столько всего, — сказал Шевек человеку по имени Оэгео, инженеру, который взял его на свое попечение. — У вас столько всего, чем можно работать, и вы так хорошо всем этим

работаете. Это великолепно: координация, согласованность всех работ, величие всего этого предприятия.

— В ваших краях, небось, так не развернешься, а? — усмехаясь, спросил инженер.

— Космические корабли? Наш космофлот состоит из кораблей, на которых прилетели с Урраса Первопоселенцы, построенных здесь, на Уррасе, почти два века назад. Чтобы построить просто корабль, который возит зерно через море, баржу, приходится целый год планировать, нужно большое усилие нашей экономики.

Оэгео кивнул.

— Ну, нам-то это все нипочем. Но ведь вы, знаете ли, как раз тот, кто скажет нам, когда можно будет все это дело выкинуть, пустить на металлолом.

— Выкинуть? Что вы имеете в виду?

— Полеты быстрее света, — сказал Оэгео. — Нуль-транспортировку. Старая физика утверждает, что это невозможно. Террийцы утверждают, что это невозможно. Но хейниты — а именно они, в конце концов, изобрели двигатель, который мы сейчас применяем — говорят, что это возможно, только не знают, как это сделать, потому что они еще только учатся от нас темпоральной физике. Совершенно очевидно, что если это решение вообще у кого-то есть, — у когото в известных нам мирах — то именно у вас, д-р Шевек.

Шевек посмотрел на него отстраняющим, жестким взглядом светлых, ясных глаз.

— Я — теоретик, Оэгео. Не конструктор.

— Если вы дадите теорию, объединение Последовательности и Одновременности в общей теории временного поля, мы сконструируем корабли. И прилетим на Терру, или на Хейн, или в соседнюю галактику, в тот самый миг, как покинем Уррас! Это корыто, — и он взглянул в другой конец ангара, где в лучах фиолетового и оранжевого света плавал огромный остов недостроенного корабля, — окажется таким же устаревшим, как запряженная волами телега.

— Ваши мечты так же грандиозны, как то, что вы строите, — сказал Шевек, все еще ушедший в себя и суровый. Оэгео и остальные хотели показать ему еще многое, но вскоре он сказал с такой простотой, что ее нельзя было принять за иронию:

— Я думаю, вам следует отвести меня обратно к сторожам.

Так они и сделали; прощание было теплым. Шевек сел в машину и снова вышел из нее.

— Я забыл, — сказал он, — есть ли время увидеть в Дрио еще только одну вещь?

— В Дрио больше ничего нет, — ответил Паэ, вежливо, как всегда, и изо всех сил стараясь скрыть раздражение, вызванное тем, что Шевек на пять часов сбежал к инженерам.

— Я хотел бы видеть форт.

— Какой форт, сударь?

— Старый замок, времен королей. Позже он служил тюрьмой.

— Все здания такого рода снесены. Фонд полностью перестроил город.

Когда они уже сидели в автомобиле, и шофер закрывал двери, Чифойлиск (который, вероятно, и был источником дурного настроения Паэ) спросил:

— Зачем вы хотели увидеть еще один замок, Шевек? Я-то думал, что вы повидали уже столько старых развалин, что вам должно бы на некоторое время хватить.

— Форт в Дрио — место, где Одо провела девять лет, — ответил Шевек. После разговора с Оэгео его лицо так и осталось застывшим.

— После восстания 747-го года. Там она написала «Письма из Тюрьмы». И «Аналогию».

— Боюсь, что его снесли, — сочувственно сказал Паэ. — Дрио как город был уже при последнем издыхании, и Фонд просто-напросто стер его с лица земли и построил заново.

Шевек кивнул. Но когда машина ехала по шоссе вдоль реки по направлению к повороту на Иеу-Эун, она проезжала мимо утеса на излучине реки Сейссе, и на вершине утеса стояли

развалины здания, тяжелого, гнетущего, непримиримого, с разрушенными башнями из черного камня. Невозможно было представить себе что-либо более несхожее с роскошными, веселыми зданиями Фонда Космических Исследований, с эффектными куполами, разноцветными заводами, аккуратными газонами и дорожками. И ничто другое не могло придать им такое сходство с кусочками цветной бумаги.

— Это, по-моему, и есть тот самый Форт, — заметил Чифойлиск довольным голосом, как всегда, когда ему удавалось сказать бестактность в самый неподходящий момент.

— Сплошные развалины, — сказал Паэ. — Должно быть, он пустой.

— Шевек, хотите остановиться и посмотреть? — спросил Чифойлиск, приготовившись постучать в стекло, отделявшее их от шофера.

— Нет, — ответил Шевек.

Он увидел то, что хотел увидеть. В Дрио все еще был Форт. Ему не было необходимости входить в него и разыскивать камеру, в которой Одо провела девять лет. Он знал, как выглядит тюремная камера.

Шевек взглянул вверх, на массивные темные стены, нависшие теперь почти над самой машиной. Лицо его было по-прежнему неподвижным и холодным. «Я здесь уже давно, — говорил Форт, — и я все еще здесь».

Когда он вернулся в свои комнаты, пообедав в Преподавательской Столовой Факультета, он сел один у незатопленного камина. В А-Ио было лето, приближался самый длинный день года, и хотя был уже девятый час, еще не стемнело. Небо за сводчатыми окнами все еще отливало своим дневным цветом — чистой, нежной голубизной. Теплый воздух был напоен ароматом скошенной травы и мокрой от дождя земли. В Часовне, за рощей, горел свет, и слабый ветерок доносил едва слышные звуки музыки. Не птичьего пения, а музыки, созданной человеком. Шевек прислушался. Кто-то разучивал в Часовне на фисгармонии Числовые Гармонии. Шевеку он и были так же знакомы, как любому уррасти. Одо, обновляя отношения между людьми, не попыталась обновить основные соотношения в музыке. К необходимому она всегда относилась с уважением. Анарресские Первопоселенцы оставили на Уррасе законы, созданные людьми, но взяли с собой законы гармонии.

В просторной, спокойной, полной теней и тишины комнате становилось все темнее. Шевек оглядел ее: идеальные двойные дуги окон, слабо поблескивающий за краями ковра паркет, смутно различимый изгиб каменного камина, обшитые панелями стены, восхитительны е своей пропорциональностью. Это была очень красивая и человечная комната. Это была очень старинная комната. Этот Дом Преподавателей Факультета, как ему сказали, был построен в 540-м году, четыреста лет назад, за двести тридцать лет до Заселения Анарреса. Целые поколения ученых жили, работали, беседовали, умирали в этой комнате еще до того, как родилась Одо. Звуки Числовых Гармоний веками доносились сюда через газон, сквозь те мную листву рощи. «Я здесь уже давно, — говорила эта комната Шевеку, — и я все еще здесь. А ты-то что здесь делаешь?»

Ему было нечего ответить. Он не имеет права на все изящество и изобилие этого мира, достигнутое, заслуженное и хранимое трудом, преданностью, верностью его народа. Рай — для тех, кто создает Рай. Он здесь чужой. Он — переселенец, один из племени, отрекшегося от своего прошлого, от своей истории. Анарресские Первопоселенцы отвернулись от Старого Мира и его прошлого, выбрали будущее — и только лишь будущее. Но так же неизбежно, как будущее становится прошлым, прошлое становится будущим. Отречься — не значит достигнуть. Одониане, покинувшие Уррас, были не правы в своей отчаянной и мужественной решимости отречься от своей истории, отказаться от возможности возвращения. Путешественник, который не хочет вернуться или послать обратно свои корабли, чтобы рассказать о том, что он сумел

увидеть и узнать, — не путешественник, а всего лишь искатель приключений, и сыновья его рождаются в изгнании.

Он полюбил Уррас; но что толку от его томительной любви? Он — не часть Урраса. Но и не часть того мира, в котором родился.

Одиночество, несомненность изоляции, которую он ощутил в первый час пребывания на борту «Внимательного», снова вспыхнули в нем, и он понял, что это — его истинное состояние, истинное и безусловное, как бы он его не игнорировал и сколько бы ни подавлял.

Здесь он был одинок, потому что прибыл из общества, добровольно избравшего изгнание. В своем собственном мире он всегда был одинок, потому что сам себя изгнал из своего общества. Первопоселенцы сделали один шаг прочь. Он сделал два. Он был сам по себе, потому что пошел на метафизический риск.

И он был настолько глуп, что вообразил, будто сможет помочь сблизить два мира, к которым не принадлежит.

Взгляд его привлекла синева ночного неба за окном. За расплывчатыми темными пятнами листвы и башни Часовни, над темной линией холмов, которые ночью всегда уменьшались и отдалялись, появился и все усиливался свет, разливалось мягкое сияние. «Луна всходит», — подумал он с чувством благодарного узнавания. Цельность времени не прерывается. Маленьким ребенком он видел, как всходит Луна, из окна барака в Широких Равнинах, с Палатом; мальчишкой видел ее восход над холмами; видел его над иссохшими равнинами Пыли; над крышами Аббеная, когда рядом с ним смотрела на восход Луны Таквер.

Но там была не эта Луна.

Вокруг него двигались тени, но он сидел неподвижно, а над чужими холмами всходил Анаррес, полный, серовато-коричневый с голубовато-белым, сверкающий. Свет родной планеты наполнил его пустые руки.

Глава четвертая. АНАРРЕС

Дирижабль, преодолев последний высокий перевал в горах Нэ-Тэра, повернул на юг, и свет заходящего солнца, упав на лицо Шевека, разбудил его. Он проспал большую часть дня — третьего дня долгого путешествия. Ночь прощальной вечеринки осталась позади, между нею и им лежало пол-мира. Он зевнул, протер глаза, помотал головой, пытаясь вытрясти из ушей шум двигателя дирижабля, и, сообразив, что путешествие подошло к концу, что они, должно быть, уже подлетают к Аббенаю, проснулся окончательно. Он прижался лицом к пыльному окошку. Действительно, там, внизу, между двумя ржаво-рыжими грядами низких гор, лежало большое обнесенное стеной поле — Космопорт. Он жадно смотрел, пытаясь разглядеть, нет ли на посадочной площадке космического корабля. Каким бы презренным ни был Уррас, все же он — другая планета; ему хотелось увидеть корабль из другого мира, корабль, пересекший иссохшую и грозную бездну, вещь, сделан ную руками инопланетян. Но никаких кораблей в порту не было.

Грузовые планетолеты с Урраса приходили только восемь раз в год и оставались в Порту ровно столько времени, сколько требовалось на разгрузку и погрузку. Они не были желанными гостями. Больше того, некоторые анаррести воспринимали их как постоянно возобновлявшееся унижение.

Планетолеты привозили нефть и нефтепродукты, некоторые тонкие детали машин и электронные элементы, для производства которых на Анарресе не было оборудования, а часто и новую породу какого-либо плодового дерева или злака — на пробу. Обратно на Уррас они возвращались с полным грузом ртути, меди, алюминия, урана, олова и золота. Для них это было очень выгодной сделкой. Распределение их груза восемь раз в год было самой престижной функцией Уррасского Совета Правительств Планеты и главным событием на Все-Уррасской фондовой бирже. По существу, Свободная Планета Анаррес была рудничной колонией Урраса.

Этот факт раздражал. В каждом поколении, каждый год, на дебатах КПР в Аббенае раздавались яростные протесты: «Почему мы продолжаем эти спекулянтские сделки с воинствующими собственниками?» А более здравомыслящие люди каждый раз отвечали одно и то же: «Если бы уррасти добывали эти руды сами, это обходилось бы им дороже; поэтому они нас не оккупируют. Но если бы мы нарушили торговое соглашение, они применили бы силу». Однако, людям, которым никогда не приходилось ни за что платить, было очень трудно понять психологию стоимости, рыночную аргументацию. Семь поколений мира не принесли доверия.

Поэтому отрасль, именуемая Обороной, никогда не испытывала нужду в добровольцах. Работа в Обороне большей частью была такой нудной, что на правийском языке, в котором работа и игра обозначаются одним и тем же словом, ее называли не работой, а клеггич — «надрываловкой». Из работников Обороны состояли команды двенадцати старых планетолетов; они поддерживали их в рабочем состоянии и несли на них патрульную службу на орбите; вели радарное и радиотелескопное наблюдение в пустынных местах; дежурили в Космопорте, что было очень скучно. И тем не менее к ним всегда была очередь. Как бы прагматична ни была мораль, которую усваивали юные анаррести, в них через край била жизнь, требуя альтруизма, самопожертвования, места для подвига. Одиночество, бдительность, опасность, космические корабли: в них была притягательность романтики. Именно романтика, и ничто иное, заставила Шевека расплющивать нос о стекло окошка, пока пустой Космопорт там, внизу, не остался позади, и ощутить разочарование от того, что ему не удалось увидеть на посадочной площадке грязный рудовоз.

Шевек опять зевнул, потянулся и стал смотреть из окошка вперед, чтобы увидеть все, что можно было увидеть. Дирижабль брал последнее препятствие — последнюю низкую гряду гор

Нэ-Тэра. Перед ним, простираясь от отрогов гор на юг, сверкая в лучах предве чернего солнца, лежало огромное море зелени.

Он смотрел на него с удивлением, как смотрели его предки шесть тысяч лет назад.

В Третьем Тысячелетии на Уррасе астрономы-жрецы в Сердоноу и Дхуне наблюдали, как в разное время года меняется темно-желтое сияние Другого Мира, и давали мистические названия равнинам, и горам, и отражающим солнце морям. Одну область, которая в новом лунном году зеленела раньше всех остальных, они назвали Анс Хос — Сад Разума: Анарресский Эдем.

В последующие тысячелетия телескопы доказали их полную правоту. Анс Хос действительно был лучшим местом на Анарресе; и первый отправленный на Луну космический корабль, управляемый людьми, совершил посадку именно там, в зеленом месте между горами и морем.

Но Анарресский Эдем оказался сухим, холодным и ветреным, а вся остальная планета была еще хуже. Жизнь на ней не развилась выше рыб и бесцветковых растений. Воздух был разреженный, как воздух Урраса на очень большой высоте. Солнце жгло, ветер леденил, пыль душила.

В течении двухсот лет после первой высадки Анаррес разведывали, составляли его карты, изучали его, но не колонизировали. Зачем переселяться в какую-то жуткую пустыню, когда в благодатных долинах Урраса так много места?

Но руды там добывали. Эры самоограбления в Девятом Тысячелетии и в начале Десятого полностью истощили месторождения на Уррасе; и, когда ракетостроение достигло совершенства, добывать металлы на Луне стало дешевле, чем извлекать их из бедных руд или из морской воды. В году IX-738 уррасского летоисчисления у подножия гор

Нэ-Тэра, где добывали ртуть, в древнем Анс Хос, была основана колония. Ее называли Город Анаррес. Это был не город, там не было женщин. Мужчины завербовывались туда — шахтерами или техниками — на два-три года, а потом возвращались домой, в настоящий мир.

Сама Луна и тамошние рудники находились под юрисдикцией Совета Правительств Планеты; но где-то в восточном полушарии луны у государства Ту имелся маленький секрет: ракетная база, золотой рудник и поселок рудокопов с женами и детьми. Они по-настоящему жили на Луне, но об этом не знал никто, кроме их правительства. Именно падение этого правительства в 771 г. привело к тому, что в Совет Правительств Планеты было внесено предложение отдать Луну Международному Обществу Одониан — откупиться от них планетой, пока они еще не успели необратимо подорвать на Уррасе авторитет закона и государственного суверенитета. Город Анаррес эвакуировали, а из Ту, среди заварухи, все же наспех послали пару-тройку ракет, чтобы забрать рудничных. Не все захотели вернуться. Некоторым из них эта жуткая пустыня нравилась.

Более двадцати лет двенадцать планетолетов, пожалованных Одонианским Первопоселенцам Советом Правительств Планеты, сновали туда и обратно между обеими планетами, пока все, кто выбрал новую жизнь, весь миллион душ, не были переправлены через сухую бездну. После этого космопорт закрыли для иммиграции и оставили открытыми только для грузовых кораблей Торгового Соглашения. К этому времени в Городе Анарресе жило сто тысяч человек, и он был переименован в Аббенай, что на новом языке нового общества означало «Разум».

Существенным элементом разработанных Одо планов построения общества, до основания которого она не дожила, была децентрализация. Одо не собиралась деурбанизировать цивилизацию. Правда, она высказала предположение, что естественные пределы величины населенного пункта обуславливаются тем, насколько, что касается необходимой пищи и энергии, он зависит от своего непосредственного местоположения; однако согласно ее планам

все населенные пункты должна была соединять сеть транспорта и связи, так, чтобы продукция и идеи могли бы попадать всюду, где в них нуждаются, и чтобы распределять продукцию можно было бы быстро и легко, и чтобы все населенные пункты были связаны между собой. Но эта сеть не должна была идти сверху вниз. Не должно было быть никакого центра, осуществляющего управление, никакой столицы, никакого учреждения, допускающего самовосстанавливающийся бюрократический аппарат и погоню за властью отдельных личностей, стремящихся стать предводителями, начальниками, Главами Государств.

Однако ее планы основывались на щедрой почве Урраса. На бесплодном Анарресе общины, в поисках природных ресурсов, вынужденно оказались разбросанными далеко одна от другой, и очень немногие из них могли полностью обеспечивать себя сами, как бы они не урезали свои представления о том, что необходимо для поддержания нормальной жизни. Урезали они очень жестко, но был минимум, ниже которого они не желали опускаться: они не собирались регрессировать до до-городского, до-технологического племенного строя. Они знали, что их анархизм — продукт очень высокой цивилизации, сложной, многогранной культуры, стабильной экономики и высокоиндустриализованной технологии, способных обеспечивать высокое производство и быструю доставку продукции. Как бы велики ни были расстояния между поселениями, они придерживались идеала комплексной органичности. Дороги они строили в первую очередь, дома — во вторую. Каждый регион обменивался с другими имевшимися только в нем ресурсами и продукцией; это был очень сложный процесс поддержания равновесия: того равновесия разнообразия, которое свойственно жизни, природной и социальной экологии.

Но, как они говорили в аналогической модальности, нельзя иметь нервную систему, не имея хотя бы нервного узла, а еще лучше — мозга. Нужен был какой-то центр. Компьютеры, координировавшие администрирование, распределение рабочей силы и продукции, и центральные федераты большинства трудовых синдикатов с самого начала находились в Аббенае. И с самого начала Первопоселенцы сознавали, что эта неизбежная централизация представляет собой непрерывную опасность, которой должна противостоять непрерывная бдительность.

О, дитя Анархия, бесконечное обещание
Бесконечная осторожность
Я прислушиваюсь, прислушиваюсь в ночи
У колыбели, глубокой как ночь.
Дитя здорово.

Пио Атэан, принявший правийское имя Тобер, написал это в четырнадцатый год Заселения. Первые попытки одониан переложить в стихи свой новый язык, свой новый мир были неуклюжими, нескладными, трогательными.

И вот Аббенай, разум и центр Анарреса, лежал здесь, сейчас, перед дирижаблем, на просторной зеленой равнине.

Эта ослепительная, глубокая зелень полей, вне всякого сомнения, не была природной краской Анарреса. Только здесь и на теплых берегах Керанского Моря прижились злаки Старого Мира. На всем остальном Анарресе основными зерновыми были земляной холум и бледная трава мэнэ.

Когда Шевеку было девять лет, в течение нескольких месяцев его послеучебной нагрузкой был уход за декоративными растениями в городке Широкие Равнины — хрупкими экзотическими растениями, которые надо поливать и выносить на солнце, как младенцев. Он помогал в этой спокойной, но нелегкой работе одному старику. Этот старик ему нравился; нравились ему и растения, и земля, с которой приходилось возиться, и сама работа. Сейчас,

увидев краски Аббенайской Равнины, он вспомнил того старика, и запах рыбьего жира, на котором готовилось удобрение, и цвет первых почек на маленьких голых веточках, эту светлую, мощную зелень.

Вдалеке, среди ярких полей он увидел длинную, нечеткую белую полосу, которая, когда дирижабль приблизился, распалась на отдельные кубики, как рассыпанная соль.

Ослепленный на мгновение гроздью ярких вспышек у восточного края города, он заморгал, и в глазах у него поплыли черные пятна; это были параболические зеркала, снабжающие солнечным теплом нефтеочистительные заводы города.

Дирижабль приземлился на грузовом аэродроме на южной окраине Аббеная, и Шевек отправился бродить по улицам самого большого в мире города.

Улицы были широкие, чистые. На них не было тени, потому что Аббенай лежал меньше чем на тридцать градусов севернее экватора, а все здания были низкие, кроме крепких, тонких башен ветряных турбин. С казавшегося твердым темного, сине-фиолетового неба бил белый солнечный свет. Воздух был прозрачен и чист, без дыма или влаги. Все было видно отчетливо, все края и углы казались жесткими, твердыми, резкими. Каждый предмет был виден четко, сам по себе, выделялся.

Элементы, из которых состоял Аббенай, были такими же, как в любом одонианском населенном пункте, но повторялись много раз: мастерские, заводы, бараки, общежития, учебные центры, залы собраний, склады, общественные столовые. Более крупные здания чаще всего группировались вокруг открытых площадей, так что город состоял как бы из ячеек: микрорайоны или соседства располагались одно за другим. Предприятия тяжелой и пищевой промышленности концентрировались в основном на окраинах города, и здесь вновь повторялась та же структура: родственные предприятия стояли бок-о-бок на определенной площади или улице. Первой такой «ячейкой», попавшейся Шевеку на пути, оказался текстильный район: ряд площадей, застроенных заводами, обрабатывающими холумовое волокно, прядильными и ткацкими фабриками, красильными фабриками и распределителями тканей и одежды; в центре каждой площади стоял целый лес шестов, сверху донизу увешанный флажками и вымпелами, окрашенными во все доступные красильному искусству цвета и горделиво свидетельствовавшими о достижениях местной промышленности. Почти все здания в городе, просто и прочно построенные из камня или литого пенокамня, были похожи одно на другое. Некоторые из них показались Шевеку очень большими, но так как здесь часто бывали землетрясения, почти все они были одноэтажными. По той же причине окна были маленькие, из крепкого, небьющегося силиконового пластика; но зато их было очень много, потому что за час до восхода солнца искусственное освещение отключали и включали снова только через час после заката. Когда на улице было больше пятидесяти пяти градусов, отключали отопление. Дело было не в том, что Аббенаю — при его ветряных турбинах и почвенных термодифференциальных генераторах, применявшихся для отопления — не хватало энергии; но принцип органической экономии был настолько существенен для нормального функционирования общества, что не мог не оказывать глубокого влияния на этику и эстетику. «Излишества суть экскременты», — писала Одо в «Аналогии». — «Экскременты, задержавшиеся в организме, — это яд».

В Аббенае не было яда: это был ничем не украшенный город, яркий, с светлыми и жесткими красками, с чистым воздухом. В нем было тихо. Он лежал перед человеком открыто, был виден весь, отчетливо, как рассыпанная соль.

Ничего не было скрыто.

Площади, низкие строения, неогороженные рабочие дворы кипели энергией и деятельностью. Проходя мимо них, Шевек все время ощущал, что кругом — люди; они гуляли,

работали, разговаривали; он видел лица прохожих, слышал голоса, которые окликали, болтали, пели, видел людей, которые что-то делали, были чем-то заняты. Фасады мастерских и заводов выходили на площади или на открытые рабочие дворы, и двери их были открыты. Проходя мимо стекольного завода, он увидел, как рабочий зачерпнул громадным ковшом расплавленное стекло так же небрежно, как кухарка разливает суп. Рядом был двор, где делали пенокаменное литье для строительства; бригадир, крупная женщина в белом от пыли рабочем халате, громко командовала работой, великолепно подбирая выражения. За литейным двором шли: маленькая проволочная мастерская, районная прачечная, мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов, районный распределитель мелкого ширпотреба, театр, черепичная фабрика. Было страшно интересно смотреть на работу, кипевшую всюду, большей частью на полном виду. Повсюду были дети, некоторые работали вместе со взрослыми, другие путались под ногами — лепили куличики некоторые затевали на улице игры, одна девочка сидела на крыше учебного центра, уткнув нос в книгу. Мастер, изготовлявший проволоку, украсил фасад мастерской веселым и затейливым узором из виноградных лоз, сделанным из раскрашенной проволоки. Из широко открытых дверей прачечной с необычайной силой вырвались клубы пара и обрывки разговора. Запертых дверей не было совсем, закрытых — немного. Ничто не маскировалось, ничто не старалось привлечь к себе внимание. Все — вся работа, вся жизнь города — было на виду, все было открыто взгляду и прикосновению. А по Вокзальной Улице время от времени, громко звеня в звонок, проносилась какая-то штука, вагон, битком набитый людьми; люди гроздьями висели и на наружных стойках; старухи от души ругались, когда вагон не замедлял хода на остановках, не давая им сойти; за вагоном отчаянно гнался маленький мальчик на самодельном трехколесном велосипеде; на перекрестках с проводов голубым дождем сыпались электрические искры — словно эта тихая напряженная жизненная энергия улиц время от времени накапливалась до как ого-то предела — и разряжалась, с треском, голубой вспышкой и запахом озона. Это были аббенайские омнибусы, и когда они проезжали мимо Шевека, ему хотелось кричать «Ура».

Вокзальная Улица заканчивалась большой, просторной площадью, где пять других улиц сходились как лучи, образуя парк треугольной формы, с травой и деревьями. Большинство парков на Анарресе представляло собой глиняные или песчаные детские площадки с небольшой купой кустарникового или древесного холума. Этот парк был совсем не такой. Шевек перешел мостовую, по которой не ходил транспорт, и вошел в парк; его потянуло туда потому, что он часто видел его на картинках, и потому, что ему хотелось увидеть инопланетные деревья, уррасские деревья, вблизи, ощутить зелень этого множества листьев. Солнце садилось, небо было широким и ясным, в зените оно потемнело и стало лиловым, сквозь разреженную атмосферу виднелась тьма космоса. Шевек вошел под деревья, настороженно, опасливо. Разве это не расточительно — такая густая листва? Древесный холум очень хорошо обходится шипами и хвоей, да и тех у него не больше, чем необходимо. Ведь наверно, вся эта непомерно обильная листва — просто-напросто излишество, экскремент? Такие деревья не могут обойтись без тучной почвы, их надо постоянно поливать, они требуют большой заботы и ухода. Эти деревья были слишком роскошны, они были бесполезны, и это вызывало его неодобрение. Он шел под ними, среди них. Ступать по инопланетной траве было мягко. Словно ступаешь по живой плоти. Он испуганно отскочил обратно на дорожку. Темные ветви деревьев, словно руки, простираясь над его головой, держа над ним множество широких зеленых ладоней. Он почувствовал благоговейный страх. Он знал, что получил благословение, хотя и не просил о нем.

Недалеко впереди на темнеющей тропинке кто-то сидел на каменной скамье и читал.

Шевек медленно подошел и остановился у скамьи, глядя на склонившую голову над книгой фигуру в золотисто-зеленом сумраке под деревьями. Это была странно одетая женщина лет

пятидесяти-шестидесяти, с волосами, стянутыми на затылке в узел. Левой рукой она подпирала подбородок, так что строгий рот был почти скрыт, правая рука придерживала на коленях бумаги. Они были тяжелы, эти бумаги; тяжела была и лежавшая на них холодная рука. Сумерки быстро сгущались, но она не поднимала глаз. Она продолжала читать корректуру «Социального организма».

Некоторое время Шевек смотрел на Одо, потом сел на скамью рядом с ней.

Он не имел представления о статуях, а места на скамье было много. Сделать это его заставил чисто дружеский порыв.

Он смотрел на сильный, печальный профиль и на руки; это были руки старухи. Он поднял взгляд на тенистые ветви. Впервые в жизни он осознал, что Одо, чье лицо лицо знакомо ему с самого раннего детства, чьи идеи центральны и пребывают одновременно и в его уме, и в умах всех, кого он знает, — что Одо так и не ступила на землю Анарреса; что она прожила всю жизнь, и умерла, и была похоронена в тени зеленолистных деревьев, в городах, которые невозможно себе представить, среди людей, говоривших на неведомых языках, на другой планете. Одо была инопланетянка; изгнанница.

Юноша сидел в сумерках возле статуи, почти так же неподвижно, как и она.

Наконец, заметив, что уже темнеет, он встал и снова пошел по улицам, спрашивая у прохожих, как пройти к Центральному Институту Наук.

Оказалось, что это недалеко; он добрался туда вскоре после того, как дали свет. Регистраторша или вахтерша сидела в маленькой комнатке у входа и читала. Чтобы она обратила на него внимание, ему пришлось постучать по открытой двери.

— Шевек, — сказал он. Разговор с незнакомым человеком было принято начинать с того, что говоривший называл свое имя, чтобы второму было за что ухватиться. Больше ухватиться было не за что. Чинов, званий, общепринятых уважительных форм обращения не существовало.

— Кокван, — ответила женщина. — Тебя, кажется, ждали вчера?

— У грузовых дирижаблей поменялось расписание. В какой-нибудь общаге есть свободная койка?

— Номер 46 свободен. Через двор, левое здание. Здесь тебе записка от Сабула. Он говорит, чтобы ты утром зашел к нему в кабинет физики.

— Спасибо! — сказал Шевек и пошел через широкий прямоугольный мощеный двор, размахивая своим багажом — зимней курткой и запасной парой ботинок. В окнах домов по всем сторонам прямоугольника горел свет. В стоявшей тишине чувствовался какой-то смутный шепот, присутствие людей. В прозрачном, с холодком, воздухе городской ночи что-то шевельнулось — какое-то драматическое, сулившее что-то чувство.

Время обеда еще не кончилось, и он быстро свернул к институтской столовой посмотреть, нельзя ли там чего-нибудь перехватить. Оказалось, что его имя уже внесли в список регулярных посетителей, и еда оказалась превосходной. Был даже десерт — компот из консервированных фруктов. Шевек любил сладкое, и, так как он обедал одним из последних и компота оставалось еще очень много, он взял вторую порцию. Он сидел один за маленьким столиком. Неподалеку, за столами побольше, над пустыми тарелками разговаривали группы молодых людей; ему были слышны споры о поведении аргона при очень низких температурах, о поведении преподавателя химии на коллоквиуме, о предполагаемых искривлениях времени. Некоторые из разговаривавших вскользь посмотрели на него; никто из них не заговорил с ним, как заговорили бы с незнакомцем люди в маленьком городке; их взгляды не были недружелюбными, но, пожалуй, чуть вызывающими.

В бараке он нашел комнату 46 в длинном коридоре, где все двери были закрыты. По-видимому, все комнаты здесь были на одного человека, и он удивился, почему регистраторша

послала его сюда. С двухлетнего возраста он всегда жил в общежитиях, в комнатах на четыре-десять коек. Он постучал в дверь 46-й комнаты. Тишина. Он открыл дверь. Комната была маленькая, на одного человека, пустая, слабо освещенная светом из коридора. Он включил лампу. Два стула, письменный стол, далеко не новая логарифмическая линейка, несколько книг и аккуратно сложенное на спальном помосте оранжевое домотканное одеяло. Здесь уже кто-то живет, регистраторша ошиблась. Он закрыл дверь и снова открыл ее, чтобы выключить лампу. На письменном столе под лампой лежала записка, нацарапанная на обрывке бумаги: «Шевек, каб. физики, утром 2—4-1—154. Сабул».

Шевек положил куртку на стол, ботинки на пол. Немного постоял, читая названия книг; это были стандартные справочники по физике и математике, в зеленых переплетах с вытесненным Кругом Жизни. Повесил в стенной шкаф куртку, убрал ботинки. Тщательно задернул занавеску стенного шкафа. Прошел по комнате до двери: четыре шага. Еще немного неуверенно постоял, а потом — в первый раз в жизни — закрыл дверь собственной комнаты.

Сабул оказался низеньким, коренастым, неряшливым сорокалетним мужчиной. Его лицевые волосы были темнее и грубее обычного, а на подбородке сгущались в настоящую бороду. На нем была тяжелая зимняя верхняя блуза, выглядевшая так, будто он не снимал ее с прошлой зимы; рукава внизу почернели от грязи. Держался он резковато и недружелюбно.

Как он писал записки на обрывках бумаги, так и говорил обрывками фраз. Он рычал.

Тебе придется выучить иотийский, — прорычал он, обращаясь к Шевеку.

— Выучить иотийский?

— Я сказал: выучить иотийский.

— Зачем?

— Чтобы читать уррасские книги по физике! Атро, То, Байска, всех этих. Никто еще не перевел этого на правийский и, скорее всего, не переведет. Понять эти работы на Анарресе способны разве что шесть человек. На любом языке.

— Как я смогу выучить иотийский?

— Грамматика и словарь!

Шевек не отступал.

— Где мне их найти?

— Здесь, — проворчал Сабул. Он начал рыться в неряшливо расставленных на полках маленьких книгах в зеленых переплетах. Движения у него были резкие и раздраженные. Разыскав на самой нижней полке два толстых, не переплетенных тома, он швырнул их на письменный стол.

— Когда сможешь читать Атро по-иотийски — скажешь. А до тех пор мне с тобой делать нечего.

— Какой математикой пользуются эти уррасти?

— Ничего такого, с чем бы тебе было не справиться.

— Здесь кто-нибудь занимается хронотопологией?

— Да, Турет. Можешь с ним консультироваться. Слушать курс его лекций тебе не нужно.

— Я планировал посещать лекции Гвараб.

— Зачем?

— Ее работа по частоте и циклам…

Сабул сел и снова встал. Он был невыносимо подвижен, и вместе с тем он был какой-то жесткий, прямо не человек, а жук-древоточец.

— Не трать время. В теории секвенциальности ты далеко опередил старуху, а все остальные идеи, которые она выдает, — хлам.

— Меня интересуют принципы Одновременности.

— Одновременность! Это каким же спекулянтским дерьмом вас там пичкает Митис? — Физик свирепо уставился на Шевека, на висках под короткими жесткими волосами у него вздулись жилы.

— Я сам организовал совместный курс по этой теме.

— Взрослей. Взрослей. Пора повзрослеть. Теперь ты здесь. Мы здесь занимаемся физикой, а не религией. Брось мистику и стань взрослым человеком. Сколько времени тебе понадобиться, чтобы выучить иотийский?

— На то, чтобы выучить правийский, у меня ушло несколько лет, — сказал Шевек. До Сабула его безобидная ирония не дошла.

— Я его выучил за десять декад. Настолько, чтобы прочесть «Введение» То. Ах, да, черт, тебе же нужен какой-то иотийский текст. Можно взять и его. Сейчас. Подожди. — Он расшвырял все, что лежало в одном из переполненных ящиков письменного стола, и наконец откопал книгу, странного вида книгу, в синем переплете без Круга Жизни. Название было вытиснено золотыми буквами и выглядело, как «Поилеа Афио-ите», что было совершенно бессмысленно, и некоторые буквы были незнакомы Шевеку. Шевек смотрел на книгу широко открытыми глазами, он взял ее из рук у Сабула, но открывать не стал. Он держал ее, держал вещь, которую хотел увидеть, вещь, сделанную инопланетянами, послание из другого мира.

Он вспомнил книгу, которую ему показывал Палат, книгу с числами.

— Вернешься, когда сможешь ее читать, — прорычал Сабул.

Шевек повернулся и направился к двери. Сабул зарычал погромче: — Держи эти книги при себе! Они — не для всеобщего употребления.

Юноша остановился, обернулся и сказал своим спокойным и довольно застенчивым голосом:

— Я не понимаю.

— Никому не позволяй их читать!

Шевек ничего не ответил.

Сабул снова встал и подошел к нему вплотную.

— Слушай. Ты теперь член Центрального Института Наук, синдик Синдиката Физики и работаешь со мной, с Сабулом. Это тебе понятно? Привилегия есть ответственность. Правильно?

— Я должен приобрести знания, которыми я не должен делиться, — после короткой паузы сказал Шевек таким тоном, словно излагал суждение из области логики.

— Если бы ты нашел на улице взрывчатку, ты бы стал «делиться» ею с каждым проходящим мальчишкой? Эти книги — тоже взрывчатка. Теперь понял?

— Да.

— Ладно. — Сабул отвернулся, свирепо хмурясь, но эта свирепость, очевидно, была направлена на всех вообще, а не конкретно на Шевека.

Он принялся за изучение иотийского языка. Он работал один в 46-й комнате — и из-за предупреждения Сабула, и потому, что работать одному оказалось для него совершенно естественно.

С самого раннего возраста он сознавал, что в некоторых отношениях не похож ни на кого из тех, с кем он сталкивался. Для ребенка сознание такой непохожести очень мучительно, так он не может ее оправдать, потому что еще не успел сделать и не способен ничего сделать. Единственное, что может успокоить и ободрить такого ребенка, это присутствие надежных и любящих взрослых, которые тоже, в своем роде, не похожи на остальных; но у Шевека этого не было. Его отец, безусловно, был абсолютно надежным и любящим. Каким бы ни был Шевек, и что бы он ни сделал, Палат все одобрял и был ему предан. Но над Палатом не тяготело это проклятие непохожести. Он был таким, как другие, для кого общение не было проблемой. Он

любил Шевека, но не мог показать ему, что такое свобода, это признание одиночества каждого человека, которое лишь одно и способно преодолеть одиночество.

Поэтому Шевек привык к внутренней изоляции, смягченной ежедневными случайными контактами, неизбежными, когда живешь среди людей, и более тесным общением с несколькими друзьями. Здесь, в Аббенае, у него не было друзей, и, так как ему не приходилось ночевать в общей спальне, он ни с кем и не подружился. В двадцать лет он слишком остро сознавал странности своего склада ума и характера, чтобы быть общительным; он держался замкнуто и отчужденно; и его коллеги-студенты, чувствуя, что это отчуждение непритворное, не часто пытались подойти к нему.

Скоро уединение его комнаты стало дорого ему. Он наслаждался своей полной независимостью. Он выходил из комнаты только, чтобы позавтракать и пообедать в институтской столовой и быстро пройтись по улицам — это он делал каждый день, чтобы утихомирить свои мышцы, привыкшие к ежедневной нагрузке; а потом — назад, в 46-ю комнату, к иотийской грамматике. Раз в одну-две декады наступала его очередь участвовать в «дежурстве десятого дня» — выполнять коммунальные работы, но люди, с которыми он дежурил, были чужие, а не близкие знакомые, как это было бы в маленькой общине, так что эти дни физического труда психологически не нарушали его изоляцию и не мешали ему изучать иотийский язык.

Даже грамматика, сложная, алогичная и замысловатая, доставляла ему удовольствие. Как только он набрал достаточный основной запас слов, учеба у него пошла быстро, потому что он понимал, что он читает; он знал эту область науки и терминологию, а когда он на чем-то застревал, то либо собственная интуиция, либо математическое уравнение показывали ему, куда он забрался. Это не всегда были места, где он бывал раньше. «Введение в темпоральную физику» То не было учебником для начинающих. К тому времени, как Шевек добрался до середины книги, оказалось, что он читает уже не книгу на иотийском языке, а книгу по физике; и он понял почему Сабул велел ему прежде всего читать работы уррасских физиков, и только потом заниматься чем бы то ни было другим. Они оставили далеко позади все, сделанное на Анарресе в последние двадцать-тридцать лет. Самые блестящие прозрения в работах самого Сабула фактически были переводом с иотийского без ссылок.

Шевек продирался через другие книги, которые Сабул выдавал ему по одной, — основные работы современной уррасской физики. Его жизнь стала еще более напоминать жизнь отшельника. Он не проявлял активности в студенческом синдикате и не ходил на собрания других синдикатов или федераций, кроме сонной Федерации Физики. Собрания таких групп, служившие как для общественной активности, так и для общения, во всякой маленькой общине были основой жизни, но здесь, в большом городе, они казались гораздо менее значительными. Каждый конкретный человек не был для них необходим; всегда находились другие, готовые делать нужное дело, и это у них получалось совсем не плохо. Если не считать дежурств десятого дня и обычных дежурств по уборке своего барака и лаборатории, Шевек мог распоряжаться своим временем, как хотел. Он стал часто пропускать прогулки и время от времени — завтраки и обеды. Но он не пропустил ни одного занятия из единственного курса, который он посещал — курса лекций Гвараб по Частоте и Циклам.

Гвараб была так стара, что часто отвлекалась от темы, говорила несвязно и непонятно. Ее лекции посещали мало и нерегулярно. Вскоре она заметила, что единственный постоянный слушатель — худой лопоухий паренек. Она начала читать лекции для него. Светлые, умные, немигающие глаза встречались с ее глазами, поддерживали ее, пробуждали ее; она вновь обретала кругозор, у нее вновь появлялись вспышки гениальности. Она воспаряла, и другие студенты, сидевшие на лекции, поднимали взгляд, смущенные или встревоженные, даже

испуганные, если у них хватало ума испугаться. Гвараб видела гораздо большую вселенную, чем было способно увидеть большинство людей, и от этого они растерянно моргали. Светлоглазый парнишка не сводил с нее взгляда, на его лице она читала свою радость. Он принимал, он разделял с ней то, что она всю свою жизнь пыталась отдать, и чего никто с ней ни разу не разделил. Он был ее братом, несмотря на пропасть глубиной в пятьдесят лет, и ее искуплением.

Встречаясь в кабинетах физики или в столовой, они иногда сразу же начинали говорить о физике, но иногда у Гвараб не хватало на это энергии, и тогда им было почти не о чем говорить, потому что старуха была так же застенчива, как и юноша.

— Ты слишком мало ешь, — говорила она ему в таких случаях. Он улыбался, и уши у него краснели. Ни он, ни она не знали, что еще сказать.

Через полгода после приезда в Институт Шевек принес Сабулу сочинение в три страницы, озаглавленное: «Критика Гипотезы Атро о Бесконечной Последовательности». Через декаду Сабул вернул ему работу, буркнув:

— Переведи на иотийский.

— Я ее сначала и написал в основном по-иотийски, — сказал Шевек, — поскольку использовал терминологию Атро. Я перепишу оригинал. А зачем?

— Зачем? Чтобы этот чертов спекулянт Атро смог ее прочесть! В пятый день следующей декады будет корабль.

— Корабль?

— Грузовик с Урраса!

Так Шевек обнаружил, что между разделенными мирами курсируют не только нефть и ртуть, не только книги, такие, как те, что он читал, но и письма. Письма! Письма собственникам, подданным правительств, основанных на неравенстве власти, людям, которых неизбежно эксплуатируют другие, и которые сами неизбежно эксплуатируют других, потому что они согласились быть деталями Государства-Машины. Разве такие люди вправду добровольно, без агрессии обмениваются идеями со свободными людьми? Способны ли они действительно признать равенство и принять участие в интеллектуальной солидарности, или они просто пытаются доминировать, утверждать свою власть, обладать? Мысль о том, чтобы вправду переписываться с собственниками, встревожила его; но интересно было бы выяснить…

За первые полгода его пребывания в Аббенае ему пришлось сделать столько таких открытий, что он был вынужден признаться себе, что он был раньше — а может быть, и сейчас остался? — очень наивным; а умному молодому человеку нелегко признать такое.

Первым, и все еще наиболее трудно приемлемым, из этих открытий было то, что от него ждали, чтобы он выучил иотийский язык, но держал это знание при себе — ситуация, столь новая для него и в моральном отношении до такой степени неловкая, что он до си х пор так в ней и не разобрался. Очевидно, он никому не причиняет вреда тем, что не делится своим знанием. С другой стороны, чем повредило бы людям, если бы они узнали, что он знает иотийский, и что они тоже могут его выучить? Ведь свобода, конечно же, состоит не в скрытности, а в открытости, а свобода всегда стоит того, чтобы рискнуть. Хотя он и не понимал, какой тут риск. Один раз у него мелькнула смутная мысль, что Сабул хочет оставить эту новую уррасскую физику себе — владеть ею, как собственностью, как источником власти над своими коллегами на Анарресе. Но эта идея так противоречила всему привычному для Шевека образу мыслей, что ей было очень трудно обрести четкость в его мозгу, а когда она все-таки стала отчетливой, он сразу же подавил ее с презрением, как по-настоящему отвратительную мысль. Была и еще одна моральная заноза — это его личная комната. В детстве, если ты спал один, в отдельной комнате, это значило, что в общей спальне своего общежития ты так мешал остальным, что они не захотели больше терпеть тебя; что ты эгоизировал. Одиночество

равнялось позору. У взрослых главная причина потребности в отдельной комнате носила сексуальный характер. В каждом бараке было опреде ленное число отдельных комнат, и пара, желавшая совокупиться, занимала одну из таких свободных отдельных комнат на ночь, или на декаду, или на сколько хотела. Пара, вступающая в партнерство, получала двойную комнату; в маленьких городках, где свободной двойной комнаты могло и не найтись, ее нередко пристраивали к торцу барака, и таким образом, комната за комнатой, получалось длинное, низкое, неаккуратное строение; такие здания называли «партнерскими поездами». Кроме образования сексуальных пар, не существовало никаких причин не спать в общей спальне. Можно было выбрать спальню побольше или поменьше, а если тебе не нравились соседи, ты мог перейти в другую. В распоряжении каждого были нужные ему для работы мастерская, лаборатория, студия, сарай или кабинет; в бане каждый мог, по желанию, мыться в отдельной кабинке или в общем зале; уединение в сексуальных целях являлось социальной традицией и было доступно каждому; а какое-либо другое уединение было не функционально. Оно было излишеством, расточительством. Анарресская экономика отказывалась обеспечить строительство, содержание, отопление, освещение личных домов и квартир. Человеку с по-настоящему необщительным характером приходилось покидать общество и обходиться своими силами. Ему предоставлялась полная свобода сделать это. Он мог построить дом себе всюду, где только захочет (хотя, если этот дом портил красивый вид или занимал участок плодородной земли, он мог быть вынужден, под сильным давлением соседей, переселиться в другое место). На окраинах старых анарресских населенных пунктов было довольно много одиночек и отшельников, которые притворялись, что не относятся ни к какому социальному виду. Но для тех, кто принимал привилегии и обязанности людской солидарности, уединение имело ценность лишь тогда, когда выполняло какую-то функцию.

Первой реакцией Шевека на то, что его поместили в отдельную комнату, было возмущение пополам со стыдом. Почему его запихали сюда? Он скоро понял, почему. Потому что это было подходящее место для такой работы, которую он делал. Если идеи приходили ему в голову среди ночи, он мог включить свет и записать их; а если на заре, то их не вышибали у него из головы разговоры и суета четырех или пяти соседей по комнате, которые как раз вставали; а если идеи вообще не появлялись, и ему приходилось целыми днями сидеть за письменным столом, уставившись в окно остановившимся взглядом, то никто у него за спиной не удивлялся, почему он бездельничает. По существу, для занятий физикой уединение оказалось таким же желательным, как для занятий сексом. Но все же — было ли оно необходимо?

В институтской столовой на обед всегда давали сладкое. Шевек очень любил его и, когда оставались лишние порции, брал их. И у него сделалось несварение совести, его социально-организованной совести. Разве каждый человек в каждой столовой, от Аббеная до Края Света, не получает одно и то же, всем поровну? Ему всегда говорили, что это так. Конечно, были местные различия: пища, характерная для той или иной местности, нехватка чего-то, избыток чего-то, самодеятельная стряпня в Лагерях Проектов, плохие или хорошие повара, в общем, бесконечное разнообразие в рамках неизменности. Но не может быть такого талантливого повара, чтобы он смог приготовить десерт без продуктов. В большинстве столовых десерт давали один-два раза в декаду. А здесь — каждый вечер. Почему? Разве члены Центрального Института Наук лучше других людей?

Никому другому Шевек этих вопросов не задавал. Социальное сознание, мнение других было самой мощной моральной силой, мотивировавшей поведение большинства анаррести, но в нем эта сила была чуть менее мощной, чем в большинстве из них. Столь многие из его проблем были непонятны другим, что он привык разбираться в них сам, молча. Так он поступал и с этими проблемами, которые были для него в некоторых отношениях куда сложнее, чем

проблемы темпоральной физики. Он не спрашивал ничьего мнения. Брать в столовой десерт он перестал.

Но в общежитие он не переселился. Он сопоставил моральную неловкость с практическими преимуществами и счел, что последние перевешивают. В отдельной комнате ему работается лучше. Эта работа стоит того, чтобы ее делать, и он делает ее хорошо. Ответственность оправдывает привилегию.

Поэтому он продолжал работать.

Он похудел; он легко ступал по земле. Отсутствие физической нагрузки, отсутствие разнообразия в занятиях, отсутствие общения, в том числе сексуального — все это он воспринимал не как нехватку, а как свободу. Он был по-настоящему свободным человеком: он мог делать все, что хотел, тогда, когда хотел, столько, сколько хотел. Он работал. Он работал/играл.

Он набрасывал заметки для серии гипотез, которые вели к связной теории Одновременности. Но эта цель уже стала казаться ему слишком мелкой; была цель куда больше этой — объединенная теория Времени; ее можно было достигнуть, если бы он только сумел найти к ней подход. У него было такое чувство, будто он сидит в запертой комнате в центре большой открытой местности; она — вокруг него; если бы ему только найти выход, найти ясный путь. Интуиция превратилась в манию. За эти осень и зиму он все больше отвыкал спать. Ему хватало пары часов ночью и еще пары часов как-нибудь в течении дня; но и тогда это был не тот крепкий, глубокий сон, которым он всегда спал раньше; это было почти бодрствование на другом уровне, так полны сновидений были эти немногие часы. Эти сны, очень живые и яркие, были частью его работы. Он видел, как время начинает течь назад, словно река, текущая вверх, к своему источнику. Он держал в руках — в правой и в левой — одновременность двух мгновений; когда он раздвинул руки, он улыбнулся, видя, как мгновения разделяются подобно отрывающимся друг от друга мыльным пузырям. Еще не проснувшись как следует, он встал и записал математическую формулу, ускользавшую от него много дней. Он увидел, как пространство сжимается вокруг него, точно стенки коллапсирующей сферы, все втягиваясь и втягиваясь по направлению к центральной пустоте, смыкаясь, смыкаясь, — и проснулся с зажатым в горле криком о помощи, в молчании пытаясь избавиться от сознания своей вечной пустоты.

Однажды, в конце зимы, в холодные сумерки, по дороге из библиотеки домой он заглянул в кабинет физики — посмотреть, нет ли для него писем в ящике, куда складывалась вся почта. Ему не от кого было ждать писем, потому что он так ни разу и не написал никому из своих друзей на Северный Склон; но последние день-два он что-то неважно себя чувствовал; он опроверг несколько своих же гипотез, да еще самых красивых, и после полугода тяжкого труда вернулся к тому, с чего начал; фазовая модель была слишком неопределенной, чтобы от нее мог быть толк; у него болело горло; ему очень хотелось получить письмо от кого-нибудь знакомого или хотя бы застать кого-нибудь в кабинете физики и перекинуться словечком. Но никого, кроме Сабула, не было.

— Посмотри-ка, Шевек.

Он посмотрел на книгу, которую протягивал ему Сабул: тонкая книжка в зеленом переплете с Кругом Жизни. Он взял ее и взглянул на титульный лист. «Критика Гипотезы Атро о Бесконечной Последовательности». Это была его статья, ответ Атро — частью согласие, частью возражения — и его реплика. Все это было переведено на правийский (или переведено с перевода на иотийский) и напечатано в типографии КПР в Аббенае. На книжке стояли имена двух авторов: Сабул, Шевек.

Сабул ликовал, вытягивая шею над экземпляром, который держал Шевек. Его ворчание

стало гортанным, и в нем слышался смешок.

— Мы покончили с Атро. Покончили с ним, со спекулянтом проклятым. Пусть теперь попробуют болтать о «детской неточности»! — Сабул десять лет носился с обидой на журнал Иеу-Эунского университета «Физическое Обозрение», заявивший, что ценность его теоретической работы «подорвана провинциальностью и детской неточностью, которыми одонианское учение заражает любую область мысли». — Вот теперь они увидят, кто провинциал! — сказал он с усмешкой. Шевек не мог вспомнить, видел ли он хоть раз почти за год знакомства, чтобы Сабул улыбался.

Шевек сел на другом конце комнаты, убрав с конца скамьи груду какихто бумаг; обе комнаты кабинета физики были, конечно, общими, но эту — заднюю — Сабул постоянно загромождал материалами, которыми пользовался, так что ни для кого другого места уже как будто и не оставалось. Шевек посмотрел на книгу, которую все еще держал в руках, потом в окно. Он чувствовал себя — и выглядел — больным. Выглядел он также и напряженным; но с Сабулом он раньше никогда не чувствовал смущения или неловкости, как это часто бывало у него с людьми, которых ему хотелось бы узнать поближе.

— Я не знал, что ты ее переводишь, — сказал он.

— И перевел, и отредактировал. Отшлифовал кое-какие шероховатости, вставил переходы, которые ты пропустил, и тому подобное. Работы на пару декад. Можешь гордиться, твои идеи в значительной степени лежат в основе этой книги в ее законченном виде.

Книга состояла полностью и исключительно из идей Шевека и Атро.

— Да, — сказал Шевек. Он опустил взгляд на свои руки. Помолчав, он сказал:

— Я хотел бы опубликовать статью об Обратимости, которую написал в этом квартале. Ее бы следовало послать Атро. Она бы его заинтересовала. Он все еще застрял на причинности.

— Опубликовать? Где?

— Я имел в виду — по-иотийски, на Уррасе. Послать ее Атро, как эту, последнюю, и он отправит ее в один из тамошних журналов.

— Ты не можешь направлять им для опубликования работу, которая еще не напечатана здесь.

— Но с этой-то мы же так и сделали. Все это, кроме моей реплики, было опубликовано в Иеу-Эунском «Обозрении» до того, как вышло здесь.

— С этим я ничего не мог поделать, но как ты думаешь, почему я так поспешно сдал это в печать? Ты что, думаешь, что в КПР все так уж одобряют этот наш обмен идеями с Уррасом? Оборона настаивает, чтобы на каждое слово, которое отправляется отсюда на грузовых планетолетах, дал разрешение утвержденный КПР эксперт. А к тому же, уж не воображаешь ли ты, что все эти провинциальные физики, которые не имеют возможности пользоваться, как мы, этим каналом связи с Уррасом, нам не завидуют? Да некоторые только и ждут, чтобы мы оступились, им только этого и надо. Если мы когда-нибудь на чем-нибудь споткнемся, мы тут же потеряем наш почтовый ящик на уррасских грузовиках. Теперь улавливаешь картину?

— А как Институт вообще получил этот почтовый ящик?

— Когда Пегвура десять лет назад выбрали в КПР. Я с тех самых пор веду себя чертовски осторожно, чтобы не лишиться его. Понял?

Шевек кивнул.

— Во всяком случае, Атро незачем читать эту твою ерунду. Я уж сколько декад назад посмотрел эту твою статью и вернул ее тебе. Когда ты, наконец, перестанешь тратить время на эти реакционные теории, за которые цепляется Гвараб? Неужели ты не видишь, что она на них всю жизнь убила? Если ты не прекратишь, ты просто останешься в дураках. Это, конечно, твое неотъемлемое право. Но выставлять дураком меня я тебе не позволю.

— А если я сдам эту статью в печать здесь, на правийском языке?

— Только время зря потеряешь.

Шевек слабым кивком показал, что понял. Он встал, долговязый и угловатый, и секунду постоял, отчужденный, погруженный в свои мысли. Жесткий зимний свет лежал на его волосах, которые он теперь отбрасывал назад и заплетал в косу, и на его застывшем, лице. Он подошел к письменному столу и взял из маленькой стопки новых книжек одну.

— Я бы хотел послать один экземпляр Митис, — сказал он.

— Бери, сколько хочешь… Слушай. Если ты считаешь, что лучше меня знаешь, что делать, так отдай свою статью в Синдикат Печати. Тебе же не нужно разрешение! Здесь ведь, знаешь ли, не какая-нибудь иерархия! Я не могу тебе запретить. Все, что я могу сделать, — это дать тебе совет.

— Ты — консультант Синдиката Печати по рукописям по физике, — сказал Шевек. — Я подумал, что если спрошу тебя сейчас, то всем съэкономлю время.

Его мягкость была бескомпромиссной; он был непобедим, потому что не хотел ни с кем бороться за победу.

— Что значит «съэкономить время»? — проворчал Сабул; но Сабул тоже был одонианин: от собственного лицемерия его корчило, как от физической боли; он отвернулся от Шевека, снова повернулся к нему и злорадно, глухим от злости голосом сказал:

— Валяй! Представляй эту чертову статью к публикации! Я заявлю, что она — не в моей компетенции. Я им скажу, чтобы они обратились к Гвараб. Она, а не я, специалист по Одновременности! Мистическая гагаистика! Вселенная — гигантская струна, которая вибрирует, то входя в пределы существования, то выходя за них! А кстати, какую она ноту играет? Надо полагать — пассажи из Числовых Гармоний? В общем, факт тот, что я не обладаю достаточной компетенцией (иными словами — не желаю), чтобы консультировать КПР или Печать по интеллектуальным экскрементам!

— Работа, которую я делал для тебя, — сказал Шевек, — это часть работы, которую я выполнил на основании идей Гвараб по Одновременности. Если тебе нужно одно, тебе придется стерпеть и другое. Как говорят у нас на Северном Склоне, зерно лучше всего растет на дерьме.

Он несколько секунд постоял и, не услышав от Сабула в ответ ни слова, попрощался и вышел.

Он понимал, что сейчас выиграл бой, причем легко, без видимых усилий. Но все же насилие было совершено.

Как и предсказывала Митис, он был «человеком Сабула». Сабул уже много лет назад перестал быть функционирующим физиком; его высокая репутация основывалась на экспроприации чужих идей. Шевек должен был думать, а Сабул — приписывать себе результаты.

Такая ситуация явно была этически недопустима, и Шевеку следовало ее разоблачить и отвергнуть. Но он не собирался этого делать. Сабул был ему нужен. Он хотел публиковать то, что писал, и посылать людям,способным понимать это, уррасским физикам; он нуждался в их идеях, их критике, их сотрудничестве.

Поэтому они — он и Сабул — стали торговаться, как спекулянты. Это был не бой, а торговая сделка. Ты даешь мне это, а я даю тебе то. Ты откажешь мне — и я откажу тебе. Продано? Продано! — Карьера Шевека, так же, как и существование его общества, зависела от непрерывности фундаментального взаимовыгодного контракта, в существовании которого, однако, никто не признавался даже себе. Не отношения взаимопомощи и солидарности, а эксплуатационные взаимоотношения; не органические, а механические. Может ли истинная функция возникнуть из исходной дисфункции?

— Но я же хочу только одного — довести эту работу до конца, — мысленно уговаривал себя Шевек, идя через площадь к прямоугольнику бараков. Серый, ветреный день клонился к вечеру.

— Это мой долг, это моя работа, это цель всей моей жизни. Человек, с которым я вынужден работать, стремится к превосходству, борется за него, он спекулянт, но я не могу этого изменить; если я хочу работать, я должен работать с ним.

Он вспомнил Митис и ее предостережение. Он вспомнил Региональный Институт и вечеринку перед своим отъездом. Теперь все это казалось ему таким далеким и таким по-детски спокойным и безопасным, что ему захотелось заплакать от ностальгии. Когда он вошел под портик корпуса Естественных Наук, какая-то девушка на ходу искоса посмотрела на него, и он подумал, что она похожа на ту девушку, как ее, ну с короткими волосами, которая тогда на вечеринке съела столько жареных лепешек. Он остановился и обернулся, но она уже исчезла за углом. Впрочем, у этой девушки волосы были длинные. Ушло, ушло, все ушло. Он вышел из-под укрытия портика на ветер. Ветер нес мелкий, редкий дождь. Дождь всегда был редким — если он вообще шел. Это была сухая планета. Сухая, бледная, враждебная. «Враждебная!» — громко сказал Шевек поиотийски. Он никогда не слышал, как говорят на этом языке: слово звучало очень странно. Дождь бил ему в лицо, больно, как гравий. Это был враждебный дождь. К боли в горле прибавилась отчаянная головная боль, которую он почувствовал только сейчас. Он добрался до 46-ой комнаты и лег на спальный помост, который оказался гораздо дальше от двери, чем обычно. Его трясло, и он никак не мог унять эту дрожь. Он закутался в оранжевое одеяло и сжался в комочек, пытаясь уснуть, но никак не мог перестать дрожать, потому что со всех сторон его непрерывно бомбардировали атомами, и тем сильнее, чем выше у него поднималась температура.

Он никогда раньше не болел и даже не ощущал никакого физического недомогания, кроме усталости. Не имея представления о том, что такое высокая температура, в эту долгую ночь, время от времени приходя в себя, он думал, что сходит с ума. Когда наступило утро, боязнь безумия заставила его обратиться за помощью. Он слишком испугался самого себя, чтобы просить помочь соседей по коридору: ведь ночью он слышал свой бред. Он побрел в местную больницу, за восемь кварталов, и холодные, залитые ярким светом восходящего солнца улицы медленно кружились вокруг него. В клинике выяснилось, что его безумие — это воспаление легких, и ему велели лечь в постель в палате №2. Он запротестовал. Медсестра обвинила его в эгоизме и объяснила, что, если он пойдет домой, то врачу придется посещать его там и обеспечивать ему уход. Он лег в постель в палате №2. Все остальные больные в этой палате были старые. Пришла медсестра, принесла ему стакан воды и таблетку.

— Что это? — подозрительно спросил Шевек. Его опять трясло так, что зубы стучали.

— Жаропонижающее.

— Что это такое?

— Чтобы сбить температуру.

— Мне этого не надо.

Медсестра пожала плечами.

— Ладно, — сказала она и прошла дальше.

Большинство молодых анаррести считало, что болеть стыдно: возможно, из-за весьма успешных профилактических мероприятий, проводившихся их обществом, а также, может быть, и по причине путаницы, вызванной аналогическим применением слов «здоровый» и «больной». Они считали, что болезнь — это преступление, хотя и невольное. Поддаваться преступному порыву, поощрять его, принимая обезболивающие, было безнравственно. Они отказывались от таблеток и уколов. С годами большинство из них начинало смотреть на это иначе. У пожилых и стариков боль пересиливала стыд. Медсестра раздавала лекарства старикам в палате №2, а они

шутили с ней. Шевек смотрел на это с тупым непониманием.

Потом пришел доктор со шприцем.

— Мне это не нужно, — сказал Шевек.

— Прекрати эгоизировать, — сказал доктор, — и повернись на живот.

Шевек повиновался.

Потом какая-то женщина поила его из чашки, но его так трясло, что вода пролилась и промочила одеяло.

— Отстань, — сказал он. — Ты кто?

Она ответила, но он не понял. Он сказал, чтобы она ушла, ведь он чувствует себя очень хорошо. Потом он стал объяснять ей, почему циклическая гипотеза, сама по себе непродуктивная, столь существенна для его подхода к возможной теории Одновременности, являясь ее краеугольным камнем. Он говорил частично на родном языке, а частично — по-иотийски и писал формулы и уравнения мелом на грифельной доске, чтобы ей и всей остальной группе было понятно, а то он боялся, что они не поймут про краеугольный камень. Она касалась его лица и связывала ему волосы сзади, чтобы не мешали. Руки у нее были прохладные. Никогда в жизни он не испытывал ничего приятнее, чем прикосновение ее рук. Он потянулся к ее руке. Ее не было, она ушла.

Спустя долгое время он проснулся. Оказалось, что он может дышать, что он прекрасно себя чувствует. Все было в полном порядке. Ему не хотелось двигаться. Если бы он сделал какое-нибудь движение, оно нарушило бы этот совершенный, устойчивый момент, это равновесие мира. Зимний свет, лежащий на потолке, был невыразимо прекрасен. Шевек лежал и любовался им. Старики на другом конце палаты пересмеивались старческим, хриплым, кудахчущим смехом, и это был прекрасный звук. Та женщина вошла и села у его койки. Он взглянул на нее и улыбнулся.

— Как ты себя чувствуешь?

— Как новорожденный. Кто ты?

Она тоже улыбнулась.

— Мать.

— Второе рождение. Но тогда у меня должно быть новое тело, а не то же самое, старое.

— Что ты такое говоришь?

— Это не на земле. На Уррасе. Второе рождение — часть их религии.

— Ты все еще бредишь. — Она коснулась его лба. — Жара нет. — Ее голос, выговоривший эти два слова, больно задел что-то глубоко в существе Шевека, какое-то темное место, скрытое за стенами, и все отражался и отражался во тьме этих стен. Он взглянул на женщину и с ужасом сказал:

— Ты — Рулаг.

— Я же тебе говорила! Несколько раз!

Она по-прежнему сохраняла на лице беспечное, даже веселое выражение. О том, чтобы Шевек что-нибудь сохранял, и речи быть не могло. У него не было сил отодвинуться, но он весь сжался в нескрываемом страхе, стараясь оказаться как можно дальше от нее, словно это была не его мать, а его смерть. Если она и заметила это слабое движение, то вида не подала.

Она была хороша собой, смуглая, с тонкими и пропорциональными чертами лица, на котором не было морщин, хотя ей уже минуло сорок. Все в ней было гармонично и сдержанно. Голос у нее был негромкий, приятного тембра.

— Я не знала, что ты здесь, в Аббенае, — сказала она, — и вообще, где ты и существуешь ли ты вообще. Я была на складе Синдиката Печати, подбирала литературу для Инженерной Библиотеки, и увидела книгу Сабула и Шевека. Сабула я, конечно, знаю. Но кто такой Шевек?

Почему это звучит так знакомо? С минуту, а то и дольше, я не могла сообразить. Странно, правда? Но у меня просто в голове не укладывалось. Тому Шевеку, которого я знаю, должно быть только двадцать лет, вряд ли он может быть соавтором трактатов по метакосмологии вместе с Сабулом. Но любому другому Шевеку должно было бы быть еще меньше двадцати!… Поэтому я пошла посмотреть. Какой-то парнишка в бараке сказал, что ты здесь… В этой больнице страшно не хватает персонала. Не понимаю, почему синдики не требуют от Медицинской Федерации, чтобы сюда либо назначили еще людей, либо сократили бы прием больных; некоторые из этих медсестер и врачей работают по восемь часов в день! Конечно, среди медиков есть люди, которые сами хотят этого: импульс самопожертвования. К сожалению, это не дает максимальной эффективности… Странно было найти тебя. Я бы тебя ни за что не узнал а… Ты переписываешься с Палатом? Как он?

— Он умер.

— Ах, вот что… — В голосе Рулаг не было притворного потрясения или горя, только какая-то привычная безотрадность, нотка незащищенности от беды. Это тронуло Шевека, позволило ему на мгновение увидеть в ней человека.

— Давно он умер?

— Восемь лет назад.

— Но ведь ему было не больше тридцати пяти.

— В Широких Равнинах было землетрясение. Мы там жили уже лет пять, он был городским инженером-строителем. От землетрясения обрушился учебный центр. Он с другими пытался вытащить детей из-под развалин, а тут — второй толчок, и все рухнуло окончательно. Тридцать два человека погибло.

— Ты там был?

— Я дней за десять до землетрясения уехал учиться в Региональный Институт.

Она задумалась, лицо ее было спокойным.

— Бедный Палат. Это так на него похоже — умереть с другими, одним из тридцати двух… Статистический показатель.

— Статистические показатели были бы выше, если бы он не вошел в здание, — сказал Шевек.

Услышав это, она взглянула на него. По ее взгляду нельзя было понять, что она чувствует и чувствует ли что-нибудь вообще. Ее слова могли быть вызваны порывом, а могли быть и обдуманными — понять это было невозможно.

— Ты любил Палата?

Он не ответил.

— Ты не похож на него. В сущности, ты похож на меня, только светлый. А я думала, что ты будешь похож на Палата. Я была в этом уверена… странно, как наше воображение создает такие представления. Значит, он оставался с тобой?

Шевек кивнул.

— Ему повезло. — Она не вздохнула, но в ее тоне слышался подавленный вздох.

— Мне тоже.

Она помолчала, потом слабо улыбнулась.

— Да. Я могла бы поддерживать с тобой связь. Ты не обижаешься на меня за то, что я этого не сделала?

— Обижаться на тебя? Но я тебя даже и не знал.

— Знал. Мы с Палатом оставили тебя у себя, в бараке, даже после того, как я отняла тебя от груди. Мы оба этого хотели. Именно в эти первые годы особенно важен индивидуальный контакт: психологи окончательно доказали это. Полную социализацию можно развить только из

этого аффективного начала… Я была согласна продолжать партнерство. Я пыталась добиться, чтобы Палата назначили сюда, в Аббенай. Здесь не было мест для специалистов его профиля, а ехать без назначения он не хотел. Была в нем упрямая жилка… Сперва он иногда писал мне, как ты, а потом перестал писать.

— Это не важно, — сказал юноша. Его лицо, похудевшее за время болезни, было покрыто очень мелкими капельками пота, так что его щеки и лоб казались серебристыми, точно смазанными маслом.

Снова наступило молчание; потом Рулаг сказала своим ровным, приятным голосом:

— Нет, это и тогда было важно, и сейчас важно. Но именно Палату следовало оставаться с тобой и поддерживать тебя в период твоего формирования. Он умел быть опорой, родителем, а я этого не умею. Для меня на первом месте — работа. И так было всегда. Все же я рада, Шевек, что ты теперь здесь. Может быть, теперь я смогу быть тебе чем-нибудь полезна. Я знаю, что Аббенай вначале кажется пугающим. Чувствуешь себя затерявшимся, оторванным, не хватает простой солидарности, свойственным маленьким городкам. Я знаю интересных людей, с которыми ты, может быть, захочешь познакомиться. И людей, которые могли бы быть тебе полезны. Я знаю Сабула; я могу представить себе, с чем тебе пришлось столкнуться и у него, и во всем Институте. Они там играют в «Кто кого превзойдет». И чтобы понять, как их обыграть, нужен известный опыт. И вообще я рада, что ты здесь. Это доставляет мне удовольствие, которого я раньше не знала… какую-то радость… Я прочла твою книгу. Ведь это твоя книга, правда? Иначе зачем бы Сабулу публиковаться в соавторстве с двадцатилетним студентом? Ее предмет выше моего понимания, я ведь всего лишь инженер. Признаться, я горжусь тобой. В этом есть что-то странное, правда? Нелогичное. Даже собственническое. Как будто ты — вещь, принадлежащая мне! Но когда человек стареет, у него появляется потребность, не всегда вполне логичная, в какой-то поддержке. Чтобы вообще были силы жить дальше.

Он видел ее одиночество. Он видел ее боль, и она злила его. Она угрожала ему. Она угрожала верности его отца, той незамутненной, постоянной любви, в которой были корни его, Шевека, жизни. Какое она имеет право, она, бросившая Палата, когда была ему нужна, теперь, когда это нужно ей, приходить к сыну Палата? Он ничего, ничего не может дать ей, и вообще никому.

— Пожалуй, было бы лучше, — сказал он, — если бы ты продолжала относиться ко мне, как к статистическому показателю.

— Ах, вот что… — сказала она; тихий, безнадежный ответ. Она отвела от него взгляд.

Старики на другом конце палаты любовались ею, толкая друг друга в бок.

— Должно быть, — сказала она, — я пыталась заявить на тебя какие-то претензии. Но я имела в виду, чтобы ты заявил на меня претензии. Если бы захотел.

Он ничего не ответил.

— Конечно, мы с тобой мать и сын только в биологическом смысле. — На ее губах опять появилась слабая улыбка. — Ты меня не помнишь, а младенец, которого помню я — не нынешний двадцатилетний мужчина. Все это — прошлое, это уже не важно. Но здесь и сейчас мы — брат и сестра. А именно это и важно по-настоящему, не так ли?

— Не знаю.

С минуту она сидела молча, потом встала.

— Тебе надо отдохнуть. Когда я пришла в первый раз, тебе было совсем плохо. А теперь, как мне сказали, все будет в полном порядке. Я думаю, я больше не приду.

Он молчал. Она сказала:

— Прощай, Шевек, — и, говоря это, отвернулась от него. То ли он действительно краем глаза увидел, как ее лицо, пока она говорила это, страшно изменялось, искажалось, то ли этот

кошмар ему померещился. Должно быть, показалось. Она вышла из палаты грациозной, размеренной походкой красивой женщины, и он увидел, как в коридоре она остановилась и с улыбкой что-то сказала медсестре.

Он поддался страху, который пришел вместе с ней, чувству нарушения обещаний, бессвязности Времени. Он не выдержал. Он заплакал, пытаясь спрятать лицо, закрыв его руками, потому что у него не было сил повернуться на другой бок. Один из стариков, больных стариков, подошел, присел на край его койки и похлопал его по плечу.

— Ничего, брат. Все обойдется, братишка, — бормотал он. Шевек слышал его и ощущал его прикосновение, но это не утешало его. Даже брат не может утешить в недобрый час, во тьме у подножия стены.

Глава пятая. УРРАС

Конец своей карьеры туриста Шевек воспринял с облегчением. В ИеуЭуне начинался новый семестр, и теперь он сможет осесть в Раю, чтобы жить и работать, а не только заглядывать в него снаружи.

Шевек взялся вести два семинара и открытый курс лекций. От него не требовали преподавательской работы, но он сам спросил, нельзя ли ему преподавать, и администрация устроила эти семинары. Идея открытых лекций не принадлежала ни ему, ни администрации. С этой просьбой к нему пришла делегация студентов. Он сразу же согласился. Так организовывались курсы в анарресских учебных центрах: по требованию студентов, или по инициативе преподавателя, или по обоюдному желанию.

Обнаружив, что администраторы встревожены, он рассмеялся.

— Неужели вы хотите, чтобы студенты не были анархистами? — сказал он. — Кем же еще может быть молодежь? Когда ты — на дне, приходится организовываться со дна вверх!

Он не собирался позволить администрации помешать ему читать этот курс — ему уже раньше приходилось вести такие бои; и студенты стояли на своем твердо, потому что он заразил их своей твердостью. Чтобы избежать неприятной огласки, Ректоры Университета сдались, и Шевек начал читать свой курс, в первый день — двухтысячной аудитории. Вскоре посещаемость упала. Он упорно придерживался только физики, не касаясь ни личностей, ни политики, и уровень этой физики был изрядно высок. Но несколько сот студентов продолжали ходить. Некоторые приходили из чистого любопытства — поглазеть на человека с Луны; других привлекал сам Шевек как личность, его качества как человека и как сторонника свободы, которые они могли мельком уловить из его слов, даже когда им не удавалось разобраться в математической части его рассуждений. И очень многие из них — удивительно! — были способны разобраться и в философии, и в математике.

У этих студентов была превосходная подготовка: ум у них был тонкий, острый, готовый к восприятию. Когда он не работал, он отдыхал. Их ум не притупляли и не отвлекали десятки других обязанностей. Они никогда не засыпали на занятиях от того, что вчера наработались на сменном дежурстве. Их общество полностью ограждало их от нужды, забот и всего, что могло бы отвлечь их от учебы.

Но что им разрешалось делать — это был уже другой вопрос. У Шевека сложилось впечатление, что их свобода от обязанностей была пропорциональна отсутствию у них свободы проявлять инициативу.

Когда ему объяснили здешнюю систему экзаменов, он пришел в ужас; он не мог представить себе ничего, что сильнее подавляло бы естественное желание учиться, чем эта система набивания студента информацией, чтобы он потом извергал ее по требованию преподавателя. Сначала Шевек отказывался давать контрольные работы или вообще ставить оценки, но это так напугало администрацию Университета, что он сдался, сознавая, что он — их гость, и не желая быть невежливым. Он попросил каждого студента написать работу по интересующей его физической проблеме, и сказал, что каждому поставит самую высокую оценку, чтобы бюрократам было, что записать в свои бланки и списки. К его удивлению, очень многие студенты пришли к нему жаловаться. Они хотели, чтобы он сам ставил проблемы, задавал подходящие вопросы; они хотели не придумывать вопросы, а записывать выученные ответы. И некоторые из них резко возражали против того, чтобы он ставил всем одинаковые оценки. Как же тогда можно будет отличить прилежных студентов от тупиц? Зачем же тогда стараться? Если не будет конкурентных различий, то с тем же успехом можно вообще ничего не

делать.

— Ну, конечно, — озадаченно сказал Шевек. — Если вы не хотите выполнять какую-то работу, то вы и не должны ее делать.

Они ушли, неудовлетворенные, но учтивые. Это были симпатичные юноши, державшиеся открыто и вежливо. То, что Шевек читал об истории Урраса, привело его к мысли, что они в сущности, аристократы, хотя нынче это слово употреблялось редко. Во времена феодализма аристократы посылали своих сыновей в университет, тем самым придавая этому учреждению престиж. Теперь было наоборот: университет придавал престиж человеку. Студенты с гордостью рассказывали Шевеку, что конкурс на стипендии в Иеу-Эун возрастает с каждым годом, что доказывает, как демократично это учреждение. Он ответил:

— Вы вставляете в дверь еще один замок и называете это демократией.

Ему нравились его вежливые, сообразительные студенты, но ни к кому из них он не испытывал особо теплых чувств. Они хотели стать научными работниками — теоретиками или прикладниками — и то, что они узнавали от него, было для них средством для достижения этой цели, для успешной карьеры. Все остальное, что он мог бы дать им, они либо уже имели, либо не считали существенным.

Поэтому оказалось, что за исключением подготовки этих трех курсов у него нет никаких обязанностей; всем остальным временем он мог распоряжаться, как угодно. Такого с ним не случалось с первых лет его работы в Аббенае, когда ему было чуть за двадцать. За время, прошедшее с тех пор, его социальная и личная жизнь все более усложнялась, предъявляла к нему все большие требования. Он успел стать не только физиком, но и партнером, отцом, одонианином и, наконец, преобразователем общества. И потому, что он был всем этим, никто не ограждал его ни от каких забот, ни от какой ответственности, с которыми он сталкивался; да он и не ждал этого. Он не был свободен ни от чего, он лишь был волен делать все, что угодно. Здесь было наоборот. Как и всем студентам и профессорам, кроме умственного труда, ему было нечем заниматься: в буквальном смысле слова нечем. Постели им стелили другие, комнаты подметали другие, повседневную жизнь университета обеспечивали другие, с их пути устраняли все препятствия. И ни у кого здесь не было жен, не было семей. Вообще никаких женщин. Студентам Университета не разрешалось жениться. Женатые профессора обычно в течение пяти дней семидневной недели жили на территории Университета в квартирах для холостых и только на два выходных дня уезжали домой. Ничто не отвлекало. Полная возможность работать; все материалы под рукой; интеллектуальные стимулы, споры, беседы, как только захочешь; ничто не давит. Воистину Рай! Но ему что-то не работалось.

Шевеку чего-то не хватало — в нем самом, думал он, не в университете. Он не был готов к этому. У него не хватало сил взять то, что ему так великодушно протягивали. В этом прекрасном оазисе он чувствовал себя иссохшим и бесплодным, как растение пустыни. Жизнь на Анарресе наложила на него печать, замкнула его душу; воды жизни окружали его — а он не мог пить.

Он заставлял себя работать, но даже и в этом он не обретал уверенности. Казалось, он утратил то чутье, которое, оценивая себя, считал своим главным преимуществом перед большинством других физиков, умение распознавать, в чем заключается самая главная проблема, найти след, ведущий вглубь, к самому центру. Здесь он, казалось, утратил чувство направления. Он работал в Лаборатории Исследования Света, очень много читал и за лето и осень написал три работы; по нормальным меркам — плодотворные полгода. Но он знал, что, по существу, ничего не сделал.

Больше того, чем дольше он жил на Уррасе, тем менее реальным он ему казался. Он словно выскальзывал у Шевека из рук, весь этот полный жизни, великолепный, неисчерпаемый мир, который он увидел из окон своей комнаты в тот, самый первый свой день в этом мире. Он

выскользнул из его неловких, нездешних рук, ускользнул от него, и когда он снова взглянул, оказалось, что он держит что-то совершенно иное, совсем не нужное ему, что-то вроде оберточной бумаги, упаковки, мусора.

За написанные работы он получил деньги. На его счету в Национальном Банке уже было 10000 Международных Денежных Единиц — премия Сео Оэн — и субсидия в 5000 от Иотийского Правительства. Теперь к этой сумме добавилось его профессорское жалование и деньги, которые ему заплатило Университетское Издательство за эти три монографии. Сначала все это казалось ему смешным, потом стало беспокоить. Нельзя было отмахиваться, как от нелепости, от того, что здесь, в конце концов, считается невероятно важным. Он попытался прочесть учебник элементарной экономики; ему стало невыносимо скучно, точно он слушал чей-то нескончаемый рассказ о длинном и дурацком сне. Он не мог заставить себя понять, как функционируют банки и тому подобное, потому что все операции капитализма казались ему такими же бессмысленными, как обряды какой-нибудь первобытной религии, такими же варварскими, такими же нарочито усложненными, такими же ненужными. В человеческих жертвоприношениях божеству может скрываться хотя бы некая превратно понятая и грозная красота; в ритуалах же менял, исходивших из того, что всеми поступками людей движет жадность, лень и зависть, даже грозное и ужасное становилось банальным. Шевек смотрел на эту чудовищную мелочность с презрением и без интереса. Он не признавался себе, не мог признаться себе, что на самом деле она его пугает.

На вторую неделю его пребывания в А-Ио Саио Паэ повел его «по магазинам». Хотя ему даже в голову не пришло остричь волосы (в конце концов, его волосы — это часть его самого), Шевеку были нужны костюм и пара ботинок, какие носят на Уррасе. Ему хотелось как можно меньше внешне отличаться от уррасти. Его старый костюм был настолько простым, что эта простота казалась нарочитой, а его мягкие, неуклюжие сапоги, какие носят в пустыне, на фоне изысканной иотийской обуви выглядели очень и очень странно. Поэтому Паэ по просьбе Шевека повел его на Проспект Саэмтэневиа, улицу в Нио-Эссейя, где продавали и шили на заказ элегантную одежду и обувь, чтобы с него сняли мерку портной и сапожник.

Вся эта процедура до такой степени ошеломила Шевека, что он как можно скорее выкинул ее из головы, но еще много месяцев его преследовали сны об этом — кошмары. Улица Саэмтэневиа была длиной не больше двух миль и казалась сплошной массой людей, транспорта и вещей: вещей, которые продавались, которые покупались. Куртки, платья, плащи, халаты, брюки, короткие штаны, рубашки, блузы, шляпы, туфли, чулки, шарфы, шали, майки, пелерины, зонтики, одежда для сна, для купания, для игр, для того, чтобы ходить в гости днем, для того, чтобы ходить на вечера, для того, чтобы ездить в гости за город, для дальних поездок, для посещения театра, для верховой езды, для работы в саду, для приема гостей, для поездок на пароходе, для обеда, для охоты — все разное, сотни разных фасонов, стилей, цветов, материалов. Духи, часы, лампы, статуи, косметика, свечи, картины, фотоаппараты, игры, вазы, диваны, кастрюли, головоломки, подушки, куклы, дуршлаги, пуфики, драгоценности, ковры, зубочистки, записные книжки, платиновая, с ручкой из горного хрусталя, погремушка для младенца, у которого режутся зубы, электрическая точилка для карандашей, наручные часы с бриллиантовыми цифрами; сувениры, и статуэтки, и безделушки, и антикварные штучки, все либо бесполезное изначально, либо декоративное до такой степени, что нельзя было понять, для чего оно служит; акры всякой роскоши, акры экскремента. В первом же квартале Шевек остановился посмотреть на лохматое пятнистое пальто, выставленное в самом центре сверкающей витрины с одеждой и ювелирными изделиями.

— Это пальто стоит 8400 единиц? — спросил он, не веря своим глазам, потому что недавно прочел в газете, что «прожиточный минимум» составляет около 2000 единиц в год.

— О да, это настоящий мех, большая редкость в наше время, когда животные находятся под защитой, — ответил Паэ. — Миленькая вещь, не правда ли? Женщины обожают меха. — И они пошли дальше. Пройдя еще квартал, Шевек почувствовал полное изнеможение. Он больше не мог смотреть. Ему хотелось спрятать глаза.

А самое странное в этой кошмарной улице было то, что на ней не была сделана ни одна из миллиона выставленных здесь на продажу вещей. Они здесь только продавались. Где же эти мастерские, фабрики, эти фермеры, ремесленники, шахтеры, ткачи, химики, резчики, красильщики, конструкторы, станочники, где руки, где люди, которые делают? Скрыты от глаз, где-то в других местах. За стенами. Все эти люди во всех этих магазинах — либо покупатели, либо продавцы. Они не имеют к этим вещам никакого отношения, кроме отношения обладания.

Шевек узнал, что, раз у них уже есть его мерка, он может заказать все, что ему может понадобиться, по телефону, и решил больше никогда не возвращаться на эту кошмарную улицу.

Костюм и ботинки прислали через неделю. У себя в спальне Шевек надел их и встал перед большим зеркалом. Сшитая по фигуре длинная серая куртка, белая рубашка, черные штаны до колен, и чулки, и начищенные до блеска ботинки шли к его высокой, тонкой фигуре и узким ступням. Он осторожно дотронулся до одного ботинка. Ботинок был сделан из того же материала, что обивка кресел во второй комнате, материала, наощупь напоминавшего живую кожу; недавно он спросил кого-то, что это за материал, и ему ответили, что это — кожа живого существа, шкура животного, сафьян, как они ее называли. Он скривился от этого прикосновения, выпрямился и отвернулся от зеркала; но прежде успел заметить, что в этой одежде он еще больше, чем раньше, похож на свою мать, на Рулаг.

В середине осени между семестрами был большой перерыв. Большинство студентов разъехалось на каникулы по домам. Шевек с небольшой группой студентов и исследователей из Лаборатории Исследования Света отправился бродить по Мейтейским горам, потом вернулся и попросил немного машинного времени на большом компьютере, который в учебном году был все время занят. Но ему надоела работа, которая ни к чему не вела, и он работал не слишком усердно. Он спал больше обычного, гулял, читал и уверял себя, что все дело в том, что он сначала слишком спешил; нельзя же за несколько месяцев объять целый мир. Газоны и рощи Университета были прекрасны и взъерошены, пропитанный дождем ветер подбрасывал и носил под мягким серым небом горящие золотом листья. Шевек разыскал произведения великих иотийских поэтов и читал; теперь он понимал их, когда они говорили о цветах, о пролетающих птицах, об осенних красках леса. Это понимание доставляло ему огромное наслаждение. Приятно было в сумерки возвращаться в свою комнату, спокойная красота пропорций которой не переставала радовать его. Теперь он уже привык к этому изяществу и комфорту, они стали для него обыденным. Привычными стали и лица в столовой по вечерам, его коллеги, некоторые нравились ему больше, некоторые — меньше, но все теперь были ему знакомы. Привычной стала и пища — все ее разнообразие, и обилие, которые вначале так поражали его. Люди, подававшие еду, уже знали, что ему нужно, и обслуживали его так, как он бы сам обслуживал себя. Он все еще не ел мяса: он как-то попробовал его из вежливости и чтобы доказать себе, что у него нет неразумных предрассудков, но его желудок, у которого были свои резоны, недоступные разуму, взбунтовался. После нескольких неудачных опытов — почти катастроф — он отказался от этих попыток и остался вегетарианцем, но вегетарианцем с хорошим аппетитом. Ему очень нравились здешние обеды. С тех пор, как он прилетел на Уррас, он прибавил три-четыре кило; он сейчас очень хорошо выглядел, загорелый после своего похода в горы, отдохнувший за время каникул. Он выглядел очень впечатляюще, когда вставал из-за стола в огромном обеденном зале с высоким, затененным, ребристым потолком, с обшитыми панелями стенами, на которых висели портреты, со столами, на которых в пламени свечей сверкали

фарфор и серебро. Он поздоровался с кем-то за другим столом и прошел дальше со спокойно-отчужденным выражением лица. С другого конца зала его заметил Чифойлиск и пошел за ним, догнав его у дверей.

— Шевек, у вас есть несколько минут?

— Да. В моей комнате? — он уже привык к постоянному употреблению притяжательных местоимений и выговаривал их, не смущаясь.

Чифойлиск засмеялся:

— Может быть, в библиотеке? Вам по пути, а я хотел взять там книгу.

В темноте, пронизанной шорохом дождя, они отправились через двор в Библиотеку Благородной Науки — так в старину называли физику, и даже на Анарресе это название в некоторых случаях применялось. Чифойлиск раскрыл зонтик, а Шевек шел под дождем, как иотийцы гуляют на солнце — с удовольствием.

— Промокнете насквозь, — проворчал Чифойлиск. — У вас ведь грудь слабая, правда? Побереглись бы.

— Я очень хорошо себя чувствую, — сказал Шевек и улыбнулся, шагая под дождем. — Этот доктор от Правительства, вы знаете, он назначил мне какие-то процедуры, ингаляции. Это помогает: я не кашляю. Я просил доктора описать этот процесс и лекарства по радио Синдикату Инициативы в Аббенае. Он сделал это. Он сделал это с радостью. Это довольно просто; и, возможно, это облегчит много страданий от пыльного кашля. Почему, почему только теперь? Почему мы не работаем вместе, Чифойлиск?

Тувиец тихонько, сардонически крякнул. Они вошли в читальный зал библиотеки. Вдоль стен, под изящными двойными арками, в ярком свете безмятежно стояли книги; на длинных столах стояли лампы — простые алебастровые шары. Зал был пуст, но вслед за ними поспешно вошел служитель, чтобы разжечь дрова, приготовленные в мраморном камине, и, убедившись, что им больше ничего не нужно, ушел. Чифойлиск стоял перед камином, глядя, как пламя охватывает растопку. Его колючие брови нависли над маленькими глазками; грубое, смуглое, умное лицо казалось постаревшим.

— Шевек, я хочу наговорить вам неприятностей, — хрипло, как всегда, сказал он. — Я полагаю, ничего необычного в этом нет.

Такого смирения Шевек от него не ожидал.

— В чем дело?

— Я хочу знать, известно ли вам, что вы здесь делаете?

Помедлив, Шевек ответил:

— Я думаю, да.

— Значит, вы понимаете, что вас купили?

— Купили?

— Ну, если хотите, можете это назвать «кооптировали». Послушайте. Ни один человек, как бы он ни был умен, не может увидеть то, чего не умеет видеть. Как вы можете понять свое положение здесь, в капиталистической экономической системе, в плутократически-олигархическом государстве? Как вам увидеть это, вам, попавшему сюда с неба, из вашей маленькой коммуны голодающих идеалистов?

— Чифойлиск, уверяю вас, на Анарресе осталось мало идеалистов. Да, Первопоселенцы были идеалистами, решившись променять этот мир на наши пустыни. Но это было семь поколений назад! Наше общество практично. Может быть, слишком практично, слишком озабочено лишь тем, как выжить. Что идеалистического в социальном сотрудничестве, взаимопомощи, если это — единственное средство, чтобы выжить?

— Я не могу спорить с вами о ценности одонианства. Не то, чтобы я этого не хотел! Ведь я,

знаете ли, кое-что об этом знаю. Мы, на моей родине, куда ближе к нему, чем эти люди. Мы — продукт того же великого революционного движения восьмого века, мы, как и вы, социалисты.

— Но вы — архисты. Государство Ту еще более централизовано, чем АИо. Одна властная структура управляет всем — правительством, администрацией, армией, полицией, образованием, законами, торговлей, промышленностью. И у вас — денежная экономика.

— Денежная экономика, основанная на том принципе, что каждый трудящийся получает за свой труд такую плату, какой он заслуживает, — не от капиталистов, которым он вынужден служить, а от Государства, членом которого он является.

— Он сам устанавливает цену своего труда?

— Почему бы вам не приехать в Ту и не посмотреть, как функционирует настоящий социализм?

— Я знаю, как функционирует настоящий социализм, — сказал Шевек. — Я и вам мог бы рассказать; но позволит ли мне ваше правительство объяснять это в Ту?

Чифойлиск толкнул ногой полено, которое еще не занялось. Он не отрывал взгляда от огня; на лице у него была горечь, морщины между носом и углами рта стали еще глубже. Он не ответил на вопрос Шевека. Наконец, он сказал:

— Я не собираюсь морочить вам голову. Это бесполезно; и вообще, я не хочу этого делать. Вот какой у меня к вам вопрос: вы бы не согласились приехать в Ту?

— Не сейчас, Чифойлиск.

— Но чего вы можете здесь добиться?

— Закончить свою работу. И потом, здесь я — рядом с Советом Правительств Планеты…

— СПП? Да они уже тридцать лет пляшут под дудку А-Ио. Не рассчитывайте, что они вас спасут!

Наступило молчание.

— Так значит, я в опасности?

— А до вас даже и это не дошло?

Снова молчание.

— К кому относится это предостережение? — спросил Шевек.

— В первую очередь к Паэ.

— Ах, Паэ. — Шевек оперся ладонями об инкрустированную золотом, богато украшенную каминную полочку. — Паэ очень неплохой физик. И очень услужлив. Но я ему не доверяю.

— Почему?

— Ну… Он какой-то уклончивый.

— Да. Тонкая психологическая оценка. Но Паэ опасен для вас, Шевек, не потому, что он скользкий сам по себе. Он опасен для вас потому, что он — преданный и честолюбивый агент Иотийского Правительства. Он регулярно доносит на вас (и на меня) Департаменту Национальной Безопасности — тайной полиции. Видит Бог, я не склонен вас недооценивать, но как вы не понимаете, что ваша привычка подходить к каждому просто как к человеку, как к личности, здесь не годится, она здесь не срабатывает. Вы должны понимать, какие силы стоят за отдельными личностями.

Пока Чифойлиск говорил, поза Шевека становилась все более скованной; теперь он выпрямился, как Чифойлиск, глядя на огонь. Он спросил:

— Откуда вы знаете про Паэ?

— Оттуда же, откуда знаю, что в вашей комнате спрятан магнитофон, так же, как и в моей. Потому что знать это — моя обязанность.

— Вы тоже агент своего правительства?

Лицо Чифойлиска стало отчужденным; внезапно он повернулся к Шевеку и очень тихо, с

ненавистью, заговорил.

— Да, — сказал он, — конечно, я — агент своего правительства. Иначе меня бы здесь не было. Это знают все. Мое правительство посылает за рубеж только тех, кому может доверять… А мне они могут доверять! Потому что меня не купили, как этих проклятых богачей — иотийских профессоров. Я верю в мое правительство, в мою страну. Я доверяю им! — Он говорил с трудом, в его голосе была мука. — Пора бы вам уже оглянуться кругом, Шевек! Вы же — как дитя среди разбойников! Они к вам добры, они вам дали хорошую комнату, лекции, студентов, деньги, возили вас по замкам, по образцовым заводам, по симпатичным деревушкам. Все — самое лучшее. Все прелестно, все отлично! Но зачем? Зачем они привезли вас с Луны сюда, расхваливают вас, печатают ваши книги, держат вас в этих укромных и уютных аудиториях, лабораториях и библиотеках? Вы полагаете, что они это делают из научного бескорыстия, из братской любви? Это — экономика выгоды, Шевек!

— Я знаю. Я приехал, чтобы заключить с ними сделку.

— Сделку?… Но… какую? Что на что вы будете менять?

Лицо Шевека приняло то холодное и серьезное выражение, какое оно имело, когда он выходил из Форта Дрио.

— Вы знаете, что мне нужно, Чифойлиск. Я хочу, чтобы мой народ перестал быть изгнанником. Я приехал сюда потому, что не думаю, что вы, в Ту, хотите этого. Там, у вас, нас боятся. Вы боитесь, что с нами может возвратиться революция, та, старая, настоящая, революция во имя справедливости, которую вы начали, а потом остановились на полпути. Здесь, в А-Ио, меня боятся меньше, потому что они уже забыли революцию. Они больше не верят в нее, они думают, что если люди будут обладать достаточным количеством вещей, они будут согласны жить в тюрьме. Но я отказываюсь верить в это. Я хочу, чтобы стены рухнули. Мне нужна солидарность, людская солидарность. Мне нужен свободный взаимообмен между Уррасом и Анарресом. Я боролся за это, как мог, на Анарресе, теперь борюсь за это, как могу, на Уррасе. Там я действовал, здесь я заключаю сделку.

— Что же вы можете им предложить?

— Ну, вы же знаете, Чифойлиск, — тихо, застенчиво сказал Шевек. — Вы же знаете, чего они от меня хотят.

— Да, знаю, но я не знал, что и вы это знаете, — так же тихо ответил тувиец. Его хрипловатый голос перешел в еще более хриплый шепот — сплошные выдохи и свистящие согласные. — Значит, она у вас есть — Общая Теория Времени?

Шевек взглянул на него, пожалуй, не без иронии.

Чифойлиск настаивал:

— Вы ее записали?

Шевек с минуту продолжал смотреть на него, потом ответил прямо:

— Нет.

— Хорошо!

— Почему?

— Потому что, если бы она была записана, она уже была бы у них.

— Что вы хотите этим сказать?

— Только то, что сказал. Послушайте, ведь это Одо говорит, что где собственность, там и воровство?

— «Чтобы создать вора — создай владельца; чтобы создать преступность — создай законы». «Социальный организм».

— Правильно. Где есть бумаги, хранящиеся в запертых комнатах, там есть и люди с ключами к этим комнатам!

Шевека передернуло.

— Да, — сказал он, помолчав, — это очень неприятно.

— Для вас. Не для меня. У меня, знаете ли, нет этих ваших индивидуалистических моральных ограничений. Я знал, что вы не записали свою Теорию. Если бы я думал, что она записана, я приложил бы все усилия, чтобы получить ее от вас — уговорами, воровством, силой, если бы я считал, что мы сумеем похитить вас, не вызвав этим войну с А-Ио. Все, что угодно, лишь бы суметь вырвать ее из рук этих жирных иотийских капиталистов и отдать в руки Центрального Президиума моей страны.

Потому что дело, которому я служу, это мощь и безопасность моей родины, и выше этого нет и не может быть ничего.

— Вы врете, — миролюбиво ответил Шевек. — Я думаю, вы патриот, да. Но выше патриотизма вы ставите свое уважение к истине, к научной истине; и, быть может, еще и свою верность отдельным личностям. Вы бы не предали меня.

— Предал бы, если бы смог, — с яростью сказал Чифойлиск. Он начал было говорить что-то еще, замолчал и наконец зло и безнадежно сказал:

— Думайте, что хотите. Я не могу открыть вам глаза, если вы сам этого не делаете. Но помните — вы нам нужны. Если вы в конце концов разглядите, что здесь происходит, приезжайте в Ту. Не тех людей вы выбрали, чтобы сделать из них братьев! И если… я не имею права это говорить, но не важно. Если не хотите ехать к нам, в Ту, по крайней мере, не отдавайте свою Теорию иотийцам. Вообще ничего не давайте этим ростовщикам! Уезжайте. Возвращайтесь домой. Отдайте своему народу то, что можете отдать!

— Он в этом не нуждается, — лишенным выражения голосом ответил Шевек. — Вы думаете, я не пытался?

Четыре-пять дней спустя Шевек спросил о Чифойлиске, и ему сообщили, что он вернулся в Ту.

— Совсем? Он не сказал мне, что уезжает.

— Ни один тувиец не знает, когда его отзовет его Президиум, — сказал Паэ, потому что, разумеется, именно Паэ рассказал Шевеку об отъезде Чифойлиска. — Он просто знает, что, когда такой приказ придет, его надо быстренько выполнить. И не тратить время на всякие там прощания. Бедняга Чиф! Интересно, чем он провинился?

Раз или два в неделю Шевек навещал Атро в симпатичном домике на самом краю университетского городка, где тот жил с парой слуг, таких же старых, как он сам. Ему было почти восемьдесят лет, и он был, по его собственному выражению, памятником первоклассному физику. Хотя ему не пришлось, как Гвараб, столкнуться с тем, что труд всей его жизни остался непризнанным, с возрастом он частично обрел свойственное ей бескорыстие. Во всяком случае, его интерес к Шевеку был, по-видимому, чисто личным; это было отношение товарищества. Он был первым физиком-секвенциалистом, который принял подход Шевека к пониманию Времени. Он сражался — оружием Шевека — за теории Шевека, против прочно устоявшейся научной респектабельности, и эта битва продолжалась несколько лет, пока не были опубликованы еще не отшлифованные «Принципы Одновременности», что быстро привело к победе одновременистов. В жизни Атро это сражение было звездным часом. Не за истину он не стал бы сражаться, но сам процесс сражения был ему милее истины.

Атро знал свою родословную за тысячу сто лет, в ней были генералы, принцы, крупнейшие землевладельцы. У семьи Атро и сейчас было имение в семь тысяч акров и четырнадцать деревень в Провинции Сиэ, самом сельском регионе А-Ио. В его речи проскальзывали провинциальные обороты, архаизмы, которыми он гордился и от которых не желал отказываться. Богатство не производило на него ни малейшего впечатления, а правительство

своей родной страны, все целиком, он называл «сборищем демагогов и ползучих политиканов». Купить его уважение было невозможно. Но он, не скупясь, дарил его любому дураку с «приличным именем», как он выражался. В некоторых отношениях он был совершенно непонятен Шевеку: загадка; аристократ. И все же его неподдельное презрение и к деньгам, и к власти вызывало у Шевека чувство большей близости к нему, чем к кому бы то ни было из тех, с кем он сталкивался на Уррасе.

Однажды, когда они вместе сидели на застекленной веранде, где Атро разводил всевозможные редкостные и не подходящие к сезону цветы, Атро случайно употребил выражение «мы, тау-китяне». Шевек поймал его на слове:

— «Тау-китяне» — ведь это птичий термин?

«Птичьими» в разговорной речи называли популярную прессу, газеты, радиопередачи и литературу, выпускаемые для городских трудящихся.

— Птичий! — повторил Атро. — Мой дорогой, где вы, черт возьми, набираетесь этих вульгарных выражений? Под «тау-китянами» я подразумеваю именно то, что под этим словом понимают журналисты и их читающие по складам читатели. Уррас и Анаррес!

— Меня удивило, что вы употребили инопланетное слово, по существу, — не тау-китянское слово.

— Определение посредством исключения, — с веселым азартом парировал старик. — Сто лет назад мы не нуждались в этом слове. Нам было вполне достаточно слова «человечество». Но шестьдесят с чем-то лет назад все изменилось. Мне было семнадцать лет, это случилось ранним летом, день был отличный, солнечный, я прекрасно его помню. Я как раз вывел своего коня, а моя старшая сестра крикнула из окна: «По радио разговаривают с кем-то из Дальнего Космоса!». Моя бедная матушка решила, что все кончено: инопланетные дьяволы, знаете ли… Но оказалось, что это всего лишь хейниты, болтают о мире и братстве… Ну, в наше время понятие «человечество» стало немного слишком всеобъемлющим. Чем определить понятие «братство» или «не-братство»? Определение посредством исключения, милый мой! Вы и я — родичи. Несколько веков назад ваши предки, вероятно, пасли коз в горах, а мои угнетали крепостных в Сиэ; но мы — члены одной и той же семьи. Чтобы осознать это, достаточно увидеть чужака или услышать о нем. Существо из другой солнечной системы. Существо, которое называется человеком, но не имеет с нами ничего общего, кроме того, что у него тоже есть две руки, две ноги и голова, а в ней какой-то мозг!

— Но разве хейниты не доказали, что мы…

— Все происходим из иного мира, что мы все — потомки хейнских межзвездных колонистов, полмиллиона лет назад, или миллион, или два, или три миллиона, да, знаю. Доказали! Клянусь Первичным Числом, Шевек, вы рассуждаете, как первокурсник на семинаре! Как вы можете всерьез говорить об исторических доказательствах при таком огромном промежутке времени? Эти хейниты перебрасываются тысячелетиями, как мячиками, но это все — фокусы! Религия моих отцов не менее авторитетно сообщает мне, что я происхожу от некоего Пинра-Ода, которого Бог изгнал из Сада за то, что он имел наглость сосчитать у себя пальцы на руках и на ногах и тем самым выпустил во вселенную Время. Уж если выбирать, я предпочитаю эту историю утверждениям чужаков!

Шевек засмеялся; капризы Атро доставляли ему удовольствие. Но старик был серьезен. Он постучал пальцем по руке Шевека пониже локтя и, двигая бровями и жуя губами, как всегда, когда волновался, сказал:

— Надеюсь, мой дорогой, что вы относитесь к этому так же, как я, очень на это надеюсь. Я уверен, что ваше общество во многом достойно восхищения, но оно не учит вас видеть различия — а это, в конце концов, лучшее из всего, чему может научить цивилизация. Я не хочу,

чтобы эти чертовы чужаки зацапали вас при помощи этих ваших представлений о братстве и общности и тому подобного. Они вас утопят в разговорах об «общечеловеческом» и «лигах всех миров» и так далее, а мне было бы очень горько, если бы вы попались на эту удочку. Закон существования — борьба… конкуренция… устранение слабых… безжалостная война за выживание. И я хочу увидеть, что выживут лучшие. Тот вид людей, которых я знаю. Тау-китяне. Вы и я: Уррас и Анаррес. Сейчас мы впереди них, всех этих хейнитов и террийцев, и как они там еще себя называют, и мы должны оставаться впереди. Они дали нам межзвездный двигатель, но теперь мы делаем звездолеты лучше, чем они. И я всей душой надеюсь, что когда вы, наконец, решите опубликовать вашу теорию, вы подумаете о своем долге перед своим народом, перед своим родом. О том, что такое верность и кому она должна принадлежать.

На полуслепые глаза Атро навернулись легкие старческие слезы. Шевек успокаивающим жестом коснулся плеча старика, но ничего не сказал.

— Они, конечно, получат ее. В конце концов. И так и должно быть. Научную истину скрыть невозможно, солнца под камнем не спрячешь. Но прежде, чем они ее получат, я хочу, чтобы мы заняли место, принадлежащее нам по праву. Я хочу, чтобы нас уважали; и именно этого вы можете для нас добиться. Нуль-транспортировка… если бы мы овладели нуль-транспортировкой, их межзвездный двигатель не стоил бы и кучки бобов. Вы ведь знаете, мне нужны не деньги. Мне нужно, чтобы они признали превосходство тау-китянской науки, тау-китянского разума. Если уж суждено существовать межзвездной цивилизации, то, клянусь Богом, я не хочу, чтобы мой народ был в ней низшей кастой! Мы должны войти в нее, как аристократы, с великим даром в руках — вот как это должно быть… Ну, ну, я иногда горячусь из-за этого. Кстати, как подвигается ваша книга?

— Последнее время я занимался гравитационной гипотезой Скаска. У меня такое чувство, что ему не следовало ограничиваться применением только парциальных дифференциальных уравнений.

— Но и ваша последняя работа была о притяжении. Когда же вы собираетесь заняться главным?

— Вы ведь знаете, что для нас, одониан, средство — это цель, — легким тоном сказал Шевек. — И потому, я же не могу представить Теорию Времени, которая не учитывала бы силу притяжения, не так ли?

— Вы хотите сказать, что даете нам ее кусочками и отрывками? — подозрительно спросил Атро. — Это мне в голову не приходило. Надо будет, пожалуй, перечитать вашу последнюю статью. Некоторые места я там не очень понял. У меня последнее время ужасно устают глаза. По-моему, с этой штукой, которой я пользуюсь, чтобы читать, проектором-увеличителем, что-то не в порядке, слова на экране получаются какие-то расплывчатые.

Шевек посмотрел на старика виновато и с любовью, но больше не рассказывал ему о том, в каком состоянии его Теория.

Каждый день Шевек получал приглашения на приемы, посвящения, открытия и тому подобное. На некоторые он ходил, потому что прибыл на Уррас с поручением и должен был постараться его выполнить; он должен был распространять идею братства, он должен был в своем лице представлять Солидарность Двух Миров. Он выступал с речами, и люди слушали его и говорили: «Ах, как это верно!»

Его удивляло, почему правительство не препятствует его выступлениям. Должно быть, Чифойлиск в собственных целях преувеличил степень контроля и цензуры, которые они могут осуществлять. Его выступления были сплошной проповедью анархизма, а они его не останавливали. Но нужно ли им было его останавливать? Ему казалось, что он каждый раз выступает перед одними и теми же людьми: хорошо одетыми, сытыми, благовоспитанными,

улыбающимися. Или на Уррасе все люди такие?

— Людей объединяет страдание, — говорил Шевек, стоя перед ними, а они кивали и говорили: «Ах, как это верно!»

Он начал их ненавидеть и, когда понял это, перестал принимать их приглашения.

Но поступать так означало смириться с поражением и оказаться в еще большей изоляции. Он не выполняет того, зачем приехал сюда. И ведь не они сторонятся от него, — говорил он себе, — это он сам, как всегда, отдалился от них. Ему было одиноко, он задыхался от одиночества среди всех людей, которых видел каждый день. Беда была в том, что он не был ни с кем в контакте — у него было чувство, что за все эти месяцы он не соприкоснулся на Уррасе ни с кем, ни с чем.

Однажды вечером, в преподавательской комнате отдыха он сказал:

— Вы знаете, ведь я не знаю, как вы живете здесь, на Уррасе. Я вижу дома, где живут люди, но снаружи. А изнутри я знаю только вашу не-частную жизнь: залы заседаний, столовые, лаборатории…

На следующий день Оииэ довольно официальным тоном спросил Шевека, не согласится ли он в следующие выходные отобедать и переночевать у него дома.

Дом Оииэ находился в нескольких милях от Иеу-Эуна, в деревне Амоэно; по уррасским меркам это был скромный домик представителя среднего класса, может быть, более старый, чем другие. Он был построен около трехсот лет назад, из камня; стены в комнатах были обшиты деревянными панелями. В оконных рамах и дверных проемах были использованы характерные для иотийской архитектуры двойные арки. Мебели в комнатах было мало, и это сразу понравилось Шевеку. Комнаты выглядели строгими, просторными, незагроможденными, полы были натерты до ослепительн ого блеска. Ему всегда было не по себе в вычурно убранных и благоустроенных залах общественных зданий, где проходили приемы, посвящения и так далее. У уррасти был тонкий вкус, но часто он, казалось, вступал в противоречие с желанием похвастаться, со стремлением к сознательному расточительству. Естественный, эстетический источник желания владеть вещами был скрыт и искажен навязчивыми требованиями экономики и конкуренции, а это, в свою очередь, сказывалось на качестве вещей: удавалось достичь лишь безжизненной, чрезмерной пышности. Здесь, напротив, было изящество, достигнутое сдержанностью.

У двери слуга взял у них куртки; жена Оииэ вышла из расположенной в подвале кухни, где давала распоряжения повару, чтобы поздороваться с Шевеком.

Когда они перед обедом разговаривали, Шевек заметил, что почти все время обращается только к ней с удивившими его самого дружелюбием и желанием ей понравиться. Но так приятно было наконец поговорить с женщиной! Неудивительно, что у него здесь было чувство изолированности, искусственности существования среди мужчин, всегда одних лишь мужчин, без волнующего очарования, связанного с противоположным полом. А Сэва Оииэ была привлекательна: глядя на изящные, хрупкие очертания ее затылка и висков, он примирился с обычаем уррасских женщин брить голову. Она была сдержанна, даже несколько застенчива; он старался держаться так, чтобы она почувствовала себя с ним свободно, и очень обрадовался, когда это ему как будто начало удаваться.

Они сели обедать; за столом были и двое детей. Сэва Оииэ извинилась:

— Здесь теперь просто невозможно найти хорошую няню, — сказала она. Шевек согласился, хотя и не знал, что такое няня. Он смотрел на мальчиков с тем же облегчением, с той же радостью. С тех пор, как он покинул Анаррес, он почти не видел детей.

Это были очень чистенькие, тихие дети, в голубых бархатных курточках и коротких штанах. Они говорили только тогда, когда к ним обращались. На Шевека — существо из Космоса — они

смотрели с благоговейным страхом. Девятилетний обращался с семилетним очень строго, все время громким шепотом напоминал, чтобы тот не таращил глаза на гостя, а когда младший не слушался, яростно щипал его. В ответ малыш тоже щипался и норовил лягнуть его под столом. По-видимому, он еще не вполне усвоил Принцип Верховенства.

Дома Оииэ был совершенно другим человеком. С его лица исчезло выражение скрытности, и он говорил, не растягивая слова. Жена и дети держались с ним почтительно, но эта почтительность была взаимной. Шевеку были довольно хорошо известны взгляды Оииэ на женщин, и он был удивлен, увидев, как изысканно вежливо, даже деликатно, тот ведет себя с женой. «Это и есть рыцарство», — подумал Шевек, лишь недавно узнавший это слово; но вскоре он решил, что это — нечто лучшее, чем рыцарство. Оииэ любил свою жену и доверял ей. Он вел себя с ней и с сыновьями, в общем, так же, как вел бы себя анаррести. У себя дома он держался просто, по-братски, как свободный человек.

Шевеку казалось, что рамки этой свободы очень тесны, что эта семья очень мала; но и сам он чувствовал себя здесь настолько более свободно, так легко, что ему не хотелось критиковать.

Когда разговор на время прервался, младший мальчик тихим, чистым голоском сказал:

— У г-на Шевека не очень хорошие манеры.

— Почему? — спросил Шевек прежде, чем жена Оииэ успела оборвать малыша. — Что я сделал не так?

— Вы не сказали «спасибо».

— За что?

— Когда я вам передал блюдо с маринованными овощами.

— Ини! Замолчи сейчас же!

(«Садик! Не эгоизируй!» — интонация была точно такая же.)

— Я думал, что ты делишься ими со мной. Разве это был подарок? У меня на родине «спасибо» говорят только за подарки. Остальным мы делимся, не рассуждая об этом, понимаешь? Хочешь, я верну тебе эти овощи?

— Нет, я их не люблю, — сказал мальчик, глядя снизу вверх в лицо Шевека темными, очень ясными глазами.

— Поэтому делиться ими особенно легко, — сказал Шевек. Старший мальчик корчился от подавляемого желания ущипнуть Ини, но тот засмеялся, показав мелкие белые зубки. Позже, когда опять наступила пауза, он наклонился к Шевеку и тихо спросил:

— Хотите посмотреть мою выдру?

— Да.

— Она в саду за домом. Мама ее отправила в сад, потому что боялась, что она вам будет мешать. Некоторые взрослые не любят животных.

— Я люблю смотреть на них. На моей родине животных нет.

— Неужели нет? — спросил старший, изумленно раскрыв глаза. — Отец! Г-н Шевек говорит, что у них там нет никаких животных!

У Ини тоже сделались большие глаза.

— А что же у вас есть?

— Люди. Рыбы. Черви. И древесный холум.

— А что такое древесный холум?

Этот разговор длился еще полчаса. В первый раз Шевека на Уррасе попросили описать Анаррес. Расспрашивали дети, но родители с интересом слушали. Шевек старательно избегал этической модальности: он пришел в гости не для того, чтобы агитировать детей хозяина дома. Он просто рассказывал им, как выглядит Пыль, как выглядит Аббенай, как на Анарресе одеваются, что люди делают, когда им нужна новая одежда, чем занимаются дети в школах.

Ответ на этот вопрос вопреки намерениям Шевека оказался пропагандой: Ини и Аэви пришли в восторг от учебной программы, в которую входили сельское хозяйство, плотницкое дело, регенерация сточных вод, типографское дело, сантехника, дорожно-ремонтные работы, курс драматургии и все другие «взрослые» специальности, необходимые в общине, и от его признания, что никого никогда ни за что не наказывают.

— Хотя иногда, — сказал он, — тебя могут заставить на некоторое время уйти и побыть в одиночестве.

— Но что же, — сказал Оииэ внезапно, словно он давно держал в себе этот вопрос, а теперь он у него вырвался, как под давлением, — что же заставляет людей поддерживать порядок? Почему они не грабят и не убивают друг друга?

— Никто ничем не владеет, поэтому и грабить некого. Если кому-то нужна какая-то вещь, он берет ее из распределителя. Что же до убийств… ну, не знаю, Оииэ; при обычных обстоятельствах вы бы стали меня убивать? А если бы вам этого все-таки захотелось, остановил бы вас закон, запрещающий убийства? Принуждение — наименее эффективный способ поддержания порядка.

— Ну, ладно, а как вы добиваетесь, чтобы люди выполняли грязную работу?

— Какую грязную работу? — спросила жена Оииэ, потерявшая нить разговора.

— Собирать мусор, копать могилы, — ответил Оииэ; Шевек добавил:

— Добывать ртуть, — и чуть не сказал: — Перерабатывать дерьмо, — но вспомнил об иотийском табу на скатологические выражения. Еще в самом начале своего пребывания на Уррасе он подумал, что уррасти живут среди гор экскрементов, но никогда не произносят слова «дерьмо».

— Ну, мы все выполняем такие работы. Но никому не приходится выполнять их особенно долго, разве что кому-то эта работа нравится. Каждую декаду комитет управления общиной, или квартальный комитет, или любой, кому он понадобится, может попросить его один день участвовать в такой работе; составляются списки очередности. Есть еще назначения на неприятную работу, или на опасную, как ртутные рудники или дробилки, в норме они не превышают полугода.

— Но тогда, значит, весь персонал состоит из неопытных работников?

— Да. Производительность низкая; но что же еще можно сделать? Нельзя же велеть человеку выполнять работу, от которой он за несколько лет станет инвалидом или умрет. Зачем ему это?

— Он может отказаться выполнять этот приказ?

— Это не приказ, Оииэ. Он приходит в РРС — управление распределения рабочей силы — и говорит: я хочу делать то-то и то-то; что у вас есть? И они ему говорят, где есть такая работа.

— Но тогда почему люди вообще делают грязную работу? Почему они соглашаются на это хотя бы даже раз в десять дней?

— Потому что такую работу делают вместе… И по другим причинам. Вы знаете, на Анарресе жизнь не такая богатая, как здесь. В маленьких общинах развлечений немного, а несделанной работы — уйма. Поэтому, если человек большей частью работает на ткацком станке, то каждый десятый день ему приятно выйти на воздух и проложить трубу или вспахать поле, каждый раз с другой группой людей… И потом — дух соревнования. Здесь вы считаете, что стимулом к работе являются финансы, нужда в деньгах или стремление разбогатеть; но там, где нет денег, возможно, яснее видны истинные мотивы. Люди любят делать дело, и делать его хорошо. Люди берутся за опасные, тяжелые работы, потому что они гордятся тем, что делают их, потому что тогда они могут… мы это называем «эгоизировать»… — хвастаться? — перед более слабым. «Ну, вы, мелкота, глядите, какой я сильный!» — Знаете? Человек любит делать то, что у

него хорошо получается… Но по существу это вопрос цели и средств. В конце концов, работу делают ради самой работы. Это — единственная радость, которая никогда не кончается. Личное сознание это знает. И общественное сознание, мнение соседей, тоже. На Анарресе нет других наград, нет другого закона. Только твое собственное удовольствие и уважение твоих соседей. И все. В таких условиях человек понимает, что мнение соседей становится очень мощной силой.

— И никто никогда не пренебрегает им?

— Может быть, недостаточно часто, — сказал Шевек.

— Значит, все так напряженно работают? — спросила жена Оииэ. — А если кто-нибудь не хочет, что с ним делают?

— Ну, он переезжает в другое место. Понимаете, другим он просто надоедает. Над ним смеются; или начинают с ним грубо обращаться, могут избить; в маленькой общине могут сговориться и вычеркнуть его из обеденных списков, и тогда ему приходится самому готовить себе и есть в одиночестве, а это унизительно. Поэтому он переезжает и какое-то время живет в другом месте; а потом, возможно, он опять куда-нибудь переезжает. Некоторые живут так всю жизнь. Их называют «нучниби». Я тоже вроде нучниба. Я здесь уклоняюсь от назначенной мне работы. Я забрался дальше других. — Шевек говорил спокойно; если в его тоне и слышалась горечь, то детям она была незаметна, а взрослым — непонятна. Но после его слов наступило короткое молчание.

— Я не знаю, кто делает грязную работу здесь, — сказал он. — Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь ее делал — это странно. Кто ее делает? И почему? Им больше платят?

— За опасную работу — иногда больше. Просто за черную работу — нет. Меньше.

— Так зачем же они ее делают?

— Потому что лучше получать маленькую зарплату, чем совсем никакой не получать, — сказал Оииэ, и в его голосе горечь слышалась отчетливо. Его жена нервно и торопливо заговорила, пытаясь сменить тему, но он продолжал:

— Мой дед был уборщиком. Пятьдесят лет мыл полы и менял грязные простыни в гостинице. По десять часов в день, по шесть дней в неделю. Он делал это для того, чтобы прокормить себя и свою семью. — Оииэ внезапно замолчал и посмотрел на Шевека своим прежним, скрытным, недоверчивым взглядом — и на жену — почти вызывающе. Не поднимая на него глаз, она улыбнулась и сказала нервным, детским тоном:

— Отец Демаэре был очень преуспевающим дельцом. Он умер владельцем четырех компаний. — Улыбка у нее была страдальческая, и она крепко стиснула узкие смуглые руки.

— Я думаю, на Анарресе нет преуспевающих дельцов, — с неуклюжим сарказмом сказал Оииэ; тут вошел повар, чтобы поменять тарелки, и он сразу замолчал. Малыш Ини, словно понимая, что при слуге серьезный разговор не возобновится, сказал:

— Мама, можно г-ну Шевеку после обеда посмотреть мою выдру?

Когда они вернулись в гостиную, Ини позволили принести свою любимицу — почти взрослую земляную выдру, распространенное на Уррасе животное. Оииэ объяснил, что их одомашнили еще в доисторическую эпоху, вначале — чтобы они отыскивали рыбу, потом — как друзей. У зверька были короткие ноги, гибкая, выгнутая спина, блестящий темно-коричневый мех. Эта выдра была первым не запертым в клетку животным, которое Шевек увидел вблизи, и она отнеслась к Шевеку с меньшей опаской, чем он к ней. Белые, острые зубы очень впечатляли. По настоянию Ини он осторожно протянул руку и погладил зверька. Выдра села столбиком и посмотрела на него. Глаза у нее были темные, отливавшие золотом, умные, любопытные, невинные.

— Аммар, — прошептал Шевек, плененный этим взглядом, устремленным через пропасть бытия, — брат.

Выдра заурчала, опустилась на все четыре лапы и с интересом обследовала ботинки Шевека.

— Вы ей понравились, — сказал Ини.

— И она мне понравилась, — ответил Шевек с легкой грустью. Всякий раз, как он видел какое-нибудь животное, полет птиц, великолепие осенней листвы, в нем вспыхивала эта грусть, окрашивая радость острой болью. В такие минуты у него не было сознательных мыслей о Таквер, он не думал о ее отсутствии. Скорее было ощущение, что она здесь, хотя он не думает о ней. Словно во всей красоте и непривычности зверей и растений Урраса скрывалось некое послание к нему от Таквер, которая их никогда не увидит, предкам которой до седьмого колена ни разу не довелось коснуться теплого меха зверя, увидеть промельк крыла в тени деревьев.

Он провел ночь в спальне под самой крышей. В комнате было холодно (и это было приятно после комнат в Университете, где всегда было слишком натоплено); обставлена она была очень просто: кровать, книжные шкафы, комод, стул и крашеный деревянный стол. «Как дома», — подумал Шевек, не обращая внимания на высоту кровати и мягкость матраца, на одеяла из тонкой шерсти и шелковые простыни, на безделушки из слоновой кости, стоявшие на комоде, на кожаные переплеты книг и на тот факт, что и сама комната, и дом, в котором она находится, и земля, на которой стоит дом, являются частной собственностью Демаэре Оииэ, хотя не он построил этот дом и не он моет в нем полы… Шевек прогнал эти скучные мысли. Комната была симпатичная и, в сущности, не так уж сильно отличалась от отдельной комнаты в любом бараке.

В этой комнате ему приснилась Таквер. Ему снилось, что она — рядом с ним в этой постели, ее тело прижимается к его телу… но где они, в какой они комнате? Что это за комната? Оказалось, что они вместе на Луне, там холодно, и они идут по ней вместе. Луна оказалась совсем плоской и сплошь засыпанной голубовато-белым снегом, но слой снега был тонкий, и его легко было отбросить ногой и увидеть светящуюся белую лунную поверхность. Она была мертвая, это было мертвое место.

— По правде она не такая, — сказал он Таквер, потому что знал, что ей страшно. Они шли к какой-то далекой черте, казавшейся тонкой и прозрачной, как пластик, к далекой, едва видной преграде, тянувшейся поперек белой заснеженной равнины. В глубине души Шевек боялся подойти к ней, но сказал Таквер:

— Мы уже скоро дойдем.

Она ничего не ответила.

Глава шестая. АНАРРЕС

Когда Шевека выписали из больницы, где он провел декаду, навестить его зашел сосед из 45-ой комнаты, математик. Он был очень высокий и худой. Один глаз у него косил — вовремя не провели коррекцию — и поэтому невозможно было понять, действительно ли он смотрит на тебя, а ты — на него. Он и Шевек уже год мирно сосуществовали в бараке Института, ни разу не обменявшись целой фразой.

Теперь Десар вошел и внимательно посмотрел на Шевека (или мимо него).

— Как? — спросил он.

— Спасибо, отлично.

— Может, обед сюда?

— С твоим? — спросил Шевек, невольно переняв телеграфный стиль Десара.

— Ладно.

Десар принес из институтской столовой поднос с двумя обедами, и они вместе поели в комнате Шевека. Три дня, пока Шевек не окреп настолько, что смог выходить из дома, Десар по утрам и по вечерам носил из столовой еду. Почему Десар делал это, понять было трудно. Он не был общителен, и перспективы братства для него, по-видимому, значили мало. Одной из причин, по которым он сторонился людей, было стремление скрыть свою нечестность: он был либо ужасающим лентяем, либо откровенным собственником, потому что 45-я комната была забита вещами, держать которые у себя он не имел ни права, ни основания: там были тарелки из столовой, библиотечные книги, набор инструментов для резьбы по дереву со склада, снабжающего инструментом и материалом ремесленников, микроскоп из какой-то лаборатории, восемь разных одеял, полный стенной шкаф одежды, часть которой явно была велика Десару не только сейчас, но и всегда, а остальную он, по-видимому, носил, когда ему было лет десять. Похоже было, что он ходит по распределителям и берет вещи охапками — и нужные, и ненужные.

— Зачем ты держишь у себя весь этот хлам? — спросил Шевек, когда Десар в первый раз пустил его в свою комнату. Десар задумчиво уставился куда-то между Шевеком и стеной и рассеянно ответил:

— Накапливается.

Избранная Десаром область математики была до такой степени сложна, что никто в ни в Институте, ни в Математической Федерации не мог толком следить за его работой. Именно поэтому он ее и выбрал. Он был уверен, что Шевек руководствовался теми же мотивами.

— Да ну, к черту, — говорил он, — работа? Место здесь хорошее. Последовательность, Одновременность — фигня.

Порой Десар нравился Шевеку, порой те же самые качества вызывали у Шевека отвращение. Однако, он намеренно не отдалялся от Десара — это было частью его решения изменить образ жизни.

Болезнь заставила его понять, что если он и дальше будет пытаться жить в одиночестве, то вообще не выдержит. Он рассматривал это в нравственном аспекте и безжалостно судил себя. До сих пор он хранил себя для себя, вопреки этическому императиву братства. Шевек в двадцать один год не был ханжой в строгом смысле слова, пот ому что его нравственность была страстной и решительной; но она все еще была лишена гибкости — упрощенное одонианство, преподанное детям взрослыми посредственностями, проповедь, ставшая частью его внутреннего мира.

До сих пор он поступал неправильно. Теперь он должен поступать правильно. Так он и сделал.

Он запретил себе заниматься физикой пять вечеров из десяти. Он добровольно вызвался работать в комиссиях по управлению институтскими бараками. Он стал ходить на собрания Физической Федерации и Синдиката Членов Института. Он вступил в группу, занимавшуюся упражнениями по биологической обратной связи и тренировкой биотоков мозга. В столовой он заставлял себя садиться за большие столы, а не сидеть за маленьким столом, загородившись книгой.

Удивительно: люди, казалось, давно ждали его. Они принимали его в свою компанию, радовались ему, приглашали делить с ними постель и досуг. Они всюду водили его с собой, и за три декады он узнал об Аббенае больше, чем за весь предыдущий год. Он ходил с компаниями жизнерадостной молодежи на стадионы, в ремесленные центры, в бассейны, в музеи, в театры, на фестивали, на концерты.

Концерты: они были откровением, потрясающей радостью.

Здесь, в Аббенае, он до сих пор не бывал на концертах, отчасти потому, что считал музыку не столько тем, что слушают, сколько тем, что исполняют. Ребенком он всегда пел или играл на каком-нибудь инструменте в местных хорах и ансамблях; это доставляло ему удовольствие, но способности у него были небольшие. И это было все, что он знал о музыке.

В учебных центрах преподавались все технические навыки, необходимые для того, чтобы заниматься искусствами: там обучали пению, ритмике, танцам, учили владеть кистью, резцом, ножом, работать на токарном станке и так далее. Все это был чистый прагматизм: детей обучали видеть, слышать, двигаться, обращаться с тем или иным инструментом. Между искусствами и ремеслами не делали никаких различий; искусство считалось не самостоятельным явлением, занимающим в жизни собственное мнение, а одним из основных жизненных навыков, как речь. Поэтому архитектура возникла рано и развивалась свободно, стиль ее соответствовал этой точке зрения, он был чист и строг, пропорции изящны. Живопись и скульптура использовались в основном как архитектурные элементы и при планировке городов. Что касается словесности, то поэзия и искусство повествования занимали скорее подчиненное положение, были связаны в основном с песней и танцем; лишь театральное искусство не имело себе равных, и только театр порой называли «Искусством», считая его совершенно самостоятельным. Всюду было множество местных и гастролирующих трупп актеров и танцовщиков, репертуарных трупп, очень часто — с собственным драматургом. Они играли трагедии, полуимпровизированные комедии, пантомимы. В затерявшихся в пустыне городках им радовались, как дождю, каждый их приезд был ярчайшим событием года. Возникнув из изолированности и общинности анарресского духа и воплощая его, драматургия достигла необычайной силы и блеска.

Однако, Шевек не очень воспринимал театр. Ему нравилась пышность речей, но сама идея актерской игры была ему совершенно чужда. Только прожив в Аббенае больше года, он нашел, наконец, свое Искусство: искусство, сделанное из времени. Кто-то повел его на концерт в Синдикат Музыки. На следующий вечер он вернулся туда. Он стал ходить на каждый концерт, если была возможность — со своими новыми знакомыми, если нет — то и без них. Музыка была более насущной потребностью, она давала более глубокое удовлетворение, с ней он не чувствовал себя одиноким.

Его попытки вырваться из созданного им самим и ставшего частью его самого затворничества, в сущности, не удались, и он понимал это. Он не сумел найти себе близкого друга. Он совокуплялся со многими девушками, но совокупление не приносило ему той радости, какую должно было бы давать. Оно было просто удовлетворением потребности, как опорожнение кишечника, и потом ему становилось стыдно, потому что при этом другой человек служил для него объектом. Уж лучше мастурбация, самое подходящее для такого, как он. Ему

суждено одиночество, его наследственность держит его, словно капкан. Она сама сказала тогда: «Работа — главное». Рулаг тогда сказала это спокойно, констатируя факт, не в силах изменить его, вырваться из своей холодной камеры. Вот и у него то же самое. Его сердце рвется к ним, к этим юным, добрым людям, которые зовут его братом, но он не может достучаться до них, а они — до него. Он рожден для одиночества, проклятый холодный интеллектуал, эгоист.

Работа была для него главным; но она никуда не вела. Как секс, она должна была быть наслаждением, но не была им. Он потел все над теми же проблемами, но ни на шаг не приблизился к решению Парадокса Времени То, не говоря уже о Теории Одновременности — а ведь в прошлом году он думал, что она у него почти в руках. Сейчас эта самоуверенность казалась ему невероятной. Неужели он и вправду считал себя способным, в двадцать лет, разработать теорию, которая изменит основы космологической физики? Как видно, он еще задолго до высокой температуры был не в своем уме. Он записался в в две рабочие группы по философской математике, убеждая себя, что они ему необходимы, и не признаваясь себе, что мог бы вести оба курса не хуже своих преподавателей. Сабула он избегал, как мог.

В первом порыве новых решений он счел необходимым поближе познакомиться с Гвараб. Она отвечала ему тем же, насколько могла, но минувшая зима тяжело отразилась на ней; она превратилась в глубокую старуху, глухую, больную. Весной она набрала курс, а потом отказалась от него. Она вела себя странно, то еле узнавала Шевека, то тащила его к себе в барак и целый вечер разговаривала с ним. Он уже ушел немного вперед от идей Гвараб, и эти долгие разговоры давались ему нелегко. Ему приходилось либо часами скучать, без возражений выслушивая, как Гвараб повторяет то, что он уже знал или даже частично опроверг, либо пытался поправлять ее, а это ее обижало и запутывало. В его возрасте у людей не хватает для таких отношений ни терпения, ни такта, и в конце концов он начал по возможности избегать Гвараб, хотя каждый раз его мучила совесть.

Говорить о работе ему было больше не с кем. В Институте никто не разбирался в темпоральной физике настолько, чтобы следить за ходом его мысли. Ему хотелось бы научить их, но в Институте ему пока еще не дали ни преподавательской должности, ни классной комнаты; он подал заявку, но Синдикат Студентов — Членов факультета отказал ему. Никто не хотел ссориться с Сабулом.

К концу года он стал тратить много времени на писание писем Атро и другим уррасским физикам и математикам. Лишь немногие из этих писем он отправлял. Некоторые он писал, а потом просто рвал. Он обнаружил, что математик Лоай Ан, которому он послал шестистраничное рассуждение об обратимости времени, уже двадцать лет, как умер; в свое время он не удосужился прочесть биографическое предисловие к «Геометриям Времени» Ана. Другие письма, которые он пытался отправить с уррасскими грузовыми планетолетами, задержала администрация Аббенайского Космопорта. Космопорт находился под прямым контролем КПР, поскольку, чтобы он работал без сбоев, требовалась координация деятельности ряда синдикатов, и некоторые координаторы были обязаны знать иотийский язык. Эти администраторы Порта, с их специальными познаниями и важным положением, постепенно приобретали бюрократическую психологию: они автоматически говорили: «Нет!». Они относились с недоверием к этим письмам, адресованным математикам, потому что они были похожи на шифр, и никто не мог им поручиться, что это — не шифр. Письма к физикам пропускали, если их пропускал Сабул, их консультант. Если в письмах рассматривались проблемы, лежавшие вне пределов секвенциальной физики того сорта, который он признавал, он не пропускал их. Такие письма он отодвигал в сторону, бурча: «Не в моей компетенции». Шевек все равно посылал их администраторам Порта, и они возвращались с пометкой: «Для экспорта не одобрены».

Шевек поднял этот вопрос на заседании Федерации Физики, в которой Сабул бывал редко. Там никто не придавал значения проблемам свободного общения с идеологическим врагом. Некоторые из них отчитали Шевека за то, что он работает в такой сложной области, что, по его же собственному признанию, на его родной планете в ней больше никто не разбирается.

— Но она просто еще новая, — сказал он, но ничего этим не добился.

— Если она новая, то поделись ею с нами, а не с этими собственниками!

— Вот уже год, как я в начале каждого квартала пытаюсь организовать такой курс. А вы каждый раз отвечаете, что желающих слишком мало. Вы боитесь ее, потому что она новая?

Друзей это ему не прибавило. Он ушел от них разозленный.

Он продолжал писать письма на Уррас, даже когда вообще не отправлял их. Сам факт, что он пишет кому-то, кто может понять — мог бы понять — позволял ему писать, думать. Иначе это было невозможно.

Шли декады, кварталы. Два-три раза в год приходила награда: письмо от Атро или какого-нибудь физика из А-Ио или Ту. Это были длинные письма, убористо написанные, детально аргументированные, от приветствия до подписи — сплошная теория, сплошная страстная, загадочная, глубокая математикоэтико-космологическая физика — написанные на языке, которым он владел, людьми, которых он не знал, громившими его теории, врагами его родины, соперниками, незнакомцами, братьями.

Когда он получал письмо, его надолго охватывала веселая злость; он работал день и ночь, идеи били из него фонтаном. Потом фонтан медленно превращался в струйку, потом постепенно высыхала и струйка, и он, отчаянно сопротивляясь, медленно возвращался на землю, на иссохшую землю.

Подходил к концу третий год его работы в Институте, когда умерла Гвараб. Он попросил разрешения выступить на поминальном собрании, которое, по обычаю, проводилось на месте работы умершего. В данном случае это была одна из аудиторий в Физическом лабораторном корпусе. Кроме него не выступил никто. Студентов вообще не было: Гвараб уже два года не преподавала. Пришло несколько стариков — членов Института, с Северо-Востока приехал пожилой агрохимик — сын Гвараб. Шевек стоял там, где обычно стояла, читая лекцию, Гвараб. Голосом, охрипшим от зимнего бронхита, который стал для него обычным, он сказал этим людям, что Гвараб заложила основу Науки о Времени, и что она была величайшим космологом из всех, когда-либо работавших в Институте.

— Теперь у нас в физике есть своя Одо, — сказал он. — Она у нас есть, а мы ее не чтили.

Потом какая-то старуха со слезами на глазах благодарила его.

— Мы с ней всегда по десятым дням вместе дежурили, в квартале у нас убирались, так, бывало, хорошо между собой разговаривали, — говорила она, вздрагивая от ледяного ветра, когда они вышли на улицу. Агрохимик пробормотал что-то вежливо и побежал искать попутную машину обратно на Северо-Восток. В приступе ярости, горя, досады, ощущения, что все бессмысленно, Шевек пошел бродить по городу.

Он здесь уже три года, а чего добился? Все его достижения: книга, присвоенная Сабулом; пять-шесть неопубликованных работ; и надгробная речь над жизнью, прожитой зря.

Никто ничего не понимает в том, что он делает. Если сформулировать более честно, ничего из того, что он делает, не имеет смысла. Он не выполняет никакой необходимой функции — личной или общественной. По существу — это нередко случалось в его области науки — он выгорел к двадцати годам. Больше ему уже ничего не сделать. Он уперся в стену — раз и навсегда.

Шевек остановился перед концертным залом Синдиката Музыки посмотреть программы на декаду. В этот вечер концерта не было. Он отвернулся от афиши и лицом к лицу столкнулся с

Бедапом.

Бедап, всегда настороженный и к тому же близорукий, не подал вида, что узнает Шевека. Шевек поймал его за рукав.

— Шевек! Вот черт, неужели это ты? — Они обнялись, поцеловались, отодвинулись друг от друга, снова обнялись. Любовь нахлынула на Шевека, ошеломила его. Почему? Тогда, в последний год в Региональном Институте, Бедап ему не так уж и нравился. За эти три года они ни разу не написали друг другу. Их дружба была дружбой детства, она прошла. Тем не менее, любовь осталась: вспыхнула, как пламя из разворошенной золы.

Они шли, не замечая, куда идут, и разговаривали. Они размахивали руками и перебивали друг друга. Этим зимним вечером на широких улицах Аббеная было тихо. На каждом перекрестке под тусклым фонарем стояло серебряное озерцо света, по которому стайками крошечных рыбок, гоняясь за собственной тенью, носились снежинки. За снегом гнался ледяной ветер. Разговаривать стало трудно из-за онемевших губ и стучащих зубов. Они успели на последний, девятичасовой, омнибус до Института; барак Бедапа был далеко, на восточном краю города, идти туда по холоду было бы нелегко.

Бедап оглядел 46-ю комнату с ироническим изумлением.

— Шев, ты живешь, как паршивый уррасский спекулянт.

— Да брось ты, не так все страшно. Покажи мне здесь хоть какое-нибудь излишество!

Собственно говоря, в комнате почти ничего не прибавилось к тому, что в ней было, когда Шевек в первый раз вошел в нее. Бедап ткнул пальцем:

— Вот это одеяло.

— Оно здесь уже было, когда я вселился. Кто-то его сам соткал, а когда переехал — оставил здесь. Разве в такую ночь одеяло — излишество?

— Цвет у него — типичное излишество, — сказал Бедап. — Как специалист по функциональному анализу, я должен отметить, что оранжевый цвет — ненужный цвет. В социальном организме оранжевый цвет не выполняет никаких жизненно-важных функций ни на клеточном уровне, ни на органном, и уж точно — не на уровне всего организма или на наиболее центральном этическом уровне; а в этом случае следует выбрать не терпимость, а устранение. Покрась его в грязно-зеленый цвет, брат!.. А это еще что такое?

— Заметки.

— Шифрованные? — спросил Бедап, перелистывая одну из тетрадей с хладнокровием, которое, насколько помнил Шевек — личного владения — у него было даже меньше, чем у большинства анаррести. У Бедапа никогда не было любимого карандаша, который он бы всюду таскал с собой, или старой рубашки, которую он бы любил и жалел бросить в регенерационный контейнер; а если ему что-нибудь дарили, он старался сохранить это из уважения к чувствам подарившего, но каждый раз терял. Он знал эту свою черту; по его словам, это доказывало, что он менее примитивен, чем большинство людей, и являет собой ранний пример Человека Обетованного, истинного и прирожденного одонианина. Но все же для него существовала граница личного. Она проходила по черепу — его ли собственному или чужому — и была нерушима. Он никогда не лез в чужие дела. Теперь он сказал:

— Помнишь, как, когда ты был на проекте «Лес», мы писали друг другу кодом дурацкие письма?

— Это не код, это по-иотийски.

— Ты выучил иотийский? Почему ты на нем пишешь?

— Потому что на этой планете никто не может понять, что я говорю. И не хочет. Единственный человек, способный на это, умер три дня назад.

— Что, Сабул помер?

— Нет, Гвараб. Сабул-то жив. Помрет он, дожидайся!

— А в чем дело?

— В чем дело с Сабулом? Наполовину в зависти, наполовину в неспособности понять.

— А я думал, его книга о причинности считается первоклассной. Ты сам говорил.

— Я так считал, пока не прочел первоисточники. Это все — идеи уррасти. Притом не новые. У него своих идей уже лет двадцать как нет. И в бане он не был столько же.

— А с твоими идеями как дела? — спросил Бедап, положив руку на тетради Шевека и глядя на него исподлобья. У Бедапа были маленькие, довольно подслеповатые глазки, резкие черты лица, плотное, кряжистое туловище. Он вечно грыз ногти, и с годами они у него превратились просто в полоски поперек толстых, чувствительных кончиков пальцев.

— Плохо, — сказал Шевек, садясь на спальный помост. — Не тем я занимаюсь.

Бедап усмехнулся:

— Ты-то?

— Наверно, я в конце этого квартала попрошу другое назначение.

— Какое?

— А мне все равно. Учителем, инженером. Я должен уйти из физики.

Бедап сел к письменному столу, погрыз ноготь и сказал:

— Это звучит странно.

— Я понял предел своих возможностей.

— А я и не знал, что он у тебя есть. Я имею в виду, в физике. Так-то у тебя были всевозможные недостатки, ко многому у тебя были очень небольшие способности. Но не к физике. Конечно, я не темпоралист. Но не обязательно уметь плавать, чтобы узнать в рыбе рыбу, и не обязательно самому светить, чтобы узнать в звезде звезду…

Шевек посмотрел на друга, и у него вырвались слова, которые он до сих пор не мог четко сказать самому себе:

— Я думал о самоубийстве. Много. В этом году. По-моему, это — лучший выход.

— Вряд ли через этот выход можно попасть на другую сторону страдания.

Шевек с усилием улыбнулся.

— Ты это помнишь?

— Очень ярко. Для меня этот разговор имел очень большое значение. И для Таквер и Тирина, я думаю, тоже.

— Ну да? — Шевек встал. В этой комнате от стены до стены было всего четыре шага, но он не мог устоять на месте.

— Тогда это и для меня имело большое значение, — сказал он, стоя у окна. — Но здесь я изменился. Здесь что-то не так. А что — не знаю.

— А я знаю, — сказал Бедап. — Это стена. Ты уперся в стену.

Шевек обернулся и испуганно посмотрел на него.

— Стена?

— В твоем случае эта стена, по-видимому, — Сабул и те, кто его поддерживают в научных синдикатах и в КПР. Что до меня, то я провел в Аббенае четыре декады. Сорок дней. Достаточно, чтобы понять, что здесь я и за сорок лет не добьюсь ничего, абсолютно ничего из того, чего хочу добиться — улучшения преподавания наук в учебных центрах. Если только здесь не произойдет изменений. Или если я не присоединюсь к врагам.

— К врагам?

— К маленьким человечкам. К друзьям Сабула! К тем, кто у власти.

— Что ты несешь, Дап? У нас нет никаких властных структур.

— Нет? А что дает Сабулу такую силу?

— Не властная структура, не правительство — здесь же не Уррас, в конце-то концов!

— Да. Ладно, у нас нет правительства, нет законов. Но, насколько я понимаю, законам и правительствам никогда не удавалось управлять идеями, даже на Уррасе. Как бы иначе смогла Одо разработать свои идеи? Как смогло бы одонианство стать всемирным движением? Архисты пытались затоптать его, но у них ничего не получилось. Идеи нельзя уничтожить, подавляя их. Их можно уничтожить, только отказываясь замечать их. Отказываясь думать… отказываясь изменяться. А наше общество поступает именно так! Сабул использует тебя, где только может, а где не может — не дает тебе публиковаться, преподавать, даже работать. Правильно? Иными словами, он имеет над тобой власть. Откуда она у него взялась? Это не официальная власть — такой не существует. Это не интеллектуальное превосходство — он им не обладает. Он черпает ее во врожденной трусости, заложенной в сознание среднего человека. Вот та властная структура, частью которой он является, и которой он умеет пользоваться. Правительство, в существовании которого никто не признается, признать существование которого было бы недопустимо, и которое правит одонианским обществом благодаря тому, что душит индивидуальный разум.

Шевек оперся ладонями о подоконник и сквозь тусклые отражения в стекле смотрел в темноту за окном. Наконец он сказал:

— С ума ты сошел, Дап, что ты несешь?

— Нет, брат, я в своем уме. С ума-то людей сводят как раз попытки жить вне реальности. Реальность ужасна. Она может убить человека. Со временем и убьет, непременно. Реальность — это боль, ты же сам говорил. Но с ума людей сводит ложь, бегство от реальности. Именно ложь порождает у человека желание покончить с собой…

Шевек резко обернулся к нему.

— Но ты же не можешь всерьез говорить о правительстве здесь, у нас!

— Томар, «Определения»: «Правительство: узаконенное использование власти для поддержания и расширения власти»… Замени «узаконенное» на «вошедшее в обычай» и получишь Сабула, и Синдикат преподавания, и КПР.

— КПР!

— КПР к настоящему моменту стало по своей сути архической бюрократией.

Через несколько секунд Шевек рассмеялся не вполне натуральным смехом и сказал:

— Да полно, Дап, это, конечно, забавно, но малость болезненно, не так ли?

— Шев, тебе никогда не приходило в голову, что то, что аналогическая модальность именует «болезнью», социальным недовольством, отчуждением, по аналогии можно назвать также и болью, тем, что ты подразумевал, когда говорил о боли, о страдании? И что, как и боль, это выполняет в организме свою функцию?

— Нет! — с силой сказал Шевек. — Я говорил в личном, в духовном аспекте.

— Но ты говорил о физическом страдании, о человеке, умиравшем от ожогов. А я говорю о духовном страдании! О людях, которые видят, как напрасно пропадает их талант, их работа, их жизнь. О том, как умные и талантливые подчиняются тупицам. О том, как зависть, жажда власти, страх перед переменами душат силу и мужество. Перемена есть свобода, перемена есть жизнь — существует ли что-нибудь более важное для одонианского мышления, чем это? Но ведь больше ничего и никогда не меняется! Наше общество больно. Ты это знаешь. Ты болен его болезнью. Его самоубийственной болезнью!

— Хватит, Дап. Брось.

Бедап больше ничего не сказал. Он начал методически, задумчиво грызть ноготь на большом пальце.

Шевек снова сел на спальный помост и уронил голову в ладони. Оба долго молчали. Снег

перестал. Сухой, темный ветер бился в окно. В комнате было холодно; оба юноши сидели в куртках.

— Вот смотри, брат, — сказал наконец Шевек. — Индивидуальное творчество подавляет не наше общество. Его подавляет бедность Анарреса. Эта планета не рассчитана на то, чтобы обеспечивать существование цивилизации. Если мы не станем помогать друг другу, если мы не будем отказываться от своих личных желаний ради общего блага, то ничто, ничто на этой бесплодной планете не сможет нас спасти. Наша единственная возможность выжить — людская солидарность.

— Солидарность, да! Даже на Уррасе, где еда с деревьев в рот падает, и то Одо говорила, что единственная наша надежда — людская солидарность. Но мы эту надежду предали. Мы позволили сотрудничеству превратиться в повиновение. На Уррасе правит меньшинство. Здесь, у нас, правит большинство. Но все равно это правительство! Социальное сознание перестало быть живым, оно превратилось в машину, в машину власти, управляемую бюрократами!

— Ты и я могли бы вызваться, и через несколько декад получить назначение в КПР. Разве это превратило бы нас в бюрократов, начальников?

— Шев, дело не в людях, которых назначают в КПР. Большинство из них похожи на нас. Даже слишком похожи на нас. Наивные, с добрыми намерениями; и это не только в КПР. Это — всюду, на всем Анарресе. В учебных центрах, в институтах, на рудниках, на консервных заводах, на рыбозаводах, на сельскохозяйственных и научно-исследовательских станциях, на фабриках, в узкопрофильных общинах — всюду, где функция требует умелой работы и стабильности. Но эта стабильность дает простор авторитарному импульсу. В первые годы Заселения мы помнили об этом и остерегались этого. Тогда люди умели очень тонко отличать управление работой от управления людьми. Они делали это так хорошо, что мы забыли, что в людях желание доминировать так же центрально, как импульс к взаимопомощи, что его надо тренировать в каждом человеке, в каждом новом поколении. Никто не рождается одонианином, как никто не рождается цивилизованным! Но мы об этом забыли. Мы больше не воспитываем людей для свободы. Воспитание, самый важный вид деятельности социального организма, стало негибким, нравоучительным, авторитарным. Ребятишек учат зазубривать и повторять, как попугаев, слова Одо, как будто бы это законы — предел кощунства!

Шевек замялся. Ему так часто приходилось испытывать на себе такое воспитание, о котором говорил Бедап, — и ребенком, и даже здесь, в Институте — что ему нечего было возразить Бедапу.

Бедап, почувствовав, что берет верх, настойчиво продолжал:

— Не думать самому всегда легче. Найти симпатичную надежную иерархию и пристроиться в нее. Ничего не менять — не рисковать, что тобой будут недовольны, не сердить своих синдиков. Всегда самое легкое — позволить править собой.

— Но это же не правительство, Дап! Любой бригадой или синдикатом управляют специалисты и опытные работники; они лучше всех знают свое дело. В конце концов, работу же надо выполнять! Что касается КПР — да, оно могло бы стать иерархией, властной структурой, если бы оно не было организовано так, чтобы воспрепятствовать именно этому. Посмотри, как оно построено! Добровольцы, которые выбираются по жребию; год обучения; потом четыре года работаешь; потом выбываешь. Никто бы не мог получить власть, в архическом смысле, при такой организации и всего за четыре года.

— Некоторые остаются больше, чем на четыре года.

— Советники? Но они не имеют права голоса.

— Не в праве голоса дело. Есть люди за кулисами.

— Ай, брось! Это уж чистая паранойя! За кулисами — каким образом? За какими

кулисами? Каждый может придти на любое заседание КПР, а если он — синдик, которого затрагивает рассматриваемый вопрос, то он может участвовать в прениях и голосовать! Ты что, хочешь мне внушить, что у нас здесь есть политики?

Шевек страшно разозлился на Бедапа; его торчащие уши ярко покраснели, он почти кричал. Было уже поздно, в бараках напротив не светилось ни одно окно. Десар из 45-ой комнаты постучал в стенку, чтобы не шумели.

— Я говорю то, что ты и сам знаешь, — сказал Бедап, очень понизив голос. — Что в действительности в КПР командуют такие, как Сабул, причем командуют из года в год.

— Если ты это знаешь, — хриплым шепотом обвинил его Шевек, — почему же ты не заявил об этом публично? Почему ты не созвал в своем Синдикате Критическое Заседание, если у тебя имелись факты? Если твои идеи не выдерживают публичного обсуждения, то я не желаю шептаться о них по ночам.

Глаза у Бедапа сделались совсем маленькими, как стальные бусинки.

— Брат, — сказал он, — ты самодовольный ханжа. И всегда таким был. Высунь ты раз в жизни голову из своей собственной паршивой чистой совести и оглянись вокруг! Я пришел к тебе и шепчусь, потому что знаю, что могу тебе доверять, черт бы тебя побрал! С кем я еще могу разговаривать? Что я, хочу кончить, как Тирин, что ли?

— Как Тирин? — Шевек был так поражен, что заговорил громко. Бедап показал ему на стенку, чтобы он был потише.

— А что такое с Тирином? Где он?

— В Приюте, на острове Сегвина.

— В Приюте?

Бедап, сидя боком на стуле, подтянул колени к подбородку и обхватил их руками. Теперь он говорил тихо, неохотно.

— Тирин через год после твоего отъезда написал пьесу и поставил ее. Она была смешная… чудная… ну, ты же знаешь его манеру. — Бедап взъерошил рукой свои жесткие рыжеватые волосы, так что косичка расплелась. — Дураку она могла бы показаться анти-одонианской. А дураков много. Поднялся шухер. Ему объявили порицание. Публичное порицание. Я раньше никогда этого не видел. Все приходят на собрание твоего синдиката и тебя отчитывают. Раньше это делали, чтобы осадить бригадира или администратора, если он слишком раскомандуется. А теперь это делается только для того, чтобы запретить человеку мыслить самостоятельно. Ох, и мерзко же это было. Тирин не выдержал. По-моему, у него от этого действительно крыша малость поехала. После этого он стал считать, что все — против него. Он стал слишком много разговаривать, и все с горечью. Не безрассудно, но всегда с горечью, всегда критически. И притом с кем угодно. Ну, вот, окончил он Институт, получил квалификацию преподавателя и попросил назначение. И получил. В дорожно-ремонтную бригаду на Южный Склон. Он это назначение опротестовал, как ошибочное, но РРСовские компьютеры повторно выдали то же самое. Так что он поехал.

— Сколько я с Тиром был знаком, он на открытом воздухе никогда не работал, — перебил Шевек. — С десятилетнего возраста. Он всегда исхитрялся получать какую-нибудь канцелярскую работу. РРС поступило по справедливости.

Бедап его не слушал:

— Что уж там случилось, я точно не знаю. Он мне писал несколько раз, и каждый раз оказывалось, что его опять перевели. Каждый раз на физическую работу, в маленькие отдаленные общины. Потом он написал, что бросает работу по назначению и возвращается на Северный Склон, чтобы повидаться со мной. Но так и не приехал. И писать перестал. В конце концов я его разыскал через Аббенайскую Картотеку Рабочей Силы. Мне прислали копию его

карточки и последняя запись в ней была просто: «Терапия. Остров Сегвина». Терапия! Он что, убил кого-нибудь? Изнасиловал? А за что, кроме этого, отправляют в Приют?

— В Приют вообще не отправляют. Человек сам просит, чтобы его туда направили.

— Ты мне это дерьмо на уши не вешай, — с внезапной яростью сказал Бедап. — Не просился он туда! Они его сначала с ума свели, а потом туда отправили. Я про Тирина говорю, про Тирина, ты его вообще-то помнишь или нет?

— Я его еще раньше тебя знал. Что такое, по-твоему, Приют — тюрьма, что ли? Это — убежище. Если там есть убийцы и люди, постоянно бросающие работу, то потому, что они сами туда попросились, там на них ничто не давит, и возмездие им там не грозит. Но кто эти люди, о которых ты все время говоришь: «они»? «Они» его свели с ума, и так далее. Ты хочешь сказать, что вся наша социальная система плоха, что, в сущности, «они» — преследователи Тирина, твои враги — что «они» — это мы, наш социальный организм?

— Если ты можешь отмахнуться от Тирина, считая его отказчиком от работы, то мне с тобой, пожалуй, больше не о чем говорить, — ответил Бедап, скорчившийся на стуле. В его голосе слышалась такая неприкрытая и простая печаль, что праведный гнев Шевека мгновенно прошел.

Некоторое время оба молчали.

— Пойду-ка я лучше домой, — сказал Бедап, с трудом распрямил затекшие ноги и встал.

— Отсюда час ходу. Не валяй дурака.

— Да я подумал… Раз так…

— Не дури.

— Ладно. Где здесь сральня?

— Налево, третья дверь.

Вернувшись Бедап сказал, что ляжет на полу, но так как половика не было, а теплое одеяло было только одно, то Шевек, не утруждая себя поисками других слов, назвал эту идею дурацкой. Оба они были мрачны и раздражены; злы, как будто дрались, но не всю злость рассеяли этой дракой. Шевек раскатал матрац, и они легли. Когда лампу выключили, в комнату вошел серебристый мрак, полутьма городской ночи, когда на земле лежит снег, и свет слабо отражается от земли вверх. Было холодно. Каждый из двоих с радостью ощущал тепло тела соседа.

— Насчет одеяла — беру свои слова обратно.

— Слушай, Дап, я не хотел…

— Ох, давай поговорим об этом утром.

— Ладно.

Они придвинулись друг к другу поближе. Шевек повернулся лицом вниз и не прошло и двух минут, как заснул. Бедап пытался бороться со сном, но все глубже проваливался в тепло, в беззащитность, в доверчивость сна и уснул. Ночью один из них громко вскрикнул во сне. Второй сонно положил на него руку, бормоча что-то успокоительное, и слепая теплая тяжесть его прикосновения пересилила всякий страх.

На следующий вечер они опять встретились и обсудили, не стоит ли им на время стать партнерами, как раньше, когда они были подростками. Обсудить это было необходимо, так как Шевек был определенно гетеросексуален, а Бедап — определенно гомосексуален; удовольствие от этого получил бы главным образом Бедап. Однако, Шевек совершенно не возражал против того, чтобы возобновить старую дружбу; и когда он понял, что для Бедапа очень много значит его сексуальный компонент, что в нем состоит для Бедапа истинный смысл дружбы, он взял инициативу на себя и с изрядной чуткостью и настойчивостью добился, чтобы Бедап опять провел с ним ночь. Они заняли свободную отдельную комнату в одном из бараков в центре

города, и оба прожили там около декады; потом они снова разделились, Бедап отправился в свое общежитие, а Шевек — в 46-ю комнату. Ни у того, ни у другого сексуальное желание не было настолько сильным, чтобы эти отношения затянулись. Они просто подтвердили прежнее доверие друг к другу.

И однако, Шевек, который по-прежнему виделся с Бедапом почти ежедневно, порой не мог понять, что именно ему нравится в друге, почему он доверяет ему. Теперешние взгляды Бедапа он находил отвратительными, а его упорное стремление обсуждать их — утомительным. Почти каждый раз, как они встречались, они начинали яростно спорить. Они довольно сильно обижали друг друга. Расставаясь с Бедапом, Шевек часто обвинял себя в том, что просто цепляется за дружбу, которую уже перерос, и сердито клялся себе больше не видеться с Бедапом.

Но дело было в том, что взрослый Бедап нравился ему больше, чем мальчик. Да, Бедап мог быть упрямым, нелепым, догматичным, ниспровергать основы; но он достиг такой свободы мышления, какой так страстно жаждал Шевек, хотя ее выражение было ему отвратительно. Бедап изменил жизнь Шевека, и Шевек понимал это, понимал, что теперь он наконец стал двигаться вперед, и что это сделал возможным именно Бедап. На каждом шагу этого пути он воевал с Бедапом, но продолжал приходить, чтобы спорить, чтобы причинять боль, и чтобы ему самому причиняли боль, чтобы за гневом, отрицанием и неприятием находить то, чего искал. Он не знал, чего ищет. Но знал, где искать.

В этот период он чувствовал себя таким же несчастным, как и в предыдущие годы. Работа у него по-прежнему не ладилась: в сущности, он вообще забросил темпоральную физику и вернулся к скромной лабораторной работе, ставил в радиационной лаборатории разные опыты, в которых ему помогал умелый, молчаливый лаборант, изучая субатомные скорости. Это была хорошо область, и его обращение к ней его коллеги восприняли, как признание в том, что он наконец перестал оригинальничать. Синдикат членов Института дал ему вести курс математической физики для поступающих студентов. Он не ощущал никакого торжества от того, что наконец получил курс, так как этот курс ему именно дали, разрешили его вести. Ничто его не радовало, не утешало. То, что стены его жесткого пуританского сознания раздвинулись на такое огромное расстояние, было для него чем угодно, только не утешением. У него было такое чувство, что он заблудился и замерзает. Но ему было некуда пойти, негде укрыться, поэтому он уходил все дальше на мороз, все больше сбивался с дороги.

У Бедапа было много друзей, сумасбродных и недовольных существующим положением дел, и некоторым из них был симпатичен этот застенчивый парень. Он чувствовал к ним не больше близости, чем к своим институтским знакомым — людям более обыкновенным, — но находил более интересной свойственную им независимость ума. Они сохраняли самостоятельность сознания даже ценой того, что становились эксцентричными. Некоторые из них были интеллектуальные нучниби и уже много лет не работали по назначению. Шевек их решительно не одобрял — когда был не с ними.

Один из них, по имени Салас, был композитором. И ему, и Шевеку хотелось учиться друг у друга. Салас почти не знал математики, но, когда Шевеку удавалось объяснять физику в аналитической или эмпирической модальности, он слушал жадно и понятливо. Точно так же и Шевек слушал все, что Салас мог рассказать ему о теории музыки, и все, что Салас мог проиграть для него на пленке или исполнить на своем инструменте — портативном органе. Но кое-что из того, что рассказывал Салас, не давало ему покоя. Салас принял назначение в бригаду, копавшую канал на Равнинах Темаэ, восточнее Аббеная. Каждую декаду он на три своих выходных приезжал в город и останавливался у какой-нибудь девушки. Сначала Шевек думал, что Салас взял это назначение, потому что хотел для разнообразия физически поработать на свежем воздухе, но потом узнал, что Саласа ни разу не назначали на работу, связанную с

музыкой, и вообще ни на какую работу, кроме неквалифицированной.

— Ты в РРС в каком списке числишься? — удивленно спросил он.

— Неквалифицированной рабочей силы.

— Но ты же — специалист! Ты же не то шесть, не то восемь лет провел в консерватории Синдиката Музыки, так ведь? Почему же тебя не назначают преподавать музыку?

— Назначали. Я отказался. Я буду готов к преподавательской работе только лет через десять, не раньше. Не забудь, что я — композитор, а не исполнитель.

— Но должны же быть назначения и для композиторов.

— Где?

— Ну, наверно, в Синдикате Музыки.

— Но его синдикам не нравятся мои сочинения. Они пока что никому не нравятся. Я же не могу быть сам себе синдикатом, правда?

Салас был маленького роста, костлявый; голова и верхняя часть лица у него облысели; оставшиеся волосы он коротко подстригал, и они шелковистой бежевой бахромой окружали нижнюю часть его головы, от затылка до подбородка. У него была хорошая улыбка, от которой его выразительное лицо сморщивалось.

— Видишь ли, я пишу не так, как меня учили в консерватории. Я пишу дисфункциональную музыку. — Он улыбнулся еще ласковее. — Им нужны хоралы. А я хоралы терпеть не могу. Им подавай широкую гармонию, такие вещи, какие писал Сессур. Я не выношу музыку Сессура… Я сейчас пишу камерную пьесу. Я думаю назвать ее «Принцип Одновременности». Каждый из пяти инструментов ведет независимую циклическую; никакой мелодической обусловленности; весь процесс движения вперед состоит исключительно во взаимосвязи партий. Гармония получается чудесная. Но они ее не слышат. Не хотят слышать. И не могут!

Немного подумав, Шевек спросил:

— А если бы ты ее назвал «Радости Солидарности», они бы услышали эту гармонию?

— Черт возьми! — сказал прислушивавшийся к их разговору Бедап. — Шев, это первое в твоей жизни циничное высказывание. Добро пожаловать к нам в рабочую команду!

Салас засмеялся:

— Они бы согласились прослушать пьесу, но не дали бы разрешения на запись или на исполнение в местных концертных залах. Она — не в Органическом Стиле.

— Не удивительно, что пока я жил на Северном Склоне, я ни разу не слышал профессиональной музыки. Но как они могут оправдать цензуру такого рода? Ты пишешь музыку! Музыка — искусство, требующее сотрудничества, органическое по определению, социальное. Это, может быть, самая благородная форма социального поведения, на какую мы способны. И это, несомненно, одна из самых благородных работ, какие может выполнять отдельная личность. И ее природа, природа любого искусства, в том, что ею делятся. Тот, кто занимается искусством, делится им, в этом — суть его деятельности. Чтобы ни говорили твои синдики, как может РРС оправдать то, что не дает тебе назначения по по твоей специальности?

— А они не хотят, чтобы с ними делились искусством, — весело сказал Салас. — Оно их пугает.

Бедап заговорил более серьезным тоном:

— Они могут оправдать это тем, что музыка не приносит пользы. Копать канал — важно, знаешь ли, а музыка — чисто декоративная вещь. Круг замкнулся, и мы вернулись к самому гнусному виду спекулянтского утилитаризма. Все разнообразие, всю жизнеспособность, всю свободу инициативы и творчества, которые были центром одонианского идеала, — все мы отбросили. Мы вернулись прямехонько к варварству: если нечто — новое — беги от него; если его нельзя съесть — выбрось его!

Шевек подумал о своей работе и не нашелся, что возразить. Но и присоединиться к критическим словам Бедапа он не мог. Бедап заставил его осознать, что он, по существу, — революционен; но он глубоко чувствовал, что он таков именно благодаря полученным им воспитанию и образованию, которые сделали его одонианином и анаррести. Он не мог взбунтоваться против своего общества, потому что его общество, в правильном понимании, само было революцией, причем перманентной, непрекращающимся процессом. Чтобы вновь утвердить его ценность и силу, думал Шевек, человек должен просто действовать, не боясь наказания и не ожидая награды; действовать из самого центра своей души.

Бедап и некоторые из его друзей решили взять отпуск на декаду и отправиться в пеший поход в горы Нэ-Тэра. Он уговорил Шевека отправиться с ними. Шевек с удовольствием думал о том, что проведет десять дней в горах, и без всякого удовольствия — о том, что ему десять дней придется выслушивать разглагольствования Бедапа. Разговоры Бедапа слишком уж напоминали Критическое Заседание — общественное мероприятие, которое ему никогда не нравилось, когда все по очереди встают и жалуются на недостатки в деятельности общины и (обычно) на недостатки в характерах соседей. Чем меньше времени оставалось до отпуска, тем меньше ему хотелось идти. Но он сунул в карман тетрадь, чтобы можно было удирать и делать вид, что работаешь, и отправился.

Они встретились рано утром за Восточным Автовокзалом — три женщины и трое мужчин. Шевек не был знаком ни с одной из женщин, а Бедап познакомил его только с двумя. Когда они двинулись по дороге, которая вела к горам, он пошел рядом с третьей.

— Шевек, — представился он. Она ответила:

— Я знаю.

Шевек сообразил, что, видимо, они уже раньше где-то встречались и он должен знать ее имя. У него покраснели уши.

— Ты что, шутишь, что ли? — спросил Бедап, подстраиваясь к ним слева. — Таквер же училась с нами в Институте, на Северном Склоне. И в Аббенае она уже два года живет, неужели вы здесь ни разу до сих пор не встретились?

— Я его пару раз видела, — сказала девушка и засмеялась, глядя на Шевека. У нее был смех человека, который любит хорошо поесть, громкий, детский, во весь рот. Она была высокая и довольно худая, но с округлыми руками и широкими бедрами. Ее нельзя было назвать очень хорошенькой; у нее было смуглое, умное и жизнерадостное лицо. Глаза у нее были темные, но это была не непроницаемая тьма блестящих темных глаз, а какая-то темная глубина, почти как глубокий черный пепел, очень тонкий и мягкий. Встретившись с ней взглядом, Шевек понял, что совершил непростительную ошибку, забыв ее, и в ту же секунду, как понял это, понял и то, что он прощен. Что ему повезло. Что его невезение кончилось.

Они начали подниматься в горы.

На четвертый день их похода, холодным вечером, Шевек и Таквер сидели на крутом склоне над узким ущельем. В сорока метрах под ними между мокрыми скалами вниз по ущелью с грохотом мчалась горная речка. На Анарресе было мало текучей воды; почти всюду уровень воды был низок, реки были короткие. Быстрые потоки встречались только в горах. Шум гремящей, кричащей, поющей воды был нов для них.

Весь день они карабкались то вверх, то вниз по таким ущельям, высоко в горах, и ноги у них устали. Остальная их компания осталась в «Приюте Путника» — каменном домике, который построили отпускники для отпускников, и который содержался в полном порядке: Нэ-Тэранская Федерация была самой активной из групп добровольцев, занимавшихся охраной и уходом за «живописными» местами Анарреса. Пожарный объездчик, живший в домике летом, помогал Бедапу и другим готовить обед из припасов, которыми были набиты кладовые. Таквер, а потом

Шевек вышли из домика, не сказав, куда идут, да и сами не зная этого.

Здесь, на этом крутом склоне, он и нашел ее; она сидела среди хрупких кустов лунной колючки, похожих на разбросанные по горным склонам кружевные банты; их ломкие, негнущиеся ветви в сумерках казались серебряными. В просвете между вершинами гор на востоке бесцветное свечение неба предвещало восход луны. В тишине высоких, голых гор шум речки казался очень громким. Не было ни ветерка, ни облачка. Воздух над горами казался аметистовым, твердым, прозрачным, глубоким.

Довольно долго они сидели молча.

— Никогда в жизни, ни к одной женщине меня не тянуло так, как к тебе. С самого начала этого похода. — Шевек говорил холодным, почти обиженным тоном.

— Я не хотела портить тебе отпуск, — сказала она и засмеялась своим громким детским смехом, слишком громким для этих сумерек.

— Это его не портит!

— Вот и хорошо. Я думала, ты имеешь в виду, что это тебя отвлекает.

— «Отвлекает!» Это — как землетрясение!

— Спасибо.

— Дело не в тебе, — резко сказал он. — Дело во мне.

— Это по-твоему, — ответила она.

Последовала долгая пауза.

— Если ты хочешь совокупиться, — сказала она, — почему бы не попросить меня?

— Потому что я не уверен, что я хочу именно этого.

— Я тоже. — Она уже не улыбалась.

— Слушай, — сказала она. Голос у нее был мягкий и глуховатый. В нем было что-то такое же пушистое, как и в ее глазах.

— Я должна тебе сказать.

Но что она должна была ему сказать, довольно долго оставалось неизвестным. Наконец он посмотрел на нее с таким испуганным ожиданием, что она поспешила заговорить и выпалила:

— Ну… я только хочу сказать, что я сейчас не хочу совокупляться с тобой. И вообще ни с кем.

— Ты что, зарок дала отказаться от секса?

— Нет! — возмущенно воскликнула она, но ничего не объяснила.

— А я все равно, что дал, — сказал он, бросив камешек вниз, в речку. — Либо я импотент. Уже полгода прошло, и то это было только с Дапом. Даже почти год. С каждым разом это давало мне все меньше удовлетворения, так что я и пробовать перестал. Не стоило того. Не стоило труда. А ведь я… я помню… я знаю, как это должно быть.

— Вот в том-то и дело, — сказала Таквер. — Лет до восемнадцати-девятнадцати мне страшно нравилось совокупляться. Это было так волнующе, так интересно, и такое наслаждение. А потом… сама не знаю. Как ты сказал, перестало удовлетворять. Мне стало не нужно наслаждение. Я хочу сказать — одно лишь наслаждение.

— Ты хочешь детей?

— Да, когда придет время.

Шевек опять кинул камень в речку, которую уже поглощали тени ущелья, оставляя только ее шум, непрекращающуюся гармонию, состоящую из дисгармоний.

— Я хочу довести до конца работу, — сказал он.

— И что, целомудренная жизнь помогает?

— Связь тут есть. Но я не знаю, какая, только не причинная. Примерно тогда же, когда секс перестал меня удовлетворять, то же самое стало и с работой. Три года топтания на одном месте.

Бесплодие. Бесплодие во всех отношениях. Насколько хватает глаз — в безжалостном свете немилосердного солнца лежит бесплодная, безжизненная пустыня, нет в ней ни путей, ни дорог, ни жизни, ни радости, ни страха, ни траха, а есть в ней только кости злосчастных путников…

Таквер не расхохоталась, а только слабо пискнула, словно ей было больно смеяться. Шевек попытался отчетливо разглядеть ее лицо. Ее темноволосая голова четко выделялась на жестком, чистом фоне неба.

— Что же плохого в наслаждении, Таквер? Почему оно тебе не нужно?

— Ничего плохого в нем нет. И оно мне нужно. Но я могу без него обойтись. А если я буду брать то, без чего могу обойтись, я никогда не дойду до того, что мне действительно необходимо.

— Что же тебе необходимо?

Таквер опустила глаза и стала царапать ногтем торчащий из земли камень. Она молчала. Она протянула руку к побегу лунной колючки, но не сорвала его, а только потрогала, коснулась душистого стебля и хрупкого листка. По тому, какими напряженными были ее движения, Шевек понял, что она всеми силами старается унять или сдержать бурю переживаний, которая не дает ей говорить. Наконец, она заговорила, тихо, чуть хрипло:

— Мне необходимо, чтобы я и он были связаны. По-настоящему. Телом и душой, и на всю жизнь. И ничего больше. Но и не меньше.

Она подняла на него взгляд. С вызовом. А может быть, и с ненавистью.

В нем таинственно пробивалась радость, как пробивались сквозь тьму шум и запах бегущей по ущелью воды. Он ощутил беспредельность, ясность, полнейшую ясность, точно его выпустили на свободу. Позади головы Таквер небо стало светлеть — всходила луна; дальние вершины словно плыли в небе, четкие и серебристые.

— Да, это так, — сказал он, без смущения, без ощущения, что говорит с кем-то другим; он раздумчиво сказал то, что пришло ему в голову. — А я этого не понимал и не видел.

В голосе Таквер еще слышалась обида.

— Тебе незачем было видеть и понимать это.

— Почему?

— Я думаю, ты не видел и не понимал, что такое возможно.

— Какое «такое»?

— Такой человек!

Он задумался над ее словами. Они сидели в метре друг от друга, обхватив руками колени, потому что похолодало. С каждым вдохом в горло, казалось, лилась ледяная вода. Каждый видел дыхание другого — слабый парок в лунном свете, становившемся все ярче.

— Я в первый раз поняла это, — сказала Таквер, — в ночь перед твоим отъездом из Регионального Института. Если ты помнишь, была вечеринка. Некоторые из нас всю ночь сидели и разговаривали. Но это было четыре года назад. И ты даже не знал, как меня зовут.

В ее голосе больше не было обиды; казалось, она ищет ему оправдания.

— Значит, ты тогда увидела во мне то, что я увидел в тебе четыре дня назад?

— Не знаю. Трудно сказать. Это не было чисто сексуальное чувство. В этом смысле я тебя заметила раньше. Я тебя увидела. Но я не знаю, что ты видишь сейчас. И я тогда, в сущности, не знала, что я увидела. Я тебя фактически почти совсем не знала. Но только, когда ты говорил, мне казалось, что я вижу тебя насквозь, до самого центра. Но, может быть, ты был совсем не таким, каким я тебя считала. И ты не был в этом виноват, — добавила она. — Просто я поняла: то, что я в тебе увидела — это то, что мне необходимо. А не просто нужно!

— И ты два года пробыла в Аббенае и не…

— Что «не…»? Это все было только с моей стороны, в моих мыслях, ты даже моего имени

не знал. В конце-то концов, один человек не может создать такие отношения.

— И ты боялась, что если ты подойдешь ко мне, я могу и не захотеть таких отношений?

— Не то, что боялась. Я знала, что ты такой человек, которого… нельзя принудить… А вообще-то — да, боялась. Боялась тебя. А не того, что ошибусь. Я знала, что это не ошибка. Но ты — это ты. Знаешь, ты ведь не такой как все. Я боялась тебя, потому что знала, что мы с тобой — равные! — Последние слова Таквер проговорила с яростью, но через несколько секунд добавила, очень мягко, ласково:

— Знаешь, Шевек, это ведь, в сущности, не важно.

Он впервые услышал, как она называет его по имени. Он обернулся к ней и сказал, заикаясь, почти задыхаясь:

— Не важно? Сначала ты мне показала, что важно, что по-настоящему важно, в чем я всю жизнь нуждался, а теперь говоришь, что это не важно!

Теперь они сидели лицом к лицу, но не касались друг друга.

— Значит, это — то, что тебе необходимо?

— Да. Эта связь. Это шанс.

— Сейчас — на всю жизнь?

— Сейчас и на всю жизнь.

Когда Шевек и Таквер спустились с гор, они переселились в двойную комнату. В кварталах поблизости от Института свободных двойных комнат не было, но Таквер знала, что в одном старом бараке на северной окраине города такая комната есть. Чтобы занять эту комнату, они пошли к квартальному администратору жилых помещений (Аббенай был разделен примерно на двести административных участков, так называемых кварталов). Администратором оказалась шлифовальщица линз, работавшая на дому, и державшая дома, при себе, своих трех малышей. Поэтому списки жилых помещений она держала в стенном шкафу на верхней полке, чтобы дети до них не добрались. Она проверила, действительно ли эта комната зарегистрирована как свободная; Шевек и Таквер расписались в том, что они ее занимают.

Переезд тоже был несложным. Шевек привез ящик с бумагами, свои зимние сапоги и оранжевое одеяло. Таквер пришлось сделать три рейса. Один — в районный распределитель одежды, чтобы взять Шевеку и себе по новому костюму (у нее было неясное, но выраженное чувство, что это — акт, необходимый для начала их партнерства). Потом она отправилась в свое старое общежитие, один раз — за своей одеждой и бумагами, и еще раз — с Шевеком, чтобы забрать несколько странных предметов: это были сложные концентрические фигуры, сделанные из проволоки; если их подвесить к потолку, они начинали медленно, странно двигаться и изменяться. Она сделала их из обрезков проволоки, взяв инструменты со склада снабжения ремесленников, и назвала их «Занятиями Необитаемого Пространства». Один из стоявших в комнате стульев совсем разваливался, поэтому они отнесли его в ремонтную мастерскую, а взамен взяли там целый. Теперь мебели у них было достаточно. Потолок в новой комнате был высокий, поэтому в ней было много воздуха и вполне достаточно места для «Занятий…». Барак стоял на одном из невысоких аббенайских холмов, а в комнате было угловое окно, в которое после полудня светило солнце, и через которое открывался вид на город, улицы, площади, крыши, зелень парков, на равнины за городом.

Близость после долгого одиночества, внезапность радости выбили из колеи и Шевека, и Таквер. В первые несколько декад его отчаянно бросало от ликования к тревоге; она то и дело раздражалась. Оба были неопытны и излишне впечатлительны. Чем лучше они узнавали друг друга, тем меньше становилась эта напряженность. Их сексуальный голод не исчез, а превратился в страстное наслаждение, их желание быть вместе вспыхивало вновь каждый день, потому что каждый день утолялось.

Теперь Шевеку было ясно — и он счел бы безумием думать иначе — что все несчастные годы, проведенные им в этом городе, были частью его нынешнего счастья, потому что они вели к нему, подготовили его к нему. Все, что происходило с ним до сих пор, было частью того, что происходит с ним сейчас. Таквер не видела в происходящем столь загадочной цепи «следствие /причина/следствие», но ведь она не была физиком-темпоралистом. У нее было наивное представление о времени как о проложенной дороге. Ты идешь по ней вперед и куда-нибудь да придешь. Если повезет — придешь туда, куда стоит придти.

Но когда Шевек воспользовался ее метафорой и, заменив ее термины своими, стал объяснять, что, если прошлое и будущее не станут, при помощи памяти и намерений, частью настоящего, то в человеческом понимании никакой дороги не будет, идти будет некуда, она кивнула, еще когда он не дошел и до середины объяснения.

— Вот именно, — сказала она. — Это-то я и делала все эти четыре года. Это не одно лишь везение. Только частично.

Ей было двадцать три года, на полгода меньше, чем Шевеку. Она выросла на Северо-Востоке, в сельскохозяйственной общине под названием Круглая Долина. Это было довольно отдаленное место, и до того, как Таквер приехала на Северный Склон, в Институт, ей приходилось делать более тяжелую работу, чем большинству молодых анарреcти. В Круглой Долине едва хватало людей, чтобы выполнять всю необходимую работу, но их община была не настолько крупной и играла не настолько важную роль в экономике Анарреса, чтобы компьютеры РРС считали ее нужды первоочередными. Жителям Круглой Долины приходилось самим заботиться о себе. В восемь лет Таквер каждый день, проведя три часа в школе, еще три часа работала на мельнице — выбирала из зерна холума солому и камешки. Практические навыки, приобретенные в детстве, мало обогатили ее личность: они были частью усилий, которые община прилагала, чтобы выжить. Во время сева и уборки урожая все, кому было больше десяти и меньше шестидесяти лет, работали в поле. В пятнадцать лет она отвечала за координацию графиков работы на четырехстах сельскохозяйственных участках, которые обрабатывала община Круглой Долины, и помогала диетологу планировать питание в городской столовой. Все это было обычным делом, и Таквер не видела в этом ничего особенного, но на ее характер и взгляды это, конечно наложило определенный отпечаток. Шевек был рад, что в свое время выполнил свою долю клеггич, потому что Таквер презирала людей, избегавших физического труда.

— Ты посмотри на Тинана, — говорила она, бывало, — как он ноет и воет из-за того, что его на четыре декады мобилизовали на уборку корнеплодного холума, уж до того он хрупкий, прямо, как икринка! Что он, в земле, что ли, никогда не копался? — Таквер была не слишком снисходительна к чужим недостаткам, и характер у нее был вспыльчивый.

В Региональном Институте Северного Склона она изучала биологию, и настолько успешно, что решила продолжить учебу в Центральном Институте. Через год ей предложили вступить в новый синдикат, который как раз организовывал лабораторию для изучения методов увеличения и улучшения поголовья съедобной рыбы в океанах Анарреса. Когда ее спрашивали, чем она занимается, она отвечала: «Я — ихтиогенетик». Эта работа ей нравилась; в ней сочетались две вещи, которые Таквер высоко ценила: точность экспериментальных исследований и цель, состоявшая в увеличении и улучшении. Без такой работы она бы не была удовлетворена. Но эта работа ни в коей мере не была для нее достаточной. Большая часть того, что происходило в уме и духе Таквер, имело очень мало отношения к ихтиогенетике.

Она была глубоко, страстно привязана к живым существам, к растениям, к земле. Эта привязанность, носящая невыразительное название «любовь к природе», была, по мнению Шевека, гораздо шире, чем любовь. Он считал, что есть души, пуповина которых осталась не

перерезанной. Они остались не отнятыми от груди вселенной. Они не считают смерть врагом; они с удовольствием ждут того момента, когда сгниют и превратятся в перегной. Странно было видеть, как Таквер берет в руки лист или даже камень. Она становилась продолжением его, а он — ее.

Она показала Шевеку аквариумы с морской водой в их исследовательской лаборатории, там было пятьдесят видов рыб, а то и больше; большие и маленькие, неброские и ярко-пестрые, изящные и гротескные. Он пришел в восторг и почувствовал даже благоговейный страх.

Три океана Анарреса были настолько же полны живыми существами, насколько суша была пуста. В течение нескольких миллионов лет моря не были соединены одно с другим, поэтому в каждом море эволюция форм жизни шла своим путем. Разнообразие этих форм ошеломляло. Шевеку раньше и в голову не приходило, что живая природа может размножаться так безудержно, так пышно, так обильно; что, в сущности, изобилие, быть может, и есть основное свойство жизни.

На суше растениям жилось неплохо, так как они росли поодаль одно от другого, и вместо листьев у них были шипы, хвоя или колючки; но те животные, которые попытались было дышать воздухом, отказались от этой мысли, когда в климате планеты началась тысячелетняя эпоха пыли и засухи. Выжили бактерии (многие из них были литофагами) да несколько сот видов червей и ракообразных.

Человек втиснулся в эту тесную экологию осторожно и с опаской. Если он ловил рыбу, то не слишком жадно, и обрабатывал землю, используя для удобрения главным образом органические отходы, он мог найти себе место в этой экологии. Но втиснуть в нее хоть кого-нибудь еще он не мог. Для травоядных не было травы. Для хищников не было травоядных. Не было насекомых, чтобы опылять цветковые растения; все ввезенные с Урраса плодовые деревья опыляли вручную. С Урраса не завезли никаких животных, чтобы не подвергать опасности хрупкое равновесие жизни. Прибыли только Первопоселенцы, причем настолько тщательно отдраенные и изнутри, и снаружи, что привезли с собой минимум своей личной флоры и фауны. Даже блохи — и те не добрались до Анарреса.

— Мне нравится биология моря, — сказала Таквер Шевеку у аквариумов, — потому что она такая сложная, все так переплетено между собой… настоящая паутина. Эта рыба ест ту рыбу, а та — мелкую рыбешку, а мелкая рыбешка — жгутиковых, а они — бактерий, и все сначала. На суше есть только три типа, и все — не хордовые… если не считать человека. В биологическом аспекте это странная ситуация. Мы, анаррести, противоестественно изолированы. На старой Планете на суше есть восемнадцать типов животных; там есть такие классы, как насекомые, в которых столько видов, что их до сих пор не сумели сосчитать, а в некоторых из этих — миллиарды особей. Ты только представь себе: куда ни глянь, всюду животные, другие существа, разделяют с тобой землю и воздух. Человек настолько сильнее ощутил бы себя частью… — Ее взгляд следовал за проплывавшей в сумраке аквариума голубой рыбкой. Шевек напряженно следил за путем рыбки и за ходом мысли Таквер. Он долго бродил между аквариумами и потом часто возвращался с Таквер в лабораторию, к аквариумам, смиряя свою гордыню физика перед существованием созданий, для которых настоящее вечно, существ, которые не оправдываются и не нуждаются в том, чтобы оправдывать перед человеком свой образ жизни.

Большинство анаррести работало по пять-семь часов в день, с двумя-четырьмя выходными в декаду. Обо всех деталях — в котором часу выходить на работу, сколько часов работать, какие дни — выходные, и так далее — каждый договаривался со своей рабочей командой, или бригадой, или синдикатом, или координирующей федерацией, в зависимости от того, на каком уровне могла быть достигнута оптимальная эффективность совместной работы. Таквер сама планировала свои исследования, но и у работы, и у рыб были свои запросы, которыми нельзя

было пренебрегать; и она проводила в лаборатории ежедневно от двух до десяти часов, без выходных. У Шевека теперь было два преподавательских назначения: курс математики повышенного типа в учебном центре и такой же курс в Институте. Оба курса он вел по утрам, и к полудню возвращался в их комнату. Обычно Таквер еще не было. В здании стояла полная тишина. Солнце в это время еще не доходило до двойного окна, выходившего на юг и на запад, на город и на равнины; в комнате было прохладно и полутемно. Изящные концентрические динамические объекты, подвешенные к потолку, на разной высоте, двигались с сосредоточенной на самих себе четкостью, беззвучно, таинственно, как идут процессы в органах живого существа или мыслительные процессы. Шевек садился за стол у окна и начинал работать — читать, делать заметки или считать. Постепенно солнечный свет входил в комнату, передвигался по бумагам на столе, по его рукам на бумагах и заполнял комнату сиянием. А он работал. Ошибки и бесплодные усилия прошлых лет оказались основой, фундаментом, заложенным вслепую, но заложенным правильно. На этом фундаменте, на этой основе, работая методично и осторожно, но так уверенно, точно это не он сам, а некое знание работало в нем, используя его, как свое орудие, он построил прекрасное, прочное здание Принципов Одновременности.

Таквер, как любому человеку, решившемуся стать спутником жизни творческой натуры, часто приходилось нелегко. Хотя ее существование было Шевеку необходимо, ее непосредственное присутствие порой мешало ему. Ей не хотелось возвращаться домой слишком рано, потому что, когда она приходила, Шевек часто бросал работать, а она считала, что это нехорошо. Потом, когда они оба станут пожилыми и нудными, он сможет не обращать на нее внимания, а сейчас, в двадцать четыре года, он этого не может. Поэтому она организовала свою работу так, что возвращалась домой в середине второй половины дня. Это тоже было не очень удобно, потому что о нем надо было заботиться. В те дни, когда у него не было занятий, случалось, что до ее прихода он не вставал из-за рабочего стола по шесть-восемь часов подряд. Когда он вылезал из-за стола, его шатало от усталости, у него дрожали руки, он с трудом мог говорить. Дух творчества обращается со своими носителями сурово, он изнашивает их, выбрасывает, меняет на новую модель. Для Таквер замены Шевеку не существовало, и когда она видела, как тяжело ему приходится, она протестовала. Она могла бы воскликнуть, как воскликнул однажды Асиэо, муж Одо: «Ради Бога, женщина, неужели ты не можешь служить истине понемножку?» — но только женщиной была она, и о Боге не имела представления.

Когда Таквер возвращалась, они разговаривали, шли погулять или в баню, потом — обедать в институтскую столовую. После обеда они отправлялись на собрание, или на концерт, или к друзьям: к Бедапу и Саласу и их компании, к Десару и другим институтским приятелям, к коллегам и друзьям Таквер. Но собрания и друзья были для них периферийны. Им не было необходимо ни участие в общественной жизни, ни общение для развлечения; им было достаточно их партнерства, и они не могли этого скрыть. Других это, очевидно, не обижало. Скорее наоборот. Бедап, Салас, Десар и остальные шли к ним, как в жажду идут к роднику. Другие были для них периферийны, но они были центральны для других. Они ничего особенного не делали; они не были ни более доброжелательны, чем другие люди, ни более интересными собеседниками, и все же их друзья любили их, полагались на них и все время приносили им подарки — мелочи, которые у этих людей, не владевших ничем и владевших всем, переходили от одного к другому: шарф собственной вязки, осколок гранита, усаженный темно-алыми гранатами, ваза, вылепленная своими руками в мастерской федерации гончаров, стихотворение о любви, набор резных деревянных пуговиц, спиральная ракушка из Соррубского моря. Они отдавали подарки Таквер и говорили: «Держи. Может, Шеву пригодится вместо пресс-папье»; или Шевеку и говорили: «Держи. Может, Так понравится этот цвет». Отдавая, они стремились разделить с Шевеком и Таквер то, что Шевек и Таквер разделяли друг с другом, и

почтить, и восхвалить.

Это лето — лето 160-года Заселения Анарреса — было долгим, теплым и светлым. От обильных весенних дождей Аббенайская равнина зазеленела и пыль прибилась, так что воздух был необычно прозрачен; днем грело солнце, а по ночам небо было густо усыпано сияющими звездами. Когда в небе была Луна, можно было отчетливо различить за ослепительно-белыми завитками ее облаков очертания ее континентов.

— Почему она кажется такой красивой? — спросила Таквер, лежа в темноте рядом с Шевеком под оранжевым одеялом. Над ними висели смутно различимые «Занятия Необитаемого Пространства»; за окном висела ослепительно сверкавшая полная Луна.

— Ведь мы же знаем, что это просто планета, такая же, как наша, только климат там лучше, а люди хуже… Ведь мы же знаем, что они все собственники, и устраивают войны, и воюют, и придумывают законы, и едят, когда другие голодают, и вообще все они так же стареют, и им так же не везет, и у них делаются такие же мозоли на ногах и ревматизм в коленках, как у нас здесь… Ведь мы же знаем все это, так почему же она все равно кажется такой счастливой — как будто жизнь там такая уж счастливая? Я не могу смотреть на это сияние и думать, что там живет противный человечек с засаленными рукавами и атрофированными мозгами, такой, как Сабул; вот не могу, и все…

Их обнаженные плечи и груди были залиты светом Луны. Тонкий, едва заметный пушок, покрывавший лицо Таквер, слабо отсвечивал, и его черты казались смутными, словно смазанными; ее волосы были черными, черными были и тени. Рукой, серебряной от лунного света, Шевек коснулся ее серебряного плеча, дивясь теплу прикосновения в этом прохладном сиянии.

— Если ты можешь увидеть что-то целиком, — сказал он, — оно всегда будет красивым. Планеты, живые существа… Но когда смотришь с близкого расстояния, видишь, что планета состоит из грязи и камней. И день за днем, изо дня в день — жизнь ведь штука тяжелая — устаешь, перестаешь видеть всю картину полностью. Нужна дистанция, промежуток. Чтобы увидеть, как прекрасна земля, надо видеть ее, как луну. Чтобы увидеть, как прекрасна жизнь, надо смотреть с позиции смерти.

— Для Урраса это годится. Пусть остается там, вдали, и будет луной — он мне не нужен! Но я не собираюсь стоять на могильном камне и смотреть с него на жизнь сверху вниз и восклицать: «Ах, какая прелесть!» Я хочу быть в самой ее гуще и видеть ее всю целиком, здесь, сейчас. Плевать я хотела на вечность.

— Вечность тут ни при чем, — усмехнулся Шевек, худой, лохматый, весь из серебра и тени. — Все, что нужно, чтобы увидеть жизнь, — это увидеть ее с точки зрения смертного. Я умру, ты умрешь, а иначе как бы мы могли любить друг друга? Солнце однажды догорит до конца, что же еще заставляет его светить?

— Ох, уж эти твои разговоры, эта твоя проклятая философия!

— Разговоры? Это не разговоры. Это не доводы рассудка. Это прикосновение рукой. Я касаюсь целого. Я держу его. Что здесь лунный свет, что — Таквер? Как мне бояться смерти, когда я держу его, когда я держу в руках свет…

— Не будь собственником, — прошептала Таквер.

— Родная, не плачь.

— Я не плачу. Это ты плачешь. Это твои слезы.

— Мне холодно. Лунный свет холодный.

— Ляг.

Когда она обняла его, он резко вздрогнул.

— Мне страшно, Таквер, — прошептал он.

— Брат, милый, молчи.

Эту ночь, как и много других ночей, они проспали, обнявшись.

Глава седьмая. УРРАС

В кармане новой, подбитой курчавым мехом куртки, которую Шевек заказал к зиме в магазине на кошмарной улице, он нашел письмо. Он не представлял себе, как оно туда попало. Его совершенно точно не было в почте, которую ему доставляли дважды в день, состоявшей исключительно из рукописей и оттисков от физиков со всего Урраса, приглашений на приемы и бесхитростных посланий от школьников. Это был кусок тонкой бумаги, сложенный текстом внутрь, без конверта; на нем не было ни марки, ни штампа какой-либо из трех конкурирующих почтовых компаний.

Смутно предчувствуя недоброе, Шевек вскрыл его и прочел: «Если ты — архист, то почему ты сотрудничаешь с системой власти, предавая свою планету и Одонианскую Надежду, тогда как должен нести нам эту Надежду. Страдая от несправедливости и угнетения, мы следим за Планетой-Сестрой, светом свободы в темной ночи. Присоединяйся к нам твоим братьям!» Ни подписи, ни адреса не было.

Это письмо потрясло Шевека и морально, и интеллектуально. Он почувствовал не удивление, а что-то вроде паники. Теперь он знал, что они здесь есть — но где? Он до сих пор не встречал ни одного, он вообще до сих пор не сталкивался ни с одним бедняком… Он допустил, чтобы вокруг него возвели стену, и даже не заметил этого. Он принял предоставленное убежище, как собственник. Его кооптировали — в точности, как сказал тогда Чифойлиск.

Но как сломать стену, Шевек не знал. А если он ее и сломает, куда ему идти? Паника охватила его еще сильнее. К кому он мог бы обратиться за помощью? Со всех сторон он окружен улыбками богачей.

— Эфор, я хотел бы поговорить с вами.

— Да, господин. Извините, господин, я делаю место поставить сюда это.

Слуга умело управлялся с тяжелым подносом, он ловко снял крышки с блюд, налил горький шоколад так, что пена поднялась до края чашки, и ни капли не брызнуло, не пролилось. Ему явно доставляли удовольствие и сам ритуал завтрака, и то, как он умело его выполняет, и столь же явно он не желал, чтобы ему в этом мешали. Он часто говорил по-иотийски совершенно грамотно, но сейчас, стоило Шевеку сказать, что он хочет поговорить с ним, как Эфор перешел на отрывистый городской диалект. Шевек научился немного понимать его; в замене звуков можно было разобраться, уловив ее принципы, но усеченные фразы он почти не понимал. Половина слов пропускалась. «Это, как код», — думал он: словно «ниоти», как они себя называли, не хотели, чтобы их понимали посторонние.

Слуга стоял, ожидая приказаний. Он знал — он в первую же неделю узнал и запомнил все идиосинкразии Шевека — что Шевек не хочет, чтобы он отодвигал для него стул или прислуживал ему за едой. Он стоял очень прямо, в позе, которая выражала внимание и убивала всякую надежду на неофициальный разговор.

— Садитесь, Эфор.

— Если вам угодно, господин, — ответил слуга и чуть подвинул стул, но не сел.

— Вот о чем я хотел поговорить. Вы знаете, что я не люблю приказывать вам.

— Стараюсь делать, как вы любите, без приказаний.

— Я это вижу… я не об этом. Знаете, у меня на родине никто никому не приказывает.

— Я об этом слыхал, господин.

— Ну, вот, я хочу познакомиться с вами, как с равным, как с братом. Вы единственный из всех, кого я здесь знаю, не богатый… не владелец. Я очень хочу разговаривать с вами, хочу

узнать, как вы живете…

Шевек в отчаянии умолк, увидев на морщинистом лице Эфора презрение. Он сделал все возможные ошибки, Эфор считает его дураком, который смотрит на него свысока и сует нос не в свои дела.

Безнадежным жестом он уронил руки на стол и сказал:

— Ох, черт, извините меня, Эфор! Я не умею выразить то, что хочу сказать. Пожалуйста, не обращайте внимания.

— Как прикажете, господин.

Эфор вышел из комнаты.

Тем дело и кончилось. «Класс неимущих» остался для него таким же далеким, как тогда, когда он читал о нем в учебнике истории в Региональном Институте Северного Склона.

Еще до этого он обещал Оииэ провести у них неделю между зимней и весенней четвертью.

После того, как Шевек в первый раз побывал у них в гостях, Оииэ несколько раз приглашал его на обед, всегда — несколько официальным тоном, словно выполняя долг гостеприимства или, быть может, приказ правительства. Но у себя дома он держался с Шевеком с неподдельным дружелюбием, хотя всегда оставался чуть настороженным. Ко второму визиту Шевека оба сына Оииэ решили, что он их старый друг, и их уверенность в том, что Шевек тоже так считает, явно озадачивала их отца. Она тревожила его, он не мог по-настоящему одобрять такое отношение, но и не мог назвать его неоправданным. Шевек вел себя с ними, как старый друг, как старший брат. Они относились к нему с восхищением, а младший, Ини, просто обожал его. Шевек был добрым, серьезным, честным и очень интересно рассказывал про Луну, но дело было не только в этом. Для Ини он представлял что-то, чего малыш не мог выразить словами. Это детское обожание глубоко и загадочно повлияло на дальнейшую жизнь Ини, но, даже став намного старше, он не нашел для этого подходящих слов — только слова, в которых было эхо этого: слово «странник», слово «изгнание».

Единственный в эту зиму сильный снегопад случился именно в ту неделю. Шевек ни разу не видел слоя снега толще дюйма или около того. От сумасбродства метели, от обилия снега его охватила радость. Он ликовал от того, что всего этого было слишком много. Снег был слишком бел, слишком холоден, нем и равнодушен, чтобы даже самый искренний одонианин смог назвать его экскрементальным: увидеть в нем что-то иное, кроме невинного великолепия, свидетельствовало бы о душевном убожестве. Как только небо прояснилось, он вышел в сад с мальчиками, которые радовались снегу так же, как он.

Сэва Оииэ стояла у окна со своей свояченицей Вэйей и смотрела, как играют дети, взрослый мужчина и маленькая выдра. Выдра устроила себе горку из одной стены снежного замка и раз за разом возбужденно скатывалась с нее на брюхе. Щеки мальчиков пылали. Взрослый мужчина обрывком бечевки связал сзади свои длинные, серовато-коричневые волосы; от холода у него покраснели уши; он с азартом прокладывал в снегу туннели. Высокие, звонкие голоса мальчиков не умолкали: «Не сюда!» — «Вон туда копайте!» — «Где лопата?» — «У меня лед в кармане!»

— Вот он, наш Инопланетянин, — с улыбкой сказала Сэва.

— Величайший из современных физиков, — сказала свояченица. — Как забавно!

Когда Шевек вошел, пыхтя и топая ногами, чтобы сбить снег с сапог, и излучая те свежие, холодные силу и бодрость, какие бывают только у людей, только что пришедших с мороза и снега, его представили свояченице. Он протянул Вэйе большую, твердую, холодную руку и дружелюбно посмотрел на нее сверху вниз.

— Вы — сестра Демаэре? — спросил он и добавил: — Да, вы на него похожи.

И это замечание доставило Вэйе огромное удовольствие, хотя в устах любого другого оно

показалось бы ей пустым. Весь остаток дня она думала: «Он — мужчина. Настоящий мужчина. Что же это в нем такое?»

Ее звали Вэйя Доэм Оииэ, как принято по иотийскому обычаю. Ее муж, Доэм, возглавлял большой промышленный комбинат; ему приходилось много ездить и ежегодно по полгода проводить за рубежом в качестве делового представителя правительства. Все это Шевеку объяснили, пока он смотрел на нее. Хрупкость, светлые волосы и овальные черные глаза Демаэре Оииэ у Вэйи стали прекрасными. Груди, плечи и руки у нее были круглые, нежные и очень белые. За обедом Шевеком сидел рядом с ней. Он то и дело смотрел на ее обнаженные груди, приподнятые жестким ко рсажем. То, что она в мороз ходит вот так, полуголой, казалось ему сумасбродством, таким же сумасбродством, как этот снег, и ее маленькие груди были так же невинно белы, как этот снег. Изгиб ее шеи плавно переходил в очертания гордой, бритой, изящной головки.

«Она действительно очень привлекательна», — сообщил себе Шевек. — «Она, как здешние постели: мягкая. Но ломака. Почему она так жеманно говорит?»

Он ухватился за ее довольно тонкий голос и жеманную манеру держаться, как утопающий — за спасательный круг, но не замечал этого, не понимал, что тонет. После обеда она должна была поездом вернуться в Нио-Эссейя, она приехала только на один день, и он ее больше никогда не увидит.

Оииэ был простужен, Сэва была занята детьми.

— Шевек, вы не могли бы проводить Вэйю на станцию?

— Боже милостивый, Дэмаэре! Не заставляй этого несчастного защищать меня! Уж не думаешь ли ты, что по улицам рыщут волки? Или дикие минграды ворвутся в город и утащат меня в свои гаремы? Что меня завтра утром найдут на крыльце начальника станции замерзшей, с примерзшими к ресницам слезинками и с букетиком увядших цветов в маленьких окоченевших ручках? О, это мне даже нравится! — Смех Вэйи накрыл ее звонкую болтовню, как волна, темная, гладкая, мощная волна, которая смывает все, оставляя за собой пустой прибрежный песок. Она смеялась не своим словам, а над собой, и темный смех тела стирал слова.

Шевек вышел в холл, надел куртку и стал ждать ее у двери.

Полквартала они прошли молча. Снег похрустывал и скрипел у них под ногами.

— Право, вы слишком любезны для…

— Для чего?

— Для анархиста, — сказала она своим тонким голосом, жеманно растягивая слова (точно с такой же интонацией разговаривал Паэ, и Оииэ, когда бывал в Университете — тоже). — Я разочарована. Я думала, что вы окажетесь опасным и неотесанным.

— Я такой и есть.

Она взглянула на него искоса, снизу вверх. Голова ее была повязана алой шалью; на фоне этого яркого цвета и окружавшей их белизны снега ее глаза казались черными и блестящими.

— Но ведь вы так послушно и кротко провожаете меня на станцию, д-р Шевек.

— Шевек, — мягко сказал он. — Без «доктора».

— Это ваше полное имя? И имя, и фамилия?

Он с улыбкой кивнул. Ему было хорошо, он чувствовал себя сильным, ему были приятны пронизанный светом воздух, тепло его хорошо сшитой куртки, красота идущей рядом женщины. Сегодня его не одолевали ни тревоги, ни тяжкие думы.

— А правда, что вам дает имена компьютер?

— Да.

— Какая тоска — получить имя от машины!

— Почему тоска?

— Это так механически, так безлично.

— Но что может быть менее безлично, чем имя, которое не носит ни один из живущих одновременно с тобой людей?

— Больше никто? Вы — единственный Шевек?

— Пока я жив. До меня были и другие.

— Вы имеете в виду родственников?

— Мы не особенно интересуемся родством. Видите ли, мы все — родственники. Я не знаю, кто они были, кроме одной, в первые годы заселения. Она изобрела такой подшипник для тяжелых машин, который применяют до сих пор, он так и называется — «шевек». — Он опять улыбнулся, еще шире. — Вот настоящее бессмертие!

Вэйя покачала головой.

— Господи! — сказала она. — Как же вы отличаете мужчин от женщин?

— Ну… мы изобрели некоторые способы…

Спустя секунду раздался ее негромкий, густой смех. Она вытерла слезившиеся от холода глаза.

— Да, пожалуй, вы правда неотесанный!… Значит, они все приняли придуманные имена и выучили придуманный язык — все новое?

— Первопоселенцы Анарреса? Да. Я думаю, они были романтиками.

— А вы — нет?

— Нет. Мы очень прагматичны.

— Можно быть и тем, и другим одновременно, — заметила она. Шевек не ожидал, что она окажется сколько-нибудь проницательной.

— Да, это верно, — сказал он.

— Что может быть романтичнее того, что вы прилетели сюда, совершенно один, без гроша в кармане, чтобы выступать за свой народ?

— И чтобы меня, пока я здесь, избаловали всевозможной роскошью.

— Роскошью? В университетской квартире? Господи Боже! Бедняжка! Они вам хоть показали что-нибудь приличное?

— Я был во многих местах, но все одинаковое. Я хотел бы лучше узнать Нио-Эссейя. Я видел в городе только то, что снаружи — упаковку.

Он употребил это сравнение потому, что его с самого начала восхитил обычай уррасти заворачивать все в чистую, красивую бумагу, или пластик, или картон, или фольгу. Белье из прачечной, книги, овощи, одежда, лекарства — все было запаковано в бесчисленные слои обертки. Даже пачки бумаги были завернуты в несколько слоев бумаги. Ничего не должно было ни с чем соприкасаться. Он уже начал ощущать, что он тоже тщательно упакован.

— Я знаю. Вас заставили пойти в Исторический Музей… и осмотреть Добуннаэсский Монумент… и прослушать чью-нибудь речь в Сенате!

Шевек рассмеялся, потому что именно так он и провел один день прошлым летом.

— Я знаю! Они так глупо обращаются с иностранцами. Я сама позабочусь, чтобы вы увидели настоящий Нио!

— Я был бы рад этому.

— Я знаю всяких замечательных людей. Вы здесь застряли среди всех этих нудных профессоров и политиков…

Она продолжала тараторить. Ее бессвязная болтовня доставляла ему такое же удовольствие, как этот солнечный свет и снег.

Они подошли к маленькой станции Амоэно. У нее уже был обратный билет; вот-вот должен был подойти поезд.

— Не ждите, замерзнете.

Он не ответил, просто стоял, громоздкий в подбитой мехом куртке, и ласково смотрел на нее.

Она опустила взгляд и стряхнула снежинку с вышитого обшлага своего пальто.

— У вас есть жена, Шевек?

— Нет.

— Вообще никакой семьи?

— А, вот вы о чем… Есть. Партнерша. И наши дети. Извините меня, я вас не так понял. Видите ли, «жена» — это для меня нечто, существующее только на Уррасе.

— А что такое «партнерша» и «партнер»? — Она подняла на него озорной взгляд.

— Я думаю, вы бы назвали это женой. И мужем.

— Почему же она не приехала с вами?

— Не захотела, и потом, младшей девочке только год… нет, сейчас уже два. И потом… — он замялся.

— Почему не захотела?

— Ну, ее работа — там, а не здесь. Если бы я знал, что здесь ей бы так многое понравилось, я бы просил ее поехать. Но я не знал. Понимаете, тут проблема безопасности.

— Безопасности здесь?

Он снова замялся и наконец сказал:

— Также и когда я вернусь домой.

— Что же с вами будет? — спросила Вэйя, широко раскрыв глаза. Из-за холма за чертой города показался поезд.

— О, скорее всего, ничего. Но есть некоторые, кто считает меня предателем. Потому что я пытаюсь подружиться с Уррасом, видите ли. Когда я вернусь домой, они могут устроить неприятности. Я не хочу этого для нее и для детей. Перед моим отъездом уже было немного неприятностей. Достаточно.

— Вы хотите сказать, что вам будет по-настоящему грозить опасность?

Чтобы расслышать, ему пришлось нагнуться к ней, потому что на станцию, гремя колесами и вагонами, въезжал поезд.

— Не знаю, — сказал он, улыбаясь. — Вы знаете, наши поезда очень похожи на эти. Хороший дизайн незачем менять.

Он вместе с ней подошел к вагону первого класса. Он открыл ей дверь вагона, потому что сама она не стала этого делать. Когда она вошла, Шевек заглянул в вагон, оглядел купе.

— А внутри они совсем не похожи! Это все — для вас? Для вас одной?

— О, да. Я терпеть не могу второй класс. Эти мужчины, которые вечно жуют смолу маэры и плюются. А на Анарресе жуют маэру? Нет, конечно, нет. Ах, я бы столько всего хотела узнать о вас и о вашей стране!

— Я люблю о ней рассказывать, но никто не спрашивает.

— Тогда давайте непременно встретимся и поговорим о ней! Вы позвоните мне, когда в следующий раз будете в Нио? Обещайте!

— Обещаю, — добродушно сказал он.

— Хорошо! Я знаю, что вы не нарушаете обещаний. Кроме этого, я пока ничего о вас не знаю. Но это я чувствую. До свидания, Шевек. — На секунду она положила руку в перчатке на его руку, которой он держался за дверь. Паровоз загудел в две ноты; он закрыл дверь и стал смотреть, как отходит поезд. В окне мелькнуло белое и алое — лицо Вэйи.

Он вернулся в дом Оииэ в очень жизнерадостном настроении и дотемна играл с Ини в снежки.

РЕВОЛЮЦИЯ В БЕНБИЛИ! ДИКТАТОР БЕЖАЛ! СТОЛИЦА В РУКАХ ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ МЯТЕЖНИКОВ! ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СЕССИЯ СПП! НЕ ИСКЛЮЧЕНО ВМЕШАТЕЛЬСТВО А-ИО.

«Птичья» газета была настолько возбуждена, что напечатала самым крупным шрифтом, какой у нее был. Жертвой этого возбуждения пали и орфография, и грамматика: «К вчерашней ночи мятежники удерживают все к западу от Мексти и жестоко нажимают на армию». Так обращались с глаголами ниоти: и прошедшее, и будущее время загоняли в одно насыщенное, неустойчивое настоящее время.

Шевек прочел газеты и разыскал описание Бенбили в Энциклопедии СПП. По форме это государство было парламентарно-демократическим, фактически же — военной диктатурой, им управляли генералы. Это была большая страна в Западном полушарии — горы и засушливые саванны, мало населенная, бедная.

— Надо было мне ехать в Бенбили, — думал Шевек, потому что представление о ней притягивало его; он представлял себе бледные равнины, ветер над ними. Новость странно взволновала его. Он слушал все сводки по радио, которое до этого почти перестал слушать, обнаружив, что его основная функция — рекламировать товары. Сообщения по радио, как и по официальному телефаксу в общественных местах, были краткими и сухими: странный контраст с популярными газетами, с каждой страницы которых кричало слово «Революция».

Генерал Хавеверт, президент, благополучно бежал на своем бронированном аэроплане, но некоторых генералов помельче поймали и кастрировали (это наказание в Бенбили традиционно предпочитали смертной казни). Отступающая армия сжигала на своем пути поля и города своего же народа. Партизанские отряды не давали покоя армии. В столице, Мескти, революционеры открыли тюрьмы, дали амнистию всем заключенным. Когда Шевек прочел это, сердце у него радостно забилось: есть надежда, все-таки есть надежда… Он все более напряженно следил за вестями о далекой революции. На четвертый день он смотрел по телефаксу о дебатах в Совете Правительств Планеты и увидел, как иотийский посол в СПП заявил, что А-Ио, поддерживая демократическое правительство Бенбили, посылает Генерал-Президенту Хавеверту вооруженное подкрепление.

Большинство бенбилийских революционеров даже не было вооружено. И вот придут иотийские войска, с пушками, бронетранспортерами, аэропланами, бомбами. Шевек прочел в газете описание их снаряжения, и его замутило.

Ему было тошно, он был взбешен, и не было никого, с кем он мог бы поговорить. Паэ отпадал категорически. Атро был ярым милитаристом. Оииэ был порядочным человеком, но его личные заботы и тревоги, его проблемы как владельца собственности заставляли его оставаться верным строгим представлениям о правопорядке. Он мог дать волю своей личной симпатии к Шевеку, только отказываясь признать, что Шевек анархист. Он говорил, что одонианское общество называет себя анархическим, но по существу они просто первобытные популисты, чей общественный строй функционирует без явных правительств только потому, что их так мало и у них нет соседних государств. Когда их собственности начнет угрожать какой-нибудь агрессивный соперник, они либо осознают истинное положение вещей, либо будут стерты с лица земли. Бенбилийские мятежники сейчас как раз начинают осознавать истинное положение вещей: до них начинает доходить, что из свободы нет никакого толка, если нет пушек, чтобы ее защищать. Он объяснил это Шевеку во время их единственного спора на эту тему. Не важно, кто правит или полагает, что правит бенбилийцами: реальная политика касается борьбы за господство между А-Ио и Ту.

— Реальная политика, — повторил Шевек. Он взглянул на Оииэ и сказал:

— Странное выражение в устах физика.

— Нисколько. Как политики, так и физики имеют дело с вещами, как они есть, с реальными силами, с законами, лежащими в основе мироздания.

— Вы ставите ваши жалкие, мелочные «законы», защищающие богатство, ваши «силы» пушек и бомб рядом с законом энтропии и силой земного притяжения? Я был лучшего мнения о ваших умственных способностях, Демаэре!

От этой вспышки презрения, которая была, как удар молнии, Оииэ сжался. Он больше ничего не сказал, и Шевек больше ничего не сказал; но Оииэ не забыл этого случая. Он навсегда остался у него в памяти, как самый позорный момент его жизни. Потому что если Шевек, этот заблуждающийся и простодушный утопист, так легко заставил его замолчать, — это был позор; если Шевек — физик и человек, которому он не мог восхищаться, уважение которого он так хотел заслужить, точно оно было более высокого качества, чем уважение любого другого человека, — если этот Шевек презирает его — то этот позор невыносим, и он должен спрятать его, на всю жизнь запереть в самом темном уголке своей души.

Бенбилийская революция обострила некоторые проблемы и для Шевека: прежде всего — проблему собственного молчания.

Ему было трудно не доверять людям, с которыми он общался. Он был воспитан в культуре, которая обдуманно и постоянно полагалась на людскую солидарность, взаимопомощь. Как бы он ни был в некоторых отношениях отчужден от этой культуры, и как бы чужд он ни был здешней культуре, все же привычка всей жизни осталась: он считал, что люди хотят ему помочь. Он доверял им.

Но предостережение Чифойлиска, от которых он пытался отмахнуться, все время вспоминались ему. Их подкрепили его собственные ощущения и инстинкты. Хочешь не хочешь, а придется ему научиться недоверию. Он должен молчать. Он ни с кем не должен делиться своей собственностью; он должен сохранить возможность заключить свою сделку.

В эти дни он мало говорил и еще меньше записывал. Его письменный стол был завален пустяковыми бумагами; его рабочие записи всегда были с ним, в одном из многочисленных карманов его уррасской одежды. Закончив работу на своем настольном компьютере, он всегда все сбрасывал.

Он знал, что очень близок к окончательному созданию Общей Теории Времени, которая была так нужна иотийцам для космических полетов и для престижа. Он знал также, что он еще на разработал ее до конца, и, может быть, это ему так никогда и не удастся. Он никогда никому не говорил об этом прямо.

Перед своим отлетом с Анарреса он думал, что Теория уже у него в руках. Он уже получил необходимые уравнения; Сабул знал, что он получил их, и предложил ему примирение и признание в обмен на возможность напечатать их и пристроиться к славе. Он отказал Сабулу, но это не было высоконравственным поступком. Нравственно было бы, в сущности, отдать их типографию при его синдикате, Синдикате Инициативы; но он не сделал и этого. Он был не вполне уверен, что готов к публикации. Что-то было не совсем в порядке, что-то надо было чуть-чуть доработать. Он уже десять лет работает над этой теорией, ничего страшного, если он еще немного повозится с ней, чтобы довести до полного совершенства.

Мелочь, которая была не совсем в порядке, все больше становилась «не такой». Крошечный дефект в рассуждениях. Крупный дефект. Трещина через весь фундамент… В ночь перед отлетом с Анарреса он сжег все до единой записи по Общей Теории, которые у него были. Он прилетел на Уррас без всего. Полгода он — по их терминологии — морочил им голову.

Или себе?

Вполне возможно, что Общая Теория Времени — иллюзорная цель.

Возможно также, что, хотя когда-нибудь Последовательность и Одновременность и будут

объединены в общую теорию, он — не тот, кто сумеет это сделать. Он уже десять лет пытался и не сумел. Математики и физики, атлеты интеллекта, создают свои великие труды в молодости. А ему только что исполнилось сорок лет. Очень возможно, — более того, вполне вероятно, — что он уже выгорел, что с ним кончено.

Он прекрасно знал, что такие приступы депрессии и ощущения полного провала бывали у него и раньше, как раз перед моментами наивысшего творческого подъема. Он поймал себя на том, что пытается подбодрить себя этим, и пришел в ярость от собственной наивности. Для хронософии чрезвычайно глупо трактовать временной порядок как причинный порядок. Или он в сорок лет впал в маразм? Лучше надо просто взяться за небольшую, но реально осуществимую работу — усовершенствовать понятие интервала. Это может пригодиться кому-нибудь другому.

Но даже и в этом, даже разговаривая об этом с другими физиками, он чувствовал, что чего-то не договаривает. И что они об этом знают.

Ему опротивело скрывать, опротивело не разговаривать — не говорить о революции, не говорить вообще ни о чем.

Он шел на лекцию по территории Университета. В листве недавно зазеленевших деревьев пели птицы. Он всю зиму не слышал их пения, а теперь они пели, не умолкая, нежные мелодии так и лились. «Тра-ля», — пели они, — «ля-ля. Это мои владения, это мои владения, это моя территорияааа, она моя-а-а-а…»

Шевек с минуту неподвижно стоял под деревьями, прислушиваясь.

Потом он свернул с дорожки, пошел в другую сторону, к станции, и успел на утренний поезд в Нио-Эссейя. Должна же быть хоть где-то на этой проклятой планете хоть одна открытая дверь!

Сидя в поезде, он подумал о том, чтобы попытаться выбраться из А-Ио; но не принял эту мысль всерьез. Ему пришлось бы сесть на корабль или самолет, его выследили бы и задержали. Единственное место, где он сумеет скрыться с глаз своих благожелательных и заботливых хозяев, — это в их собственном городе, у них под носом.

Это не будет освобождением. Даже если он выберется из этой страны, он все равно останется взаперти, останется запертым на Уррасе. Это нельзя назвать освобождением, как бы это ни назвали анархи с их мистицизмом государственных границ. Но при мысли, что его благожелательные хозяева хоть на минуту подумают, что он вырывается на свободу, на душе у него стало так легко, как не бывало уже много дней.

Это был первый по-настоящему теплый весенний день. Поля зазеленели, и на них сверкала вода. Скот выпустили на пастбища; возле каждой матки паслись ее малыши; особенно прелестны были маленькие овечки, они прыгали, как упругие мячики, а хвостики у них так и вертелись. В отдельном загоне стоял производитель стада — баран, или бык, или жеребец, с толстой шеей, могучий, как грозовая туча, заряженная будущими поколениями. Над полными до краев прудами носились чайки, белые над голубым, и белые облака оживляли бледноголубое небо. Ветви плодовых деревьев были расцвечены красными бутонами, а кое-где из них уже раскрылись розовые и белые цветы. Шевек смотрел из окна поезда. Оказалось, что его беспокойное и мятежное настроение не поддается даже красоте весеннего дня. Это была несправедливая красота. Чем уррасти заслужили ее? Почему она дана им так щедро так милостиво, а его народу — так скупо, так страшно скудно?

— Я рассуждаю, как уррасти, — сказал он себе. — Как проклятый собственник. Как будто красоту или жизнь можно заработать!

Он попытался вообще ни о чем не думать, позволить поезду нести себя вперед и лишь смотреть на солнечный свет в ласковом небе и на маленьких овечек, скачущих в весенних полях.

Нио-Эссейя, город с четырехмиллионным населением, вздымал свои изящные сверкающие

башни за зелеными болотами Дельты, словно сотканный из дымки и солнечного света. Поезд плавно въехал на длинный виадук, и город стал ярче, выше, плотнее и вдруг охватил весь поезд ревущей тьмой тоннеля на двадцать путей, а потом выпустил его и его пассажиров в необъятные сверкающие просторы Центрального Вокзала, под центральный купол цвета слоновой кости и бирюзы, по слухам, самый большой из всех куполов, когда-либо построенных руками на любой планете.

Шевек брел под этим огромным, воздушным куполом через акры и акры полированного мрамора и наконец, подошел к длинному ряду дверей, через которые непрерывно проходили толпы людей; все люди казались ему встревоженными. Он и раньше часто замечал на лицах уррасти эту тревогу и не мог ее понять. Может быть, они были встревожены потому, что, как бы много денег у них ни было, они равно стремились заработать еще больше, чтобы не умереть с голоду? Или они чувствовали себя виноватыми, потому что, как бы мало денег у них ни было, все равно всегда находился кто-то, у кого их еще меньше? В чем бы ни была причина, это придавало всем лицам некую одинаковость, и Шевек чувствовал себя среди них очень одиноким. Сбежав от своих гидов и стражей, он не подумал о том, каково ему будет одному в обществе, где люди не доверяют друг другу, где основная нравственная предпосылка — не взаимопомощь, а взаимная агрессия. Ему стало страшновато.

Он смутно представлял себе, что будет бродить по городу, заговаривать с людьми, членами класса неимущих, если такое понятие еще существует, или трудящегося класса, как они это называют. Но все эти люди спешили куда-то по делам, они не желали тратить свое драгоценное время на праздную болтовню. Их спешка заразила его. «Надо куда-нибудь пойти», — подумал он, выйдя на солнце, на великолепную, запруженную людьми улицу Моиэ. Куда? В Национальную Библиотеку? В зоопарк? Но он не хотел осматривать достопримечательности.

Он в нерешительности остановился перед привокзальной лавочкой, торговавшей газетами и сувенирами. Газетный заголовок гласил: «ТУ ПОСЫЛАЕТ ВОЙСКА НА ПОМОЩЬ БЕНБИЛИЙСКИМ МЯТЕЖНИКАМ», — но Шевек не обращал на него внимания. Он смотрел не на газету, а на цветные фотографии, разложенные на витрине. Ему подумалось, что у него нет ничего на память об Уррасе. Когда путешествуешь, надо привозить домой сувениры. Ему понравились эти фотографии, пейзажи А-Ио: горы, на которые он поднимался, небоскребы Нио, университетская часовня (почти вид из его окна), крестьянская девушка в красивом провинциальном наряде, Башни Родарреда, и та, что первая бросилась ему в глаза: новорожденная овечка на усеянном цветами лугу; овечка брыкалась и, казалось, смеялась. Маленькой Пилун понравилась бы эта овечка. Он взял по одной открытке каждого вида и подал их продавцу.

— …И пять — это пятьдесят, и ягненок, итого шестьдесят; и карту, правильно, господин, одна и сорок. Хорош денек сегодня, наконец-то весна пришла, не правда ли, господин? А помельче не найдется, господин? — Шевек подал было ему банкноту в двадцать единиц. Он порылся в сдаче, которую ему дали, когда он покупал билет на поезд, и, кое-как разобравшись в достоинстве бумажек, и монет, набрал одну единицу и сорок.

— Все правильно, господин, спасибо, желаю приятно провести день!

За деньги можно купить и любезность, а не только открытки и карту? Насколько любезен был бы этот лавочник, если бы он пришел сюда, как анаррести приходят в распределитель товаров: взял, что нужно, кивнул администратору и вышел?

Бесполезно, бесполезно так думать. Живешь в Стране Собственности — думай, как собственник, ешь, как собственник, одевайся, как собственник, веди себя, как собственник, будь собственником.

В центре Нио не было парков, земля была слишком дорога, чтобы тратить ее на всякое

баловство. Он все дальше углублялся в те самые огромные, сверкающие улицы, по которым его много раз водили. Он вышел на улицу Саэмтэневиа и поспешно свернул с нее, не желая повторения этого древнего кошмара. Теперь он попал в деловой район. Банки; здания учреждений; правительственные здания. Неужели весь Нио-Эс Сейя — такой? Громадные сверкающие коробки из камня и стекла, гигантские, слишком декоративные, огромные упаковки, пустые, пустые.

Проходя мимо окна первого этажа с вывеской «Картинная галерея», он завернул туда, надеясь избавиться от нравственной клаустрофобии улиц и вновь найти красоту Урраса в музее. Но в этом музее на раме каждой картины была наклеена этикетка с ценой. Он изумленно уставился на искусно написанную нагую женщину. На этикетке стояло: «4000 МДЕ (Международная денежная единица)».

— Это — работа Фейте, — сказал смуглый мужчина, неслышно рядом с Шевеком неделю назад у нас их было пять. Скоро — главное место на рынке картин. Вложить деньги в Фейте — самое верное дело, сударь.

— Четыре тысячи единиц… этих денег в этом городе хватило бы на год двум семьям, — сказал Шевек.

Смуглый внимательно оглядел его и протянул:

— Да… Ну… видите ли, сударь, это ведь произведение искусства.

— Человек создает произведения искусства, потому что не может не создавать их. А почему сделано это?

— Вы, сударь, как я понимаю, художник, — сказал смуглый уже с нескрываемой издевкой.

— Нет, я — человек, которой узнает дерьмо, когда его видит!

Торговец испуганно попятился; отойдя от Шевека на безопасное расстояние, он начал что-то говорить о полиции. Шевек поморщился и вышел из лавки. Пройдя полквартала, он остановился. Он больше так не мог.

Но куда же ему идти?

К кому-нибудь… К кому-нибудь, к другому человеку. К кому-нибудь, кто даст ему помощь, а не продаст ее. К кому? Куда?

Он подумал о детях Оииэ, мальчиках, которые любят его, и некоторое время не мог думать больше ни о ком. Вдруг в памяти у него всплыл образ, далекий, маленький и отчетливый: сестра Оииэ. Как ее звали? «Обещайте, что придете», — сказала она тогда; и с тех пор она два раза писала ему, приглашая на званный обеды, четким детским почерком, на плотной надушенной бумаге. Тогда он не обратил внимания на них, они затерялись среди всех приглашений от незнакомых людей. Теперь он вспомнил о них.

В ту же минуту он вспомнил и другое письмо — то, что, непонятно как, оказалось в кармане его куртки: «Присоединяйся к нам твоим братьям». Но он не сумел найти братьев на Уррасе.

Шевек зашел в первый попавшийся магазин. Это оказалось кондитерская, вся в розовой лепнине и золоченых завитках; в ней рядами стояли стеклянные шкафчики, полные коробок и жестянок и корзин с конфетами и сладостями, розовыми, коричневыми, кремовыми, золотыми. Он спросил женщину за шкафчиками, не поможет ли она ему найти номер телефона. Теперь, после той вспышки раздражения у торговца картинами, он был подавлен и выглядел таким смиренно-растерянным и нездешним, что женщина растаяла; она не только помогла ему найти нужную фамилию в громоздком телефонном справочнике, но и сама вызвала нужный номер по телефону, стоявшему в магазине.

— Алло?

Он сказал: «Шевек», — и замолчал. Он привык, что телефоном пользуются в экстренных

случаях: чтобы сообщить о смерти, о рождении, о землетрясении. Он не представлял себе, что говорить.

— Кто? Шевек? Неужели правда? Как мило, что вы позвонили! Раз это вы, мне даже не жалко, что я проснулась.

— Вы спали?

— Крепко спала; и я еще в постели. В ней тепло и уютно. А вы где?

— По-моему, на улице Каэ Секаэ.

— Зачем вас на нее занесло? Уходите оттуда. Который час? Боже, почти полдень! А, знаю. Встретимся на полпути. У лодочного пруда в садах Старого Дворца. Сумеете найти? Послушайте, вы должны остаться. У меня сегодня вечером соберется совершенно божественная компания. — Она еще некоторое время болтала; он соглашался со всем, что она говорила. Когда он проходил мимо прилавка к выходу, продавщица улыбнулась ему:

— Пожалуй, вам бы стоило купить ей коробку конфет, а, господин?

Он остановился.

— Вы так думаете?

— Да уж не мешало бы, господин.

В ее голосе было что-то нахально-добродушное. Воздух в магазине был душистый и теплый, словно в нем скопилось все ароматы весны. Шевек стоял среди шкафчиков с красивыми излишествами, высокий, отяжелевший, сонный, как отяжелевшие животные в своих загонах, бараны и быки, отупевшие от томительного тепла весны.

— Сейчас я вам подберу как раз то, что надо, — сказала женщина и наполнила изящную, металлическую с эмалью, коробочку миниатюрными сахарными розочками и шоколадными листиками. Она завернула коробочку в папиросную бумагу, вложила сверток в коробку из посеребренного картона, завернув ее в плотную розовую бумагу и перевязала зеленой бархатной лентой. Во всех ее ловких движениях сквозило веселое и сочувственное соучастие, и когда она вручила Шевеку сверток, и он взял его, пробормотав слова благодарности, и направился к выходу, она напомнила ему:

— С вас десять шестьдесят, господин, — но в ее голосе не было резкости. Быть может, она бы отпустила его так, пожалев его, как жалеют женщины сильных; но он послушно вернулся и отсчитал деньги.

Поездом поземки он добрался до садов Старого Дворца и разыскал в них лодочный пруд, где детишки в очаровательных костюмчиках пускали игрушечные парусники, изумительные кораблики с шелковым такелажем и медными частями, сверкавшими как драгоценности. По другую сторону широкого, сверкающего круга воды он увидел Вэйю и подошел к ней, обогнув пруд, остро ощущая солнечный свет, и весенний ветер, и темные деревья парка на которых из почек пробивались ранняя, бледно-зеленая листва.

Они поели в парке — в ресторане, на террасе, под высоким стеклянным куполом. В солнечном свете внутри купола деревья были уже совсем зеленые, ивы склонялись над прудом, в котором бродили жирные белые птицы и смотрели на обедающих с ленивой жадностью, в ожидании объедков. Вэйя не стала заказывать сама и ясно дала понять, что о ней должен заботиться Шевек, но искусные официанты так ловко подсказывали ему, что он вообразил, будто справился со всем этим сам; и, к счастью, у него была уйма денег. Еда была необыкновенная. Он никогда не пробовал таких изысканных блюд. Привыкнув есть два раза в день, он обычно, в отличии от уррасти, не ел среди дня, но сегодня он съел все, а Вэйя только деликатно отщипывала и поклевывала. Наконец, ему пришлось остановиться, и Вэйя рассмеялась, увидев, какое у него виноватое выражение лица.

— Я слишком много съел.

— Погуляем немножко, это вам поможет.

Они медленно пошли по траве; через десять минут Вэйя грациозно опустилась на траву в тени высоких кустов, усыпанных яркими золотыми цветами. Он смотрел на изящные узкие ступни Вэйи в нарядных белых туфельках на очень высоких каблуках, и ему вспомнилось одно выражение Таквер. «Спекулянтки телом» — так называла Таквер женщин, которые пользовались своей сексуальностью, как оружием в борьбе с мужчинами за власть. Он подумал, что, увидев Вэйю, все прочие спекулянтки телом полопались бы от зависти. Туфли, платье, косметика, движения — все в ней источало соблазн, все возбуждало. Казалось, она вообще не человек, а лишь женское тело — так искусно, продуманно и вызывающе она его демонстрировала, больше того — была им. В ней воплощалась вся сексуальность, которую иотийцы подавляли, загоняя в свои сны, в свои повести и стихи, в свои бесконечные изображения обнаженных женщин, в свою архитектуру с ее изгибами и куполами, в свои сласти, в свои ванны, в свои матрацы. Она была женщиной, спрятанной в очертания стола.

Ее голова была полностью выбрита и припудрена тальком с крошечными блестками слюды, так что слабый блеск затемнял наготу очертаний. На ней была прозрачная не то шаль, не то накидка, под которой форма и гладкость ее обнаженных рук казались смягченными и защищенными. Грудь ее была закрыта. Иотийские женщины не ходят по улицам с обнаженной грудью, сберегая свою наготу для ее владельца. Запястья Вэйи были унизаны золотыми браслетами, а в ложбинке под горлом на нежной коже синим мерцал драгоценный камень.

— Как он там держится?

— Что? — ей самой драгоценность была не видна, и она могла притворяться, что не замечает ее, вынуждая Шевека показать пальцем, может быть, провести рукой над ее грудью, чтобы дотронуться до камня. Шевек улыбнулся и коснулся его.

— Он приклеен?

— Ах, это… Нет, у меня здесь вживлен такой малюсенький магнитик, а у него сзади малюсенький кусочек металла… или наоборот? Во всяком случае, мы не теряем друг друга.

— У вас под кожей магнит? — спросил Шевек с простодушным отвращением.

Вэйя улыбнулась и сняла сапфир, чтобы он мог увидеть, что там всего лишь крошечная серебристая ямочка рубца.

— Вы до такой степени не одобряете меня — всю, полностью… это так мило и забавно. У меня такое чувство, будто, что бы я ни сказала, что бы я ни сделала, я уже не могу упасть в ваших глазах, потому что ниже падать уже некуда!

— Это не так, — возразил он. Он понимал, что она играет, но плохо знал правила этой игры.

— Нет, нет; я всегда вижу, когда моя безнравственность кого-нибудь ужасает. Вот как это выглядит. — Она скорчила унылую гримасу; они оба рассмеялись.

— Я что, действительно так отличаюсь от анарресских женщин?

— О да, действительно.

— Они все ужасно сильные, мускулистые? Они ходят в сапогах, и у них большие ноги и плоскостопие, и они одеваются разумно и бреются раз в месяц?

— Они вообще не бреются.

— Никогда? Совсем нигде не бреют? О, Господи! Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

— О вас. — Он облокотился на заросший травой склон, так близко к Вэйе, что его охватило естественное и искусственное благоухание ее тела. — Я хочу знать, удовлетворяет ли уррасских женщин их постоянное подчиненное положение.

— Кому подчиненное?

— Мужчинам.

— Ах, это… Почему вы так думаете, что я кому-то починяюсь?

— Мне кажется, что все, что делает ваше общество, делают мужчины. Промышленность искусство, правительство, решения. И всю свою жизнь вы носите имя отца и имя мужа. Мужчины учатся, а вы не учитесь; все учителя, и судьи, и полиция, и правительство — мужчины, не так ли? Почему вы им позволяете всем распоряжаться? Почему вы не делаете то, что хотите?

— Но мы как раз это и делаем. Женщины делают именно то, что хотят. И им не приходится для этого пачкать руки, или носить медные шлемы, или стоять и кричать в Директорате.

— Но что же вы делаете?

— Как — что? Конечно же, командуем мужчинами! И вы знаете, мы можем совершенно спокойно говорить им об этом, потому что они все равно никогда этому не поверят. Они говорят: «Хо-хо, смешная малютка!» — и гладят нас по головке, и удаляются, звеня медалями, вполне довольные собой.

— А вы тоже довольны собой?

— Я? Вполне!

— Не верю.

— Потому что это не укладывается в ваши принципы. У мужчин всегда есть какие-то теории, и факты всегда должны в них укладываться.

— Нет, не из-за теорий; а потому что я вижу, что вы не удовлетворены. Что вы не удовлетворены. Что вы не находите себе места, недовольны, опасны.

— Опасна! — Вэйя просияла и расхохоталась. — Какой изумительный комплимент! Почему же я опасна, Шевек?

— Да потому, что вы знаете, что мужчины смотрят на вас, как на вещь; вещь, которую покупают и продают. И поэтому вы думаете только о том, как обвести владельца вокруг пальца, как отомстить…

Она подчеркнутым жестом прикрыла ему рот маленькой рукой.

— Замолчите, — сказала она. — Я понимаю, что вы не нарочно говорите пошлости. Я вас прощаю. Но больше не надо.

Он свирепо нахмурился от такого лицемерия и от сознания, что, может быть, действительно обидел ее. Он все еще ощущал на губах мгновенное прикосновение руки.

— Извините, — сказал он.

— Нет, ничего. Как вам понять, ведь вы же с Луны. Да и вообще, вы всего-навсего мужчина… Но вот что я вам скажу. Если бы вы взяли одну из ваших «сестер» там, на Луне, и дали ей возможность снять эти сапожищи, и принять ванну с маслами, и сделать эпиляцию, и надеть красивые сандалии, и вставить в пупок драгоценный камень, и надушиться — она была бы в восторге. И вы бы тоже пришли в восторг! Да-да, пришли бы! Но вы этого не сделаете; вы, бедняжки, с вашими теориями; сплошные братья и сестры, и никаких развлечений!

— Вы правы, — сказал Шевек. — Никаких развлечений. Никогда. На Анарресе мы весь день добываем свинец глубоко в недрах шахт, а когда наступает ночь, мы ужинаем — по три боба холума, сваренных в одной ложке затхлой воды, на брата; а потом, пока не придет время ложиться спать, мы декламируем Высказывания Одо с антифона ми. А спать мы ложимся все врозь, и не снимая сапог.

Он говорил по-иотийски не настолько бегло, чтобы получилась такая тирада, какую он произнес бы на родном языке, — одна из его внезапных фантазий, которые лишь Таквер и Садик слышали настолько часто, чтобы привыкнуть к ним; но, как бы ни косноязычно прозвучали его слова, они очень удивили Вэйю. Раздался ее грудной смех, громкий и непосредственный.

— Боже мой, да вы еще и забавный! Есть ли что-нибудь, чего в вас нет?

— Есть, — сказал Шевек. — Я не торговец.

Вэйя, улыбаясь, разглядывала его. В ее позе было что-то профессионально-актерское. Люди обычно смотрят друг на друга очень внимательно и на очень близком расстоянии, если они — не мать и младенец, не доктор и больной или влюбленные.

Шевек сел прямо.

— Я хочу еще походить, — сказал он.

Вэйя протянула руку, чтобы он помог ей встать. Жест был томный и зовущий, но она сказала с неуверенной нежностью в голосе:

— Вы и правда, как брат… Возьмите меня за руку. Я вас потом отпущу.

Они бродили по дорожкам огромного сада. Они зашли во дворец, где теперь был музей эпохи древних королей, потому что Вэйя сказала, что любит смотреть на выставленные там драгоценности. Портреты надменных дворян и принцев в упор смотрели на них с затянутых парчой стен и резных каминных полочек. Комнаты были полны серебра, золота, хрусталя, дерева, редких пород, гобеленов и драгоценных камней. За толстыми бархатными шнурами стояли стражники. Черная с алым форма стражников гармонировала с окружающей роскошью, с затканным золотом драпировками, с покрывалами, сотканными из перьев, но их лица нарушали гармонию. Это были усталые, скучающие лица, усталые от того, что целый день приходится смотреть среди посторонних людей, заниматься бесполезным делом. Шевек и Вэйя подошли к стеклянному футляру, в котором лежал плащ королевы Тэаэйи, сделанный из выдубленной кожи, заживо содранной с мятежников; плащ, в котором эта грозная и дерзкая женщина тысячу четыреста лет назад шла среди своих подданных молить Бога, чтобы моровая язва кончилась.

— По-моему страшно похоже на козловую кожу, — сказала Вэйя, разглядывая выцветшие обветшавшие от времени лохмотья в стеклянном ящике. Он подняла глаза на Шевека.

— Вам не хорошо?

— Пожалуй, я хотел бы выйти отсюда.

Когда они вышли в сад, его лицо стало не таким бледным, но он оглянулся на стены дворца с ненавистью.

— Почему вы так цепляетесь за свой позор? — спросил он.

— Но это же просто история. Сейчас такого не может быть!

Вэйя провела его в театр на дневной спектакль — комедию о молодых супругах и их теще и свекрови, полную шуток о совокуплении, в которых слово «совокупляться» не произносилось ни разу. Шевек пытался смеяться, когда смеялась Вэйя. Потом они отправились в ресторан в центре города — невероятно богатое заведение. Обед обошелся в сто единиц. Шевек съел очень мало, потому что поел в полдень, но, сдавшись на уговоры Вэйи, выпил две или три рюмки вина, которое оказалось вкуснее, чем он думал, и как будто бы не оказало пагубного влияния на его мыслительные способности. У него не хватило денег, чтобы заплатить за обед, но Вэйя не предложила разделить с ним расходы, а просто посоветовала ему выписать чек, что он и сделал. Потом они наняли автомобиль и поехали к Вэйе домой; она опять предоставила ему право расплатиться с водителем. Может быть, думал он, Вэйя и есть это загадочное существо — проститутка? Но проститутки, как о них писала Одо, должны быть бедными, а Вэйя уж никак не бедна; она еще раньше рассказала ему, что «ее» вечеринку готовят «ее» повар, «ее» горничная и «ее» фирма, обслуживающая званые вечера. К тому же, мужчины в Университете говорили о проститутках с презрением, как о грязных тварях, а Вэйя, несмотря на свое непрестанное кокетство, так болезненно реагировала на открытое упоминание всего, имеющего отношение к сексу, что Шевек в разговоре с ней следил за своими словами так, как дома следил бы в разговоре с застенчивым десятилетним ребенком. В общем, он совершенно не понимал, что же такое Вэйя.

Квартира у Вэйи была просторная и роскошная, из окон открывался вид на сверкающие

огни Нио; стены, мебель и даже ковры — все было белое. Но Шевек уже начинал привыкать к роскоши, а кроме того, ему страшно хотелось спать. До приезда гостей оставался еще час; пока Вэйя переодевалась, он заснул в гостиной, в большом белом кресле. Горничная, загремев чем-то на столе, разбудила его как раз вовремя, чтобы он увидел, как входит Вэйя, теперь одетая в принятый у иотийских женщин вечерний туалет: длинную, до земли, плиссированную юбку, ниспадающую с бедер и оставляющую весь остальной торс обнаженным. В пупке у нее сверкал маленький драгоценный камень, точно, как в фильме, который Шевек с Тирином и Бедапом видели четверть века назад в Региональном Институте Северного Склона, точно так же… Он смотрел на нее, не сводя глаз, только наполовину проснувшись, но полностью возбудившись.

Вэйя, чуть улыбаясь, задумчиво глядела на него.

Она села на низкий мягкий табурет, близко к нему, чтобы можно было снизу вверх смотреть ему в лицо, расправила белую юбку и сказала:

— Ну, расскажите же мне, что в действительности происходит между мужчинами и женщинами на Анарресе.

Шевек не верил своим ушам. В комнате находятся горничная и человек из обслуживающей фирмы; Вэйя знает, что у него есть партнерша; и между ними ни разу ни слова не было сказано о совокуплении. Но ее наряд, движения, тон — что это, как не самое откровенное приглашение к совокуплению?

— Между мужчиной и женщиной происходит то, чего они сами хотят. Каждый из них, и оба вместе.

— Значит, правда, что у вас действительно нет морали? — спросила она, словно это ее и шокировало, и обрадовало.

— Я не понимаю, что вы имеете в виду. Причинить человеку боль там — то же самое, что причинить человеку боль здесь.

— Вы хотите сказать, что у вас там — те же самые старые правила. Видите ли, я считаю, что мораль — просто предрассудок, как религия. Ее надо отбросить.

— Но мое общество, — сказал он, совершенно растерявшись, — это попытка достичь ее. Отбросить морализированные законы, правила, наказания — да; чтобы люди могли видеть добро и зло и сделать выбор.

— Так что вы отбросили все «надо» и «нельзя». Но знаете, я думаю, что вы, одониане, самого-то главного и не поняли. Вы отменили священников, и судей, и законы о разводе, и все такое, но сохранили главную проблему, стоящую за ними. Вы просто загнали ее внутрь, в свое сознание. Но она по-прежнему существует. Вы остались такими же рабами, какими были! Вы не свободны по-настоящему.

— Откуда вы знаете?

— Я читала в одном журнале статью про одонианство, — ответила она. — И мы провели вместе целый день. Я не знаю вас, но я знаю о вас некоторые вещи. Я знаю, что внутри вас — внутри вот этой вашей волосатой головы — сидит… сидит некая королева Тэаэйя. И она командует вами точно так же, как та старая тиранка командовала своими крепостными. Она говорит: «Делай так!» — и вы так делаете; или «Не делай этого!» — и вы не делаете.

— Там ей и место, — сказал он, улыбаясь. — У меня в голове.

— Нет. Лучше, чтобы она была во дворце. Тогда вы могли бы взбунтоваться против нее! И взбунтовались бы! Взбунтовался же ваш прапрадед; во всяком случае, он сбежал на Луну, чтобы освободиться. Но он взял королеву Тэаэйю с собой, и она все еще с вами!

— Может быть. Но на Анарресе она усвоила, что если она прикажет мне причинить боль другому, я причиню боль себе.

— Все то же самое лицемерие. Жизнь — это борьба, и побеждает сильнейший. А

цивилизация только прячет кровь и скрывает ненависть за красивыми словами. Вот и все, что она делает!

— Ваша цивилизация — возможно. Наша ничего не прячет. Все просто. Там королева Тэаэйя носит только свою собственную кожу… Мы следуем только одному единственному закону — закону эволюции человека.

— Закон эволюции — в том, что выживает сильнейший!

— Да; а в существовании любого социального вида сильнейшие — это те, кто наиболее социален. Иными словами, наиболее этичен. Понимаете, у нас на Анарресе нет ни жертв, ни врагов. У каждого из нас есть только все остальные. Причиняя боль друг другу, никакой силы не получишь. Только слабость.

— Мне нет никакого дела до того, кто кому причиняет или не причиняет боль. Мне нет дела до других, и никому ни до кого нет дела. Люди просто притворяются. А я не хочу притворяться. Я хочу быть свободной!

— Но, Вэйя! — начал он с нежностью, потому что ее речь в защиту свободы его очень тронула; но в дверь позвонили. Вэйя встала, оправила юбку и, улыбаясь, пошла навстречу гостям.

В течении следующего часа пришло человек тридцать-сорок. Сначала Шевек чувствовал досаду, недовольство и скуку. Это был просто очередной званый вечер, когда все стоят с бокалами в руках, улыбаются и громко разговаривают. Но скоро стало интереснее. Начались дискуссии и ссоры, люди стали садиться и беседовать; становилось похоже на вечеринку там, дома. Разносили изящные маленькие пирожные и кусочки мяса и рыбы, внимательный официант то и дело наполнял опустевшие бокалы. Он подал бокал Шевеку; Шевек взял. Он уже несколько месяцев наблюдал, как уррасти хлещут алкоголь, и никто из них от этого, как будто бы, не заболел. Вкус у этой штуки был, как у лекарства, но кто-то объяснил, что это в основном газированная вода, которая ему нравилась. Ему хотелось пить, поэтому он выпил все залпом.

Двое мужчин упорно заговаривали с ним о физике. Один из них был хорошо воспитан, и Шевеку некоторое время удавалось избегать его, потому что ему было трудно говорить о физике с не-физиками. Второй держался властно, и отделаться от него было невозможно; но Шевек заметил, что от раздражения ему стало гораздо легче разговаривать. Этот человек разбирался во всем; по-видимому, потому что у него было очень много денег.

— Как я понимаю, — сообщил он Шевеку, — ваша Теория Одновременности просто отрицает самое очевидное свойство времени — тот факт, что время проходит.

— Ну, в физике принято быть очень осторожным, называя что-либо «фактом», это ведь совсем не то, что в деловых кругах, — очень кротко и любезно сказал Шевек, но в его кротости было что-то, заставившее Вэйю, которая рядом болтала с другой кучкой гостей, обернуться и прислушиваться. — В рамках строгих понятий Теории Одновременности последовательность событий трактуется не как физически объективное явление, а как субъективное.

— Ну-ка, перестаньте запугивать Деарри и объясните нам, что это значит, на общедоступном языке, — сказала Вэйя. Ее проницательность вызвала у Шевека усмешку.

— Ну, мы думаем, что время «проходит», течет мимо нас; но что, если это именно мы движемся вперед, от прошлого к будущему, все время открывая новое? Понимаете, это было немного похоже на чтение книги. Книга уже есть, она вся здесь, под переплетом. Но если вы хотите прочесть то, что в ней написано, вы должны начать с первой страницы и продвигаться вперед строго по порядку. Так и вселенную можно представить себе в виде очень большой книги, а нас — в виде очень маленьких читателей.

— Но факт в том, — сказал Деарри, — что мы воспринимаем вселенную как последовательность, поток. А в таком случае какая польза от этой теории о том, что на каком-то

более высоком уровне все может сосуществовать вечно и одновременно. Вам, теоретикам, это, возможно, и доставляет удовольствие, но она не имеет никакого практического применения, никакого отношения к реальной жизни. Если только это не означает, что можно построить машину времени! — закончил он с какой-то натужной, фальшивой веселостью.

— Но мы воспринимаем вселенную не только последовательно, — сказал Шевек. — Разве вы никогда не видите снов, г-н Деарри? — он был горд собой, потому что хоть раз не забыл назвать собеседника «г-н».

— А это-то тут причем?

— По-видимому, мы воспринимаем время только сознанием. Грудной младенец не знает времени; он не может отстраниться от прошлого и понять, как оно соотносится с настоящим, или предположить, как его настоящее будет соотноситься с его будущим. Он не знает, что время идет; он не понимает смерти. Подсознание взрослого — такое же. Во сне время не существует, и последовательность событий вся перепутана, и причины и следствия перемешаны. В мифах и легендах времени тоже нет. Какое прошлое имеется в виду в сказке, которая начинается словами: «В одно прекрасное время жили-были…»? И поэтому, когда мистик восстанавливает связь между своими разумом и подсознанием, он видит, что все становится единым и цельным, и начинает понимать вечное возвращение.

— Да, мистики, — взволнованно подхватил более застенчивый. — Теборес, в Восьмом Тысячелетии… он писал: «Подсознание сопротяженно с вселенной».

— Но мы же не грудные младенцы, — перебил Деарри, — мы разумные люди. Ваша Одновременность — это какой-то вид мистического регрессивизма?

Последовала пауза, во время которой Шевек взял пирожное и съел его, хотя ему вовсе не хотелось. Он сегодня уже один раз вышел из себя и оказался в глупом положении. Одного раза вполне достаточно.

— Может быть, ее можно рассматривать, — сказал он, — как попытку установить равновесие. Видите ли, секвенциальная физика превосходно объясняет наше чувство линейности времени и факты, свидетельствующие об эволюции. Она включает в себя понятия творения и смертности. Но на этом она и останавливается. Она справляется со всем, что изменяется, но не может объяснить, почему есть вещи, которые не исчезают. Она говорит только о стреле времени — но не о кольце времени.

— Кольцо? — спросил более вежливый из приставал с такой явной жаждой понять, что Шевек совершенно забыл про Деарри и с энтузиазмом принялся объяснять, жестикулируя, размахивая руками, точно пытаясь вылепить для своего слушателя стрелы, циклы, колебания, о которых говорил:

— Время идет циклами, а не только линейно. Планета вращается, понимаете? Один цикл, одна орбита вокруг солнца составляет год, правда? А две орбиты — два года; и так далее; можно считать орбиты бесконечно — если наблюдать со стороны. Да мы и считаем время как раз по такой системе — получается указатель времени, часы. Но внутри этой системы, внутри цикла — где время? Где начало или конец? Бесконечное повторение — вневременной процесс. Чтобы рассматривать его как временной процесс, его приходится сопоставлять с каким-то другим процессом, циклическим или нециклическим. Ну, видите ли, все это очень необычно и интересно. Движение атомов, знаете ли, циклично. Устойчивые соединения состоят из компонентов, находящихся по отношению один к другому в правильном, периодическом движении. В сущности, именно крошечные, обратимые во времени атомные циклы сообщают материи постоянство, достаточное для того, чтобы была возможной эволюция. Маленькие вневременности, сложившись вместе, образуют время. А в большом масштабе — Космос; ну, как вы знаете, мы считаем, что вся вселенная представляет собой циклический процесс,

чередование расширений и сжатий, без каких-либо «до» или «после». Только внутри каждого из гигантских циклов, в которых мы живем, только там есть линейное время, эволюция, перемены. Так что у времени есть два аспекта. Один — стрела, текущая река; без него нет измерений, нет прогресса, нет направления, нет творения. И второй — кольцо, или цикл; без него — хаос, бессмысленная последовательность мгновений, мир без часов, без времен года, без обещаний.

— Невозможно утверждать два противоречащих друг другу положения относительно одной и той же вещи, — сказал Деарри со спокойствием высшего знания. — Иными словами, один из этих «аспектов» реален, а второй — просто иллюзия.

— Так говорили многие физики, — согласился Шевек.

— Но вы-то что говорите? — спросил тот, который хотел знать.

— Ну… я думаю, что это — легкий выход из затруднения… Можно ли отмахнуться как от иллюзий, либо от того, чтобы быть, либо от того, чтобы стать? Стать без того, чтобы быть, — бессмысленно. Быть без того, чтобы стать, — очень нудно… Если ум способен воспринять время в обоих аспектах, то истинная хронософия должна будет дать область, в которой станет возможно понять взаимосвязь этих двух аспектов или процессов времени.

— Но что толку в таком «понимании», — возразил Деарри, — если оно не дает результатов, применимых на практике, в технологии? Это просто игра словами, не так ли?

— Вы задаете вопросы, как настоящий спекулянт, — сказал Шевек, и ни один из присутствующих не понял, что он оскорбил Деарри, назвал его самым презрительным словом, какое знал; Деарри даже слегка кивнул, с удовлетворением принимая комплимент. Однако, Вэйя уловила натянутость и торопливо вмешалась:

— Знаете, я ведь не понимаю ни слова из того, что вы говорите, но мне кажется, что про книгу я все-таки поняла — что на самом деле все существует сейчас… но тогда мы могли бы предсказывать будущее? Раз оно уже есть?

— Нет, нет, — вовсе не застенчиво сказал застенчивый мужчина. — Оно есть не в том смысле, как диван или дом… время, знаете ли, — не пространство, по нему нельзя ходить!

Вэйя весело кивнула, точно обрадовалась тому, что ее поставили на место. Застенчивый, словно осмелев от того, что изгнал женщину из сфер высокой мысли, повернулся к Деарри и сказал:

— Мне кажется, что область применения темпоральной физики — этика. Вы бы согласились с этим, д-р Шевек?

— Этика? Не знаю. Я, видите ли, в основном занимаюсь математикой. Нельзя составить уравнение этического поведения.

— Почему нельзя? — спросил Деарри.

Шевек не обратил внимания и продолжал:

— Но хронософия действительно затрагивает этику, это верно. Потому что с нашим чувством времени связана наша способность отличать причину от следствия, средства от цели. Опять-таки, младенец, животное — они не видят разницы между тем, что они делают сейчас, и тем, что произойдет вследствие этого. Они не могут сделать лебедку или дать обещание. А мы можем. Видя разницу между «сейчас» и «не сейчас», мы способны уловить связь между ними. И тут на сцену выступает мораль. Ответственность. Говорить, что плохие средства приведут к хорошей цели — все равно, что сказать, что если я потяну за веревку на этом блоке, то она поднимет груз на другом. Нарушать обещания значит отрицать реальность прошлого; поэтому это не означает отрицать надежду на реальное будущее. Если время и разум — функции друг друга, если мы — создания времени, то нам следует знать это и попытаться использовать это наилучшим образом. Действовать, сознавая свою ответственность.

— Но послушайте, — сказал Деарри, несказанно довольный собственной

проницательностью, — вы же сами сейчас сказали, что в вашей системе Одновременности нет ни прошлого, ни будущего, а есть только нечто вроде вечного настоящего. Так как же вы можете нести ответственность за книгу, которая уже написана? Все, что вы можете делать — это читать ее. Не остается никакого выбора, никакой свободы действий.

— Это дилемма детерминизма. Вы совершенно правы, в симультаническом мышлении она подразумевается. Но в секвенциальном мышлении тоже есть своя дилемма. Ее можно проиллюстрировать таким детским примером: вы бросаете камень в дерево, и если вы — симультанист, то камень уже попал в дерево. А если вы — секвенциалист, то он никогда не долетит до него. Что же вы выбираете? Может быть, вы предпочитаете бросать камни, не задумываясь об этом, тогда выбирать не надо. А я предпочитаю усложнять и выбираю и то, и другое.

— А как… как вы их примиряете? — очень серьезно спросил застенчивый.

От отчаяния Шевек чуть не расхохотался.

— Не знаю. Я уже очень давно занимаюсь этой проблемой! В конце концов, камень все же попадает в дерево. Ни чистая последовательность, ни чистое единство не объясняет этого. Нам нужна не чистота проблемы, а комплексность, взаимосвязь причины и следствия, средства и цели. Наша модель космоса должна быть столь же неисчерпаемой, как и сам космос. Комплекс, включающий не только долговечность, но и творение, не только бытие, но и становление, не только геометрию, но и этику. Мы добиваемся не ответа, мы лишь хотим знать, как поставить вопрос…

— Все это прекрасно, но промышленности нужны ответы, — сказал Деарри.

Шевек медленно обернулся, взглянул на него сверху вниз и вообще ничего не сказал.

Наступило тяжелое молчание, в которое ворвалась Вэйя, грациозная и непоследовательная, вновь заговорив о предсказание будущего. Эта тема привлекла и других, и все начали делиться впечатлениями от визитов к гадалкам и ясновидящим.

Шевек решил больше ничего не говорить, о чем бы его не спрашивали. Ему еще сильнее хотелось пить; он протянул официанту свой бокал и выпил приятную шипучую жидкость. Он обвел взглядом комнату, других гостей, силясь рассеять этим гнев и чувство неловкости. Но они тоже вели себя очень эмоционально для иотийцев — кричали, громко смеялись, перебивая друг друга. Одна парочка в углу обнималась и целовалась. Шевек отвернулся — ему стало противно. Неужели они эгоизируют даже в сексе? Он считал, что ласкать друг друга и совокупляться на глазах у людей, не разбившихся на такие же пары, — так же непристойно, как есть на глазах у голодных. Он снова прислушался к тому, что говорили стоявшие рядом с ним. Теперь все они спорили о войне, о том, что предпримет Ту, и что предпримет А-Ио, и что предпримет СПП.

— Почему вы рассуждаете так абстрактно? — спросил он вдруг, сам удивляясь, что заговорил, хотя перед этим решил молчать. — Ведь это не названия стран, это люди убивают друг друга. Почему солдаты идут на войну? Почему человек идет и убивает людей, которых он даже не знает?

— Но ведь для того и существуют солдаты, — сказала маленькая женщина с очень белой кожей и с опалом в пупке. Несколько мужчин принялись объяснять Шевеку принцип национального суверенитета. Вэйя перебила:

— Дайте же ему сказать. Как бы вы расхлебали эту кашу, Шевек?

— Выход простой.

— Какой же?

— Анаррес!

— Но то, что вы все делаете там, на Луне, не решает наших здешних проблем.

— У людей всюду одна и та же проблема. Выживание. Вид, группа, индивид.

— Самозащита нации… — выкрикнул кто-то.

Они спорили с ним, он — с ними. Он знал, что он хочет сказать, и знал, что это должно всех убедить, потому что это ясно и верно, но почему-то никак не мог высказать это, как следует. Все кричали. Маленькая белокожая женщина похлопала по широкому подлокотнику кресла в котором сидела, и он сел на подлокотник. Ею выбритая, шелковистая головка выглядывала из-под его руки. Глядя на него снизу вверх, она сказала:

— Привет, Лунный Человек!

Вэйя сначала пошла к другой группе, но теперь она опять стояла возле него. Лицо ее раскраснелось, глаза казались большими и влажными. Ему показалось, что на другом конце комнаты мелькнул Паэ, но народу было столько, что лица сливались. Все происходило как-то отрывочно, с провалами между отрывками, как будто ему позволили из-за кулис, наблюдать в действии Цикличный Космос из гипотезы старой Гвараб.

— Необходимо поддерживать принцип законной власти, иначе мы просто выродимся в анархию! — громогласно заявил какой-то толстый нахмуренный мужчина. Шевек сказал:

— Да, да, выродитесь! У нас уже сто пятьдесят лет анархия.

Из-под подола расшитой сотнями мелких жемчужинок юбки маленькой белокурой женщины выглядывали пальцы ее ног в серебряных сандалиях. Вэйя сказала:

— Но расскажите же нам об Анарресе — какой он взаправду? Там действительно так чудесно?

Он сидел на подлокотнике кресла, а Вэйя устроилась на пуфике у его колен, поджав ноги, прямая и гибкая; ее мягкие груди не сводили с него своих слепых глаз; на ее раскрасневшимся лице играла самодовольная улыбка.

Что-то темное шевельнулось в сознании Шевека и заволокло темнотой все. У него пересохло во рту. Он допил до дна свой бокал, который только что наполнил официант.

— Не знаю, — сказал он. Язык плохо слушался его. — Нет. Там не чудесно. Это некрасивая планета. Не то, что эта. Анаррес — это сплошная пыль и иссохшие холмы. Все худосочное, все иссохшее. И люди некрасивые. У них большие руки и ноги, как у меня и у вон того официанта. Но у них нет больших животов. Они очень сильно пачкаются и моются в банях все вместе, здесь так никто не делает. Города очень маленькие, скучные и убогие. Дворцов нет. Жизнь скучная, труд тяжелый. Не всегда человек может иметь то, что хочет, и даже то, в чем нуждается, потому что на всех не хватает. У вас, у уррасти, всего хватает. Хватает воздуха, хватает дождя, травы, океанов, еды, музыки, зданий, заводов, машин, книг, одежды, истории. Вы богаты, вы владеете. Мы бедны, у нас ничего нет. Вы имеете — мы не имеем. Здесь все красиво, все, кроме лиц. На Анарресе все некрасиво, только лица красивы. Лица других, мужчин и женщин. У нас нет ничего, кроме этого, ничего, кроме друг друга. Здесь вы видите драгоценные камни, там — глаза. А в глазах — великолепие, великолепие человеческого духа. Потому что наши мужчины и женщины свободны, они ничем не владеют, и поэтому они свободны. А вы владеете, и поэтому владеют вами. Вы все — в тюрьме. Каждый — один, сам по себе, с кучей того, чем владеет. Вы живете в тюрьме и умираете в тюрьме. Это — все, что я могу разглядеть в ваших глазах — стена, стена!

Они все смотрели на него.

Он услышал, как в тишине еще звенит отзвук его громкого голоса, почувствовал, что у него горят уши. Темнота, пустота снова шевельнулись в сознании.

— У меня кружится голова, — сказал он и встал.

Вэйя оказалась рядом с ним.

— Идите сюда, — сказала она, подхватив его под руку, посмеиваясь и чуть задыхаясь. Она ловко пробилась между людьми, он шел за ней. Теперь он чувствовал, что он бледен,

головокружение не проходило; он надеялся, что она ведет его в умывальную или к окну, где он сможет подышать свежим воздухом. Но они пришли в большую комнату, слабо освещенную отраженным светом. У стены стояла высокая, большая, белая кровать; половину другой стены занимало зеркало. Душно, сладко благоухали портьеры, простыни, духи Вэйи.

— Вы невозможны, — сказала Вэйя с тем же задыхающимся смехом, становясь прямо перед ним и в полумраке снизу вверх заглядывая ему в лицо. — Право, это слишком… вы невозможны… вы великолепны! — Она положила руки ему на плечи.

— Ох, какие у них сделались физиономии! За это я должна вас поцеловать! — И она привстала на цыпочки, подставив ему губы, и белую шею, и голые груди.

Он схватил ее и начал целовать — сначала в губы, отгибая ей голову назад, потом шею и грудь. Она сперва обмякла в его руках, потом стала слегка вырываться, смеясь и слабо отталкивая его, и быстро заговорила:

— О, нет, нет, будьте же умницей, — говорила она. — Ну, перестаньте, нам надо вернуться к гостям. Нет, Шевек, да успокойтесь же, нельзя, понимаете нельзя!

Он не обращал внимания. Он потянул ее к кровати, и она подошла, хотя и не замолчала. Возясь одной рукой с сложной уррасской одеждой, он сумел расстегнуть штаны; оставалась еще одежда Вэйи, низкий, но тугой пояс юбки, с которым он не мог справиться.

— Ну перестаньте же, — сказала она. — Нет, Шевек, послушайте, нельзя, сейчас нельзя. Я же не приняла противозачаточную таблетку, что я буду делать, если влипну, мой муж вернется через две недели! Нет, пустите!

Но он не мог ее отпустить; он прижимался лицом к ее мягкому, потному, надушенному телу.

— Послушайте, не мните платье, люди же увидят, ради бога. Подождите… вы только подождите, мы что-нибудь устроим, можно будет найти место, где мы сможем встречаться, я же должна беречь свою репутацию, я не могу доверять своей горничной, да подождите же, не сейчас… Не сейчас! Не сейчас!

Испугавшись, наконец, его слепой настойчивости, его силы, она изо всех сил отталкивала его, упершись ладонями ему в грудь. Он сделал шаг назад, растерявшись от ее испуганной визгливой интонации, от ее сопротивления, но не мог остановиться; то, что она вырывалась, возбуждало его еще сильнее. Он судорожно прижал ее к себе, и его семя фонтаном брызнуло на белый шелк ее платья.

— Пустите меня! Пустите меня! — повторяла она тем же визгливым шепотом. Он отпустил ее и стоял, как во сне. Дрожащими пальцами он пытался застегнуть штаны.

— Я… прошу… прощения… Я думал, что вы хотите…

— О, Господи! — сказала Вэйя, в смутном свете разглядывая свою юбку, оттягивая от себя складки. — Ну, знаете ли! Теперь придется переодеваться.

Шевек стоял, открыв рот, с трудом дыша, бессильно уронив руки; потом резко повернулся и не твердым шагом вышел из полутемной комнаты. Вернувшись в ярко освещенную комнату, полную гостей, он с трудом пробился между людьми, споткнулся о чью-то ногу, ему преграждали путь тела, одежда, драгоценности, груди, глаза, пламя свечей, мебель. Проталкиваясь через все это, Шевек налетел на стол. На столе стояло блюдо, на котором концентрическими окружностями, образуя большой бледный цветок, были разложены крошечные пирожки, начиненные мясом, кремом и травами. Шевек судорожно вдохнул, согнулся пополам, и его вырвало прямо в блюдо.

— Я отвезу его домой, — сказал Паэ.

— Ох, ради всего святого, — ответила Вэйя. — Вы его искали, Саио?

— Да, немножко. К счастью, Демаэре позвонил вам.

— Вот и забирайте ваше сокровище.

— Он больше не будет шуметь — вырубился в холле. Можно мне от вас позвонить перед уходом?

— Кланяйтесь от меня шефу, — кокетливо сказала Вэйя.

Оииэ приехал на квартиру сестры вместе с Паэ и уехал вместе с ним. Они сидели на среднем сиденьи большого правительственного лимузина, который всегда был в распоряжении Паэ, того же самого, в котором прошлым летом Шевека привезли из космопорта. Сейчас он валялся на заднем сиденье так, как они его туда забросили, в полной отключке.

— Он весь день был с вашей сестрой, Демаэре?

— По-видимому, с полудня.

— Слава богу!

— Почему вы так боитесь, что он забредет в трущобы? Каждый одонианин и так глубоко убежден, что мы — стадо угнетенных рабов, существующих на жалкую зарплату, так не все ли равно, если он и увидит какое-то подтверждение?

— Мне безразлично, что увидит он. Мы не хотим, чтобы они увидели его. Вы не видели последних птичьих газет? Или листовок, которые ходили на прошлой неделе в Старом Городе, о «Предтече»? Миф о том, кто придет перед наступлением золотого века — «Чужой, изгой, изгнанник, несущий в пустых руках время, которое должно прийти». Они это цитировали. На чернь накатил очередной приступ их проклятого апокалиптического настроения. Ищут себе символ. Поговаривают о всеобщей забастовке. Сколько их ни учи — все напрасно. Но дать им урок необходимо. Проклятые мятежные скоты, только от них и пользы, что послать их воевать с Ту.

Всю остальную дорогу оба не проронили ни слова.

Ночной вахтер Дома Преподавателей Факультета помог им дотащить Шевека до его комнаты. Они положили его на кровать. Он сразу же захрапел.

Оииэ задержался, чтобы снять с пьяного ботинки и прикрыть его одеялом. Изо рта у него отвратительно пахло; Оииэ отошел от кровати и в душе у него, пытаясь задушить друг друга, поднялись страх и любовь, которые он почувствовал к Шевеку. Злобно нахмурившись, он пробормотал: «Грязный болван». Он выключил свет и вернулся в другую комнату. Паэ стоял у письменного стола и рылся в бумагах Шевека.

— Бросьте, — сказал Оииэ, и выражение отвращения на его лице стало сильнее. — Поедемте. Уже два часа ночи. Я устал.

— Что эта сволочь делала все это время, Демаэре? Здесь так ничего и нет — абсолютно ничего. Неужели он полный шарлатан? Неужели нас обманул паршивый крестьянин из Утопии? Где его Теория? Где наши мгновенные космические перелеты? Где наше преимущество перед хейнитами? Девять, десять месяцев мы кормим эту сволочь, и все напрасно!

Тем не менее, прежде, чем вслед за Оииэ направиться к двери, Паэ сунул в карман одну из бумаг.

Глава восьмая. АНАРРЕС

Они вшестером сидели в Аббенайском Северном парке, на стадионе; вечер был долгий, золотой, жаркий и пыльный. Все ощущали приятную сырость, потому что обед продолжался почти до самого вечера, был уличный праздник и пир, еду варили на кострах. Это был праздник середины лета, День Восстания, в память о первом большом восстании в Нио-Эссейя в 740-м году по уррасскому летоисчислению, почти двести лет назад. В этот день повара и работники столовых считались гостями всей остальной общины, им воздавали честь, потому что забастовку, которая привела к восстанию, начал синдикат поваров и официантов. На Анарресе было много таких традиций и праздников; некоторые были установлены Первопоселенцами, а другие, как праздники урожая и Праздник Солнцестояния, возникли сами собой из ритмов жизни на планете и из потребности тех, кто работал вместе, праздновать вместе.

Они разговаривали, все, кроме Таквер — довольно лениво. Она протанцевала несколько часов подряд, съела уйму жареного хлеба и солений и чувствовала себя очень оживленной.

— Почему Квигота направили на рыбозавод на Керанском море, где ему придется все начинать с нуля, а его здешнюю программу исследований передали Туриб? — говорила она. Ее исследовательский синдикат влили в проект, которым руководило непосредственно КПР, и она стала горячей сторонницей многих идей Бедапа. — Потому что Квигот — хороший биолог, но не согласен с устаревшими теориями Симаса, а Туриб — ничтожество, которое в бане трет Симасу спину. Вот посмотрите, кому передадут руководство программой, когда Симас уйдет на покой. Ей, Туриб, и передадут, бьюсь об заклад!

— Что означает это выражение? — спросил кто-то, не расположенный к социальной критике.

Бедап, который с тех пор, как у него начало расти брюшко, стал серьезно относиться к занятиям спортом, старательно бегал трусцой вокруг игрового поля. Остальные сидели на пыльной скамейке под деревьями и предавались словесным упражнениям.

— Это иотийское выражение, — сказал Шевек. — Уррасти так играют с вероятностями. Кто угадает правильно, тот получает собственность другого. — Он уже давно перестал соблюдать запрет Сабула упоминать о своих занятиях иотийским языком.

— Как же их выражение попало в правийский язык?

— Первопоселенцы, — ответил кто-то. — Им пришлось выучить правийский уже взрослыми; должно быть, они долго думали на старом языке, Я где-то читал, что в Словаре правийского языка нет выражения «черт возьми» — оно тоже иотийское. Когда Фаригв изобрел правийский язык, он не снабдил его ругательствами, а если и снабдил, то его компьютеры не поняли, зачем они нужны.

— Тогда что такое ад? — спросила Таксер. — Я в детстве думала, что это — склад дерьма в городе, где я выросла. «Убирайся в ад!» — в место, хуже которого не бывает.

Десар, математик, который принял постоянное назначение в Институт, и который все еще крутился вокруг Шевека, хотя редко заговаривал с Таквер, сказал в своем телеграфном стиле:

— Означает Уррас.

— На Уррасе это означает место, куда ты попадаешь, когда тебя возьмет черт.

— Это — назначение на Юго-Запад летом, — сказала эколог, старая приятельница Таквер.

— Это в религиозной модальности, по-иотийски.

— Я знаю, Шев, что тебе приходится читать по-иотийски, но разве тебе обязательно читать о религии?

— Некоторые старинные уррасские труды по физике написаны сплошь в религиозной

модальности. Встречаются такие понятия. «Ад» означает место абсолютного зла.

— Склад навоза в Круглой Долине, — сказала Таквер. — Так я и думала.

Подбежал совершенно вымотанный Бедап, весь в белой пыли, в которой промыли дорожки струйки пота. Он тяжело плюхнулся на скамью рядом с Шевеком, пыхтя и отдуваясь.

— Скажи что-нибудь по-иотийски, — попросила Ричат, одна из студенток Шевека. — Как это звучит?

— Ты же знаешь: «ад»; «черт возьми».

— Нет, ты перестань на меня ругаться, — хихикнув, сказала девушка, — и скажи целую фразу.

Шевек добродушно проговорил какую-то иотийскую фразу.

— Я точно не знаю, как это произносится, — добавил он. — Я просто произношу наугад.

— А что это значит?

— «Если ход времени — свойство человеческого сознания, то прошлое и будущее — функция разума». Это из одного пре-секвенциалиста, Керемчо.

— Как странно думать, что вот люди говорят, а ты не можешь их понять!

— Они даже друг друга понять не могут. Они говорят на сотнях разных языках, все эти сумасшедшие архисты на Луне…

— Воды, воды… — сказал Бедап, все еще тяжело дыша.

— Воды нет, — сказала Террус. — Дождя не было восемнадцать декад. Если точно — сто восемьдесят три дня. Самая долгая засуха в Аббенае за последние сорок лет.

— Если так пойдет дальше, придется нам регенерировать мочу, как пришлось делать в 20-м году. Не угодно ли стаканчик писюлек, Шев?

— Не шутите, — сказала Террус. — Это нитка, по которой мы идем. Будет ли достаточно дождей? Урожай листьев на Южном Взгорье уже погиб. Там дождя не было тридцать декад.

Все посмотрели на золотистое, подернутое дымкой небо. Зубчатые листья деревьев, под которыми они сидели, экзотических растений Старой Планеты, обвисли на ветвях, пыльные, скрученные от безводья.

— Второй Великой Засухи не будет, — возразил Десар. — Современные опреснительные установки, предотвратят.

— Может быть, они помогут смягчить ее, — ответила Террус.

Зима в этом году наступила рано, В Северном Полушарии — холодная и сухая. Ветер носил по низким широким улицам Аббеная замерзшую пыль. Вода в банях была строго нормирована: жажда и голод важнее чистоплотности. Еду и одежду двадцатимиллионному населению Анарреса давало растение холум: листья, семена, волокно, корни. На складах были кое-какие запасы текстиля, но больших резервов пищи на Анарресе не бывало никогда. Большая часть воды уходила на нужды сельского хозяйства, чтобы не погиб холум. Небо над головой было безоблачным и было бы ясным, если бы его не затягивала дымкой желтая пыль, которую ветер приносил с юга и с запада, где засуха была еще сильнее. Иногда, когда ветер дул с гор Нэ-Тэра, желтое марево рассеивалось, открывая ослепительное, пустое небо, темно-синий цвет которого в зените твердел и переходил в лиловый.

Таквер была беременна. Большей частью она была сонной и благодушной.

— Я — рыба, — говорила она, — рыба в воде. Я — внутри младенца, который внутри меня.

Но временами она слишком уставала на работе или была голодна, потому что в столовых слегка уменьшили порции. Беременные женщины, а также дети и старики, могли ежедневно в одиннадцать часов получать легкий второй завтрак, но Таквер часто пропускала его из-за строго расписания своей работы. Она-то могла пропустить еду, а вот рыбы в ее лаборатории — нет. Друзья часто приносили ей что-нибудь сэкономленное от своего обеда или остатки из их

столовых — булочку с начинкой или кусок какого-нибудь плода. Она с благодарностью съедала все, но ей непрерывно хотелось сладкого, а сладостей было очень мало. Когда она уставала, она нервничала и расстраивалась из-за пустяков и могла взорваться от лю бого слова.

Поздней осенью Шевек закончил рукопись «Принципов Одновременности». Он отдал ее Сабулу для рекомендации к печати. Сабул держал ее декаду, две декады, три декады и ничего не говорил. Шевек спросил его о рукописи. Сабул ответил, что у него до нее еще руки не дошли, он слишком занят. Шевек стал ждать. Наступила середина зимы. День за днем дул сухой ветер; земля промерзла. Казалось, все замерло, тревожно замерло в ожидании дождя, рождения.

В комнате было темно. В городе только что зажглись фонари; под высоким, темно-серым небом свет их казался слабым. Таквер вошла, зажгла лампу, не снимая пальто, скорчилась у решетки калорифера.

— Ох, какой холод! Ужас! У меня ноги застыли, будто я ходила по леднику. Они так болели, что я чуть не плакала, когда шла домой. Паршивые спекулянтские сапоги! Почему мы не способны делать нормальные сапоги? А ты чего сидишь в темноте?

— Не знаю.

— Ты ходил в столовую? Я чуть-чуть перекусила в «Остатках» по дороге домой. Мне обязательно нужно было остаться, у кукури из икры начали вылупляться мальки, и нам пришлось отсаживать эту мелкоту из аквариумов, чтобы взрослые их не слопали. Ты ел?

— Нет.

— Ну, не злись. Пожалуйста, не злись сегодня. Если еще хоть что-нибудь пойдет не так, я разревусь. Мне уже надоело все время реветь. Проклятые дурацкие гормоны! Вот бы мне рожать детей так, как рыбы — выметать икру и уплыть, и все дела. Разве что я приплыла бы обратно и съела бы их… Ну, что ты сидишь, как истукан? Перестань. Я просто не могу этого видеть.

Она скорчилась, пытаясь онемевшими от холода пальцами расшнуровать сапоги, и на глазах у нее уже выступили слезы.

Шевек молчал.

— Да что случилось-то? Ты же не просто так сидишь!

— Меня сегодня вызвал Сабул. Он не будет рекомендовать «Принципы» ни для публикации, ни для экспорта.

Таквер через перестала воевать со шнурком и замерла. Она посмотрела на Шевека через плечо. Наконец она спросила:

— Что именно он сказал?

— Вон, на столе его рецензия.

Таквер встала, проковыляла в одном сапоге к столу и прочла отзыв, наклонившись над столом, засунув руки в карманы пальто.

— «Со времен Заселения Анарреса общепринятым принципом является то, что столбовая дорога хронософской мысли в Одонианском Обществе — это Секвенциальная Физика. Эгоистическое отклонение от этой солидарности принципа может привести лишь к бесплодному сочинению лишенных практической перспективы гипотез, бесполезных в социально-органическом отношении, или к повторению суеверно-религиозных умствований безответственных ученых — наемников Спекулянтских Государств Урраса…» Ох, спекулянт! Мелочный, завистливый, жалкий человечишка, сыплющий цитатами из Одо! Он пошлет этот отзыв в Федерацию Печати?

— Уже послал.

Таквер опустилась на колени, чтобы стащить второй сапог. Несколько раз она поднимала взгляд на Шевека, но не подошла к нему, не попыталась прикоснуться к нему и некоторое время молчала. Когда она заговорила, голос у нее был уже не громкий и напряженный, как раньше, а

хрипловатый и словно пушистый, как всегда.

— Что ты будешь делать, Шев?

— Тут ничего не поделаешь.

— Мы сами напечатаем эту книгу. Образуем типографский синдикат, научимся набирать и напечатаем.

— Бумага строго нормирована. Можно печатать только самое существенное. Пока плантации древесного холума остаются под угрозой, — только публикации КПР.

— Тогда, может быть, ты бы представил это как-то иначе? Украсил бы отделкой из Теории Последовательности. Так, чтобы он уже не возражал.

— Черное под белое не замаскируешь.

Она не спросила, не может ли он как-нибудь обойти Сабула или действовать через его голову. Считалось, что на Анарресе ни над чьей головой никого нет, как нет и обходных путей. Не можешь работать в солидарности со своими синдикатами — работаешь один.

— Что, если… — Она замолчала, встала и поставила сапоги к калориферу сушиться. Сняла пальто, повесила его и набросила на плечи толстую домотканую шаль. Села на постельный помост, слегка кряхтя на последних дюймах. Посмотрела снизу вверх на Шевека, сидевшего между нею и окном в профиль к ней.

— А если бы ты предложил ему быть твоим соавтором? Как с той, первой твоей статьей?

— Сабул не поставит свое имя под «суеверно-религиозными умствованиями».

— Ты уверен? Ты уверен, что это — не то, чего он как раз и хочет? Он понимает, что это такое, что ты сделал. Ты всегда говорил, что он соображает, что к чему. Он понимает, что твоя работа отправит и его, и всю школу секвенциалистов в контейнер для утильсырья. Но если бы он смог разделить ее с тобой, разделить с тобой это достижение? Он весь — сплошное эго, и только. Если бы он мог сказать, что это его книга…

Шевек с горечью сказал:

— Да мне с ним что этой книгой поделиться, что тобой.

— Шев, не смотри на это так. Ведь важна сама книга — ее идеи. Вот послушай. Мы ведь хотим оставить этого ребенка, который должен родиться, у себя, пока он маленький, мы хотим его любить. Но если бы по какой-то причине он должен был бы умереть, если останется у нас, если бы он смог выжить только в яслях, если бы нам никогда нельзя было бы его видеть, даже знать его имя, что бы мы выбрали? Оставить себе мертвого? Или дать жизнь?

— Не знаю, — сказал Шевек. Он взялся за голову, до боли потер лоб. — Да, конечно. Да. Но это… Но я…

— Брат, милый, — сказала Таквер. Она стиснула руки на коленях, но не потянулась к нему. — Не важно, какое на книге имя. Люди поймут. Истина — сама книга.

— Эта книга — я, — сказал он. Потом закрыл глаза и замер. Тогда Таквер подошла к нему, робко, касаясь его так осторожно и ласково, точно прикасалась к ране.

В начале 164 г. в Аббенае был издан первый, неполный, жестко отредактированный вариант «Принципов Одновременности», соавторами которого числились Сабул и Шевек. КПР печатало только самые важные протоколы и директивы, но Сабул имел влияние в Федерации Печати и убедил их в высокой пропагандистской ценности этой книги за пределами Анарреса. Уррас, сказал он, ликует от того, что на Анарресе — засуха и угроза голода; последняя партия доставленных с Урраса журналов полна предсказаний неминуемого краха одонианской экономики. Какое опровержение было бы весомее этого, — говорил Сабул; весомее, чем публикация крупной, чисто теоретической работы, монументального научного труда, который, как он писал во втором варианте своей рецензии, «возвышается над материальными невзгодами, доказывая неистощимую жизнеспособность Одонианского Общества и его торжество над

анархской собственнической идеологией во всех областях человеческой мысли».

Поэтому работа была напечатана; и пятнадцать из трехсот экземпляров отправились на борт иотийского грузового планетолета «Внимательный». Шевек даже не открыл печатный материал книги. Но в посылку, предназначенную для экспорта, он вложил рукописный экземпляр исходного, полного варианта. На обложке он написал, что автор просит передать эту рукопись и его привет д-ру Атро на Факультет Благородной Науки Иеу-Эунского Университета. Не было сомнения, что Сабул, который должен был окончательно разрешить отправление посылки, заметил это добавление. Вынул ли он рукопись или оставил, Шевек не знал. Он мог конфисковать ее просто назло; мог и пропустить ее, зная, что сокращенный и оскопленный им вариант не произведет на уррасских физиков желаемого впечатления. Шевеку он ничего не сказал про рукопись. Шевек о ней не спросил.

Той весной Шевек вообще мало разговаривал. Он добровольно отправился на строительство нового водорегенерационного завода в Южном Аббенае и большую часть дня либо проводил на этой работе, либо преподавал. Он вернулся с своим субатомным исследованиям и часто проводил вечера в Институте — на ускорителе или в лабораториях, со специалистами по частицам. С Таквер и с друзьями он держался спокойно, серьезно, ласково и холодно.

У Таквер сделался очень большой живот и походка человека, который несет большую, тяжелую корзину, полную белья. Она не бросала работу в рыбных лабораториях, пока не нашла и не обучила подходящую замену себе, после чего отправилась домой и начала рожать, на декаду с лишним позже срока. Шевек вернулся домой перед вечером.

— Сходи-ка за акушеркой, — сказала Таквер. — Скажи ей, что схватки — через каждые четыре-пять минут, но особенно не учащаются, так что можешь не очень спешить.

Но он заспешил; а когда оказалось, что акушерки нет на месте, его охватила паника. Не было ни акушерки, ни квартального медика, и они не оставили на двери записки, где их искать, хотя обычно оставляли. У Шевека больно заколотилось сердце, и все стало ему ужасающе ясно. Он понял, что это отсутствие помощи — дурной знак. Он отдалился от Таквер с этой зимы, с тех пор, как принял решение о книге. А она становилась все тише, все пассивнее, все терпеливее. Теперь он понял эту пассивность: так она готовилась к смерти. Она отдалилась от него, а он даже не попытался последовать за ней. Он обращал внимание только на свою обиду, на свою боль, а ее страха — или мужества — не замечал. Он оставил ее в покое, потому что хотел, чтобы оставили в покое его, и она пошла одна, и ушла далеко, слишком далеко, и так и будет идти дальше одна, всегда, вечно.

Он побежал в квартальную клинику и прибежал туда, задыхаясь, шатаясь, так что там подумали, что у него сердечный припадок. Он объяснил. Они передали вызов другой акушерке и велели ему идти домой — партнерше сейчас нужно, чтобы с ней кто-нибудь был. Он пошел домой, и с каждым шагом в нем росла паника, ужас, уверенность, что он ее потеряет.

Но, придя домой, он не смог опуститься перед Таквер на колени и попросить у нее прощения, хотя ему отчаянно хотелось сделать это. У Таквер не было времени на эмоциональные сцены; она была занята. Пока он ходил, она убрала со спального помоста все, кроме чистой простыни, и теперь работала — рожала ребенка. Она не выла и не визжала, потому что ей не было больно, но каждую потугу она регулировала, управляя мышцами и дыханием, а потом шумно отдувалась: «Уфф», — как человек, который со страшным усилием поднимает большую тяжесть. Шевек впервые в жизни увидел работу, на которую до такой степени уходили все силы организма.

Он не мог смотреть на такую работу, не пытаясь помочь в ней. Во время потуг оказалось очень удобно держаться за него руками и упираться в него ногами. Они очень быстро дошли до этого методом проб и ошибок и продолжали пользоваться этим способом и после прихода

акушерки. Таквер родила, сидя на корточках, прижавшись лицом к бедру Шевека, вцепившись руками в его напрягшиеся руки.

— Вот и готово, — спокойно сказала акушерка под хриплое, как пыхтение паровоза, учащенное дыхание Таквер, и подхватила появившееся на свет существо, покрытое слизью, но явно человеческого происхождения. За ним хлынула струя крови и выпала бесформенная масса чего-то неживого, не похожего на человека. Панический страх, уже забытый Шевеком, вернулся и удвоился. То, что он увидел — была смерть. Таквер отпустила его руки и обмякшим комочком лежала у его ног. Он нагнулся к ней, оцепенев от ужаса и горя.

— Правильно, — сказала акушерка, — помоги ее отодвинуть, чтобы я могла убрать все это.

— Я хочу вымыться, — слабым голосом сказала Таквер.

— Ну-ка, помоги ей помыться. Вон там стерильное белье.

— Уаа, уаа, уаа, — сказал другой голос.

Казалось, в комнате полно людей.

— Ну, вот, — сказала акушерка. — Давай-ка положи младенца обратно к ней, к груди, чтобы остановить кровотечение. Мне надо отнести эту плаценту в клинику, в морозилку. Я через десять минут вернусь.

— А где… где… это…

— В кроватке! — ответила акушерка, выходя из комнаты. Шевек отыскал взглядом очень маленькую кроватку, которая уже четыре декады стояла в углу наготове, и младенца в ней. Среди всех этих нахлынувших событий акушерка каким-то образом нашла время привести младенца в порядок и даже надеть на него рубашечку, так что теперь он был уже не такой скользкий и рыбообразный, как когда Шевек увидел его впервые. Уже стемнело — с той же странной быстротой, как будто время прошло мгновенно. Лампа была включена. Шевек взял ребенка на руки, чтобы отнести Таквер. Личико у него было неправдоподобно маленькое, с большими сомкнутыми веками, хрупкими с виду.

— Дай сюда, — говорила Таквер. — Ну скорее же, пожалуйста, дай же мне его.

Он пронес младенца по комнате и очень осторожно отпустил его на живот Таквер.

— Ах! — сказала она; это был вздох чистого торжества.

— А кто оно? — сонно спросила она немного спустя.

Шевек сидел рядом с ней на краю спального помоста. Он провел тщательное исследование, несколько оторопев от длины рубашки по сравнению с крайне короткими ногами существа.

— Девочка.

Вернулась акушерка, стала наводить порядок.

— Сработали вы оба первоклассно, — заметила она. Они кротко согласились.

— Я утром загляну, — пообещала она, уходя. Младенец и Таквер уже спали. Шевек положил голову рядом с головой Таквер. Он привык к приятному мускусному запаху ее кожи. Теперь запах изменился, в густой и слабый аромат, сонно-густой. Таквер лежала на боку, младенец — у ее груди. Шевек очень осторожно обнял ее одной рукой. Он уснул в комнате, где воздух был пропитан жизнью.

Одонианин вступает в моногамию точно так же, как в любое другое совместное предприятие, будь то балет, мыловаренная фабрика или еще какое-нибудь производство. Партнерство для одониан — добровольно образованная федерация, такая же, как любая другая. Пока в нем все ладится, оно действует, а если не ладится — оно перестает существовать. Оно — не институт, а функция. Единственная его санкция — санкция личной совести.

Это вполне согласуется с одонианской социальной теорией. Ценность обещания, даже обещания с неопределенным сроком, глубоко укоренилась в мышлении Одо; казалось бы, то, что она так упорно настаивает, что каждый человек свободен в своем праве изменяться, должно

было бы обесценить идею обещания или обета, однако, фактически эта свобода наполняла обещание смыслом. Обещание есть взятое направление, добровольно избранное самоограничение. Как подчеркивала Одо, если направление не выбрано, если человек никуда не идет, то не произойдет никаких изменений. Его свобода выбирать и изменяться останется не использованной, точно так, как если бы он был в тюрьме, им же самим построенной, в лабиринте, где любой путь не лучше любого другого. Так Одо пришла к пониманию того, что обещание, обязательство, идея верности — существенные компоненты сложнейшего понятия «свобода».

Многие считали, что эта идея верности неприменима к половой жизни. Они говорили, что женская натура Одо склонила ее к отказу от истинной сексуальной свободы; это, пусть даже только это, Одо написала не для мужчин. Это критическое замечание высказывали не только мужчины, но в равной мере и женщины, поэтому можно было считать, что Одо не понимала не мужскую психологию, а психологию целого типа или слоя человечества, людей, для которых вся суть сексуального наслаждения заключена в эксперименте.

Хотя Одо, быть может, и не понимала людей, склонных к беспорядочным связям, и, вероятно, считала такую склонность собственническим отклонением от нормы, все же ее учение больше подходило для них, чем для тех, кто хотел вступить в длительное партнерство, поскольку люди — вид, связывающийся скорее на время, чем попарно. Никакие занятия сексом любого вида не ограничивались ни законом, ни наказанием, ни неодобрением, за исключением изнасилования ребенка или женщины. В этих случаях, если насильник сам быстренько не отдавал себя в более ласковые руки одного из лечебных центров, его соседи обычно подвергали его скорому возмездию. Но в обществе, где полное удовлетворение всех желаний с момента полового созревания являлось нормой, и единственным, притом мягким, социальным ограничением в отношении сексуальной активности было требование уединения — некий вид стыдливости, обусловленный общинной жизнью — изнасилования были крайне редки.

С другой стороны, те, кто решил создать и поддерживать партнерство, неважно, гомосексуальное или гетеросексуальное, сталкивались с проблемами, неведомыми тем, кого устраивает первый попавшийся партнер. Им приходилось иметь дело не только с ревностью, собственническим инстинктом и другими болезненными проявлениями страсти, для которых моногамный союз служит такой прекрасной почвой, но и с внешними трудностями, обусловленными социальной организацией. Вступая в партнерство, каждая пара знала, что их в любую минуту могут разлучить потребности распределения рабочей силы.

РРС — управление распределения рабочей силы — старалось держать пары вместе и по их просьбе воссоединять их при первой же возможности, но это не всегда удавалось, особенно при экстренных мобилизациях; да никто и не ждал от РРС, что оно ради этого будет заново составлять все списки и менять программы в компьютерах. Каждый анаррести знал: для того, чтобы выжить, чтобы жизнь шла нормально, он должен быть готов отправиться туда, где он нужен, и делать то, что нужно. Он рос в сознании того, что распределение рабочей силы — один из основных факторов жизни, непосредственная, постоянная социальная необходимость, тогда как партнерство — всего лишь личная проблема.

Но когда ты добровольно выбрал какое-то направление и беззаветно следуешь ему, то может показаться, что все способствует этому. Так, возможность и реальность разлуки часто укрепляли преданность партнеров друг другу. Хранить неподдельную добровольную верность в обществе, не имеющем ни юридических, ни моральных санкций против неверности, хранить ее в добровольной разлуке, которая может начаться в любой момент и длиться, быть может, годы — это было своего рода испытание. Но человек любит, чтобы его испытывали, ищет свободу в невзгодах.

В 164 г. вкус свободы такого рода ощутили многие люди, никогда прежде к ней не стремившиеся, и он понравился им; им понравилось ощущение проверки сил, чувство опасности. Засуха, начавшаяся летом 163 года, не ослабела и зимой. К лету 164 года начались трудности и появилась угроза катастрофы в случае, если засуха не кончится.

Нормы питания были строго ограничены; наборы рабочей силы были строго обязательны. Усилия вырастить достаточное количество пищи и распределить ее стали судорожными, отчаянными. Но люди нисколько не отчаивались. Одо писала: «Ребенок, свободный от вины владения и от бремени экономической конкуренции, вырастет согласным делать то, что нужно сделать, и способным радоваться тому, что он это делает. Сердце гнет лишь бесполезная работа. Радость кормящей матери, ученого, удачливого охотника, хорошего повара, искусного умельца, любого, кто делает нужную работу и делает ее хорошо, — эта долговечная, прочная радость, быть может, есть глубочайший источник человеческих привязанностей и социального чувства в целом». В этом смысле в Аббенае тем летом во всем была некая скрытая радость. Как бы ни тяжела была работа — все работали с легким сердцем, готовые отбросить все заботы в ту же минуту, как будет сделано все, что возможно сделать. Старое, затертое слово «солидарность» обрело новую жизнь. Есть радость в том, чтобы обнаружить, что связь оказалась прочнее, чем все, что грозит ее разорвать.

В начале лета КПР расклеило плакаты, предлагавшие людям сократить свой рабочий день примерно на час, потому что норма белков, которую сейчас выдают в столовых, недостаточна для компенсации полного нормального расхода энергии. Бившая ключом жизнь городских улиц уже начала притихать. Люди, рано закончив работать, слонялись по площадям, играли в кегли в засохших парках, сидели в дверях мастерских и заговаривали с прохожими. Население города заметно уменьшилось, потому что несколько тысяч человек отправились, добровольно или по мобилизации, на неотложные сельскохозяйственные работы. Но взаимное доверие ослабляло подавленность и тревогу. Люди безмятежно говорили: «Поможем друг другу продержаться — и продержимся». Под самой поверхностью лежали огромные запасы жизнеспособности. Когда в северных предместьях высохли источники, добровольцы — специалисты и не специалисты, взрослые и подростки — работая в свободное время, проложили временные трубопроводы из других районов города, причем управились за тридцать часов.

В конце лета Шевека мобилизовали на сельскохозяйственные работы на Южное Взгорье, в общину Красные Ключи. Возлагая надежды на дождь, который прошел в сезон экваториальных гроз, там пытались получить урожай зернового холума, посеяв и сжав его до того, как возобновится засуха.

Шевек знал, что его должны мобилизовать, потому что его работа на стройке закончилась, и он записался в общие списки свободной рабочей силы. Все лето он был занят только тем, что преподавал свой курс, читал, добровольно участвовал в экстренных работах в квартале и возвращался домой к Таквер и малышке. Через пять декад после родов Таквер снова начала ходить в лабораторию, но только по утрам. Как кормящей матери, ей полагались дополнительные белки и углеводы, и она всегда брала в столовой и то, и другое: теперь ее друзья уже не могли делиться с ней лишней едой, потому что лишней еды не было. Она похудела, но выглядела хорошо, а ребенок был маленький, но крепкий.

Шевеку ребенок доставлял уйму радости. По утрам он оставался с дочкой один (они оставляли ее в яслях только на то время, что он преподавал или был на добровольных работах) и чувствовал себя необходимым; а в этом чувстве заключается и бремя отцовства или материнства, и его награда. Девочка была умненькая, очень живо на все реагировала; для Шевека она была идеальной слушательницей его постоянно подавляемых словесных фантазий, которые Таквер называла его сумасшедшинкой. Он сажал малышку к себе на колени и читал ей фантастические

лекции по космологии, объяснял, как получается, что время — это самом деле пространство, только вывернутое наизнанку, и, таким образом, хрон — это вывернутые наизнанку внутренности кванта, а расстояние — одно из случайных свойств света. Он давал девочке пышные и постоянно меняющиеся прозвища и декламировал ей нелепые мнемонические стишки: «Время быстротечно, вечно-бесконечно, супермеханично, суперорганично — ОП!» — и на «оп» невысоко подбрасывал малышку в воздух, а она пищала и размахивала пухлыми ручонками. Оба получали от этих упражнений огромное удовольствие. Когда Шевек получил вызов на сельхозработы, ему было очень тяжело расставаться со всем этим. Он надеялся, что его направят поближе к Аббенаю, а не на другой край планеты, на Южное Взгорье. Но вместе с неприятной необходимостью на шестьдесят дней покинуть Таквер и дочку пришла твердая уверенность, что он к ним вернется. Пока он в этом уверен, ему не на что жаловаться.

Вечером накануне его отъезда пришел Бедап. Он поел вместе с ними в институтской столовой, и они вместе вернулись в комнату. Они сидели и разговаривали. Вечер был жарким, они не стали включать лампу и открыли окна. Бедап, который питался в маленькой столовой, где поварам не было трудно выполнять специальные просьбы, всю декаду копил свою норму напитков и принес ее всю — литровую бутылку фруктового сока. Он с гордостью выставил ее на стол: отвальная вечеринка. Они разделили сок и с наслаждением смаковали, причмокивая языками.

— Помнишь, — сказала Таквер, — сколько было еды на вечеринке перед твоим отъездом с Северного Склона? Я этих жареных лепешек тогда девять штук съела.

— У тебя тогда были короткие волосы, — сказал Шевек, изумленный этим воспоминанием, которое он раньше никогда не связывал с Таквер. — Это ведь была ты, правда?

— А ты думал, кто?

— Черт возьми, каким ты тогда была ребенком!

— И ты тоже, ведь десять лет прошло. Я подстриглась, чтобы выглядеть интересной, не такой, как все. Но это ничуть не помогло! — Она рассмеялась своим громким, жизнерадостным смехом, но быстро подавила его, чтобы не разбудить малышку, спавшую в кроватке за ширмой. Впрочем, разбудить эту девочку, когда она уже заснула, не могло ничто.

— Мне все время хотелось быть не такой, как все. Интересно, почему?

— Примерно в двадцать лет наступает момент, — сказал Бедап, — когда приходится выбирать, быть ли таким, как все, или всю жизнь ставить свои странности себе в заслугу.

— Или, по крайней мере, принимать их со смирением, — добавил Шевек.

— У Шева приступ смирения, — сказала Таквер. — Это старость подошла. Ужасно, должно быть, когда тебе тридцать лет.

— Не беспокойся, ты и в девяносто не смиришься, — сказал Бедап, похлопав ее по спине. — Ты хоть с именем своего ребенка смирилась или нет?

Пяти и шестибуквенные имена, которые выдавал компьютер центральной регистратуры, не повторялись: имя каждого человека, живущего в данное время на Анарресе, было уникально. Эти имена заменяли номера, которые в противном случае компьютеризованное общество должно было бы присваивать своим членам. Анаррести не нужно было никакое удостоверение личности, кроме его имени. Поэтому имя считалось существенной частью личности, хотя человек точно также не выбирал его, как свой нос или рот. Таквер не нравилось имя, которое получила девочка: Садик.

— Все равно, оно звучит, словно тебе напихали полный рот гравия, — сказала она. Оно ей не подходит.

— А мне оно нравится, — возразил Шевек. — Оно звучит, как имя высокой, стройной девушки с длинными черными волосами.

— Но она-то — маленькая толстенькая девочка с невидимыми волосами, — заметил Бедап.

— Дай ей время подрасти, брат! Слушайте, я хочу сказать речь.

— Речь! Речь!

— Шшш…

— Чего «шшш», этого ребенка и землетрясение не разбудит.

— Тихо. Я расчувствовался. — Шевек поднял чашку с фруктовым соком. — Я хочу сказать… Вот что я хочу сказать. Я рад, что Садик родилась сейчас. В трудный год, в тяжелое время, когда нам необходимо наше общество. Я рад, что она родилась сейчас и здесь. Я рад, что она — одна из нас, одонианка, наша дочь и наша сестра. Я рад, что она — сестра Бедапа. Что она — сестра Сабула, даже Сабула! Вот за какую надежду я пью: что всю свою жизнь Садик будет любить своих братьев и сестер так же сильно, так же радостно, как я сейчас, в этот вечер. И что пойдет дождь…

КПР, которое больше всех пользовалось радио, телефоном и почтой, координировало работу средств дальней связи, так же, как и движение поездов и кораблей дальнего следования. Поскольку на Анарресе не было «бизнеса» в смысле рекламы, капиталовложений, сделок и т. п., почта состояла в основном из переписки между промышленными и профессиональными синдикатами, их директив и информационных бюллетеней КПР и небольшого числа личных писем. Живя в обществе, где каждый может, как только захочет, переехать туда, куда захочет, анаррести были склонны искать друзей там, где они находились сейчас, а не там, где они были раньше. Внутри общины телефонами пользовались редко — не настолько велики были общины. Даже Аббенай в своих «кварталах» придерживался строгой региональности: полуавтономных «соседств», где каждый мог пешком добраться к любому нужному ему человеку или в любое нужное ему место. Поэтому телефонные разговоры были главным образом междугородными, и ими занималось КПР: личные разговоры надо было заказывать заранее, по почте, или вместо личного разговора просто сообщали в центр КПР, что нужно передать такому-то. Письма отправляли незапечатанными, разумеется, не по закону, а по традиции. Личное общение на дальнем расстоянии обходилось дорого — и в смысле материалов, и в смысле труда, — а так как и частная, и общественная экономика были одинаковы, то к переписке или телефонным разговорам, в которых не было необходимости, относились неодобрительно. Это была пошлая привычка, отдававшая эгоизированием. Вероятно, поэтому письма и не запечатывали: ты не имел права просить людей передавать письма, которые они не могут прочесть. Если тебе везло, твое письмо отправлялось на одном из почтовых дирижаблей КПР, а если не везло — на товарном поезде. В конце концов оно попадало в почтовое депо того города, куда было адресовано, и — поскольку почтальонов не было — лежало там, пока кто-нибудь не говорил адресату, что ему письмо, и он не приходил за ним. Однако, что необходимо, а что не нужно, человек решал сам. Шевек и Таквер писали друг другу регулярно, примерно раз в декаду. Он писал:

Поездка была неплохая, три дня, без пересадки, пассажирским гусеничным автофургоном. Набор наш большой, говорят, три тысячи человек. На эти края засуха повлияла гораздо сильнее. Но не на нехватку продуктов. Нормы еды в столовых такие же, как в Аббенае, только здесь каждый день оба раза дают вареную зелень гара, потому что местный избыток. Мы уже тоже начинаем чувствовать, что она здесь в избытке. Но самое тяжелое здесь — климат. Здесь — Пыль. Воздух сухой, и все время дует ветер. Бывают недолгие дожди, но уже через час после дождя земля подсыхает, и начинает подниматься пыль. В этом сезоне здесь выпало меньше половины годовой нормы осадков. У всех, кто приехал по набору, потрескались губы, идет носом кровь, воспалились глаза и начался кашель. Из тех, кто живет в Красных Ключах постоянно, очень многие болеют пыльным кашлем. Особенно достается маленьким детям, у

многих воспалены глаза и кожа. Интересно, а полгода назад я бы это заметил? Когда становишься родителем, наблюдательность обостряется. Работа — как работа, все относятся друг к другу по-товарищески, но этот сухой ветер изматывает. Вчера ночью я вспомнил Нэ-Тэра, и звук ветра в ночи был, как звук той речки. Я не стану жалеть об этой разлуке. Она позволила мне понять, что я начал отдавать меньше, как будто я владею тобой, а ты — мной, и больше делать уже нечего. Но реальность не имеет ничего общего с владением. Вот что мы делаем: мы утверждаем цельность Времени. Расскажи мне, что делает Садик. В свободные дни я преподаю группе, состоящей из нескольких человек, которые об этом попросили; одна девушка — прирожденный математик, я буду рекомендовать ее в Институт.

Твой брат Шевек.

Таквер писала ему:

Меня беспокоит довольно странная вещь. Три дня назад вывесили расписание лекций на третью четверть, и я пошла посмотреть, какое у тебя будет расписание в Ин-те, но там для тебя не указаны ни группа, ни аудитория. Я подумала, что тебя пропустили по ошибке, и пошла в Синд. Преподавателей, и они сказали, что да, они хотят, чтобы ты вел курс геом. Поэтому я пошла в отдел коорд. Ин-та, к этой старухе с носом, а она ничего не знает. «Нет, нет, я ничего не знаю, идите в Центральный Отдел Назначений!» Я сказала: «Какой вздор», — и пошла к Сабулу. На каф. физики его не было, и я с ним так и не увиделась, хотя ходила еще два раза. С Садик. Она носит изумительную белую шапочку, которую ей связала из ровницы Террус; она в ней такая хорошенькая. Я отказываюсь идти ловить Сабула в комнате, или в помойке, или где он там живет. Может, он уехал куда-нибудь добровольцем (ха-ха!). Может быть, ты бы позвонил в Институт и выяснил бы, что это за ошибка такая? Вообще-то я ходила в Центральный Отдел Назначений РРС, но там для тебя никаких новых назначений нет. Там люди разговаривали нормально, а та старуха с носом — бестолковая и ничем не хочет помочь, и никому нет дела. Бедап прав, мы не заметили, как к нам подкралась бюрократия. Пожалуйста, возвращайся (если надо, то и с гениальной математичкой), разлука, конечно, поучительна, но мне не надо ничего поучительного, а только, чтобы ты был со мной. Я получаю ежедневно по пол-литра фруктового сока с кальцием, потому что у меня стало пропадать молоко, и С. страшно орала. Молодцы доктора!!

Вся, всегда, Т.

Этого письма Шевек не получил. Он уехал с Южного Взгорья раньше, чем оно попало в почтовое депо Красных Ключей.

От Красных Ключей до Аббеная было около двух тысяч пятисот миль. Если бы он был один, он добрался бы автостопом, потому что все транспортные средства могли брать столько пассажиров, сколько в них помещалось, но поскольку сейчас обратно на Северо-Запад, на постоянные места работы, отправляли четыреста пятьдесят человек, для них сформировали поезд. Он состоял из пассажирских вагонов, во всяком случае, из вагонов, которые в данный момент предназначались для пассажиров. Наименьшим спросом пользовался открытый вагон, в котором недавно перевозили копченую рыбу.

После года засухи нормальных рейсов транспорта не хватало, несмотря на отчаянные старания транспортников полностью обеспечить потребность в перевозках. Транспортники составляли самую большую федерацию в Одонианском Обществе, разделенную, разумеется, на региональные синдикаты, работа которых координировалась представителями в сотрудничестве с КПР — локальными и центральными. Сеть дорог, которую обслуживала транспортная федерация, была вполне достаточной в нормальных условиях и в ограниченных чрезвычайных ситуациях; она была гибкой, легко применялась к обстоятельствам, и Синдики Транспорта отличались большой гордостью как за свою профессию, так и за свою федерацию. Они давали

своим паровозам и дирижаблям такие названия, как «Неукротимый», «Пожиратель Ветра», «Выносливый»; у них были девизы: «Мы всегда прибываем на место»; «Нам все по силам!». Но теперь, когда на планете целым регионам грозил неминуемый голод, если из других регионов не будет доставлена пища, и когда нужно было перевозить большие команды мобилизованных рабочих, требования к транспорту оказались непосильными. Не хватало не только транспортных средств, но и водителей. В ход было пущено все, чем располагала федерация, имевшее крылья или колеса; водить грузовики, поезда, корабли, обслуживать порты и станции помогали подмастерья, ушедшие на покой старики, добровольцы и мобилизованные.

Поезд, которым ехал Шевек, передвигался короткими рывками с долгими промежутками, потому что все поезда с продовольствием пропускали вперед. Потом он вообще простоял двадцать часов. Переутомившийся или недоучившийся диспетчер ошибся, и впереди произошло крушение.

В городке, где остановился поезд, лишней еды не было ни на складах, ни в столовых. Это был не сельскохозяйственный, а промышленный городок, производивший бетон и пенокамень, построенный в месте, где залежи извести удачно сочетались с судоходной рекой. В городке были огороды, но кормился он привозными продуктами. Если бы четыреста пятьдесят пассажиров поезда получили здесь еду, ее не получили бы сто шестьдесят местных жителей. В идеале они бы все поделились друг с другом, все вместе наполовину наелись бы или остались бы полуголодными. Если бы на поезде ехали пятьдесят, даже сто человек, община смогла бы дать им хотя бы хлеба. Но четыреста пятьдесят? Если они хоть что-нибудь дадут такой уйме людей, они несколько дней будут сидеть вообще без еды. Да и придет ли еще продуктовый поезд через эти несколько дней? И сколько он привезет зерна? Они не дали ничего.

Путешественники, которым в этот день не удалось позавтракать, пропостились так шестьдесят часов. Их накормили только после того, как путь освободили, и их поезд прошел еще сто пятьдесят миль до станции, где столовая была рассчитана на пассажиров.

Шевек впервые испытал голод. Иногда он во время работы не ходил в столовую, потому что ему было не до еды, но у него всегда была возможность дважды в день как следует поесть: завтрак и обед были так же постоянны, как восход и закат. Он даже никогда не задумывался, как было бы, если бы ему пришлось обходиться без них. Никому в его обществе, никому на свете не приходилось обходиться без них.

Пока ему все сильнее хотелось есть, пока поезд час за часом стоял на запасном пути между пыльным карьером и закрытым заводом, его одолевали мрачные мысли о реальности голода и о том, что его общество, возможно, не сумеет пережить голод, не утратив той солидарности, в которой заключается его сила. Легко делиться, когда хватает на всех, пусть даже едва хватает. А когда не хватает? Тут в дело вступает сила, сила, которая становится правом; власть и ее орудие — насилие, и ее самый верный союзник — отведенный взгляд.

Обида пассажиров на горожан становилась все горше, но она была не такой зловещей, как поведение горожан — то, как они спрятались за «своими» стенами со «своей» собственностью и не обратили внимания на поезд, даже не взглянули на него. Среди пассажиров не один Шевек был так угрюм; вдоль всего поезда, у остановленных вагонов, шел нескончаемый разговор, в общем, на ту же тему, о которой размышлял Шевек. Люди то вступали в разговор, то отходили в сторону, спорили или соглашались. Кто-то всерьез предложил совершить налет на огороды; это предложение вызвало отчаянные споры и, возможно, было бы принято, если бы не гудок поезда — сигнал отправления.

Но когда поезд, наконец, вполз на следующую станцию, и им дали поесть — по полбуханки холумового хлеба и миске супа на каждого — их уныние сменилось бурной радостью. К тому времени, как человек добирался до дна миски, он замечал, что супчик-то жидковат, но вкус

первой ложки этого супа был просто чудесен, ради этого стоило поголодать. С этим были согласны все. Они вернулись в поезд все вместе, с шутками и смехом. Они помогли друг другу продержаться.

В Экваториальном Холме пассажиров, направляющихся в Аббенай, взяла грузовая автоколонна и провезла их последние пятьсот миль. Они въехали в город около полуночи; улицы были пусты. Стояла ранняя осень. Ночь была ветреная; ветер тек сквозь них, как бурная сухая река. Над тусклыми уличными фонарями ярким дрожащим светом вспыхивали звезды. Сухая буря осени и страсти пронесла Шевека по улицам, он почти пробежал три мили до северного района, один в темном городе, одним прыжком одолел три ступеньки крыльца, пробежал по холлу, подошел к двери, распахнул ее. В комнате было темно. В темных окнах горели звезды.

— Таквер, — позвал он; и услышал тишину. Прежде, чем он включил лампу, в этой темноте, в этой тишине он узнал, что такое разлука.

Ничего не исчезло. Да и исчезать-то было нечему. Исчезли только Таквер и Садик. «Занятия Необитаемого Пространства», чуть поблескивая, тихонько вращались на сквозняке из открытой двери.

На столе лежало письмо. Два письма. Одно — от Таквер. Оно было коротким: ее мобилизовали на неопределенный срок в Лаборатории по Разведению Съедобных Водорослей на Северо-Востоке. Она писала: «Отказаться сейчас было бы бессовестно с моей стороны. Я пошла в РРС, поговорила с ними, прочла их разработку, которую они послали в Биологический отдел КПР, и я им действительно нужна, потому что я занималась именно этим циклом: водоросли — жгутиковые — креветки — кукури. Я попросила в РРС, чтобы тебя назначили в Рольни, но, конечно, они не будут ничего предпринимать, пока ты сам тоже не попросишься туда, а если это невозможно из-за работы в Ин-те, ты не попросишься. В конце концов, если это уж очень затянется, я скажу им, чтобы они нашли другого генетика, и вернусь! С Садик все в порядке, она уже умеет говорить „вет“, это значит „свет“. Мы уехали не очень надолго. Вся, на всю жизнь, твоя сестра Таквер. Пожалуйста, пожалуйста, приезжай, если сможешь».

Вторая записка была нацарапана на крошечном обрывке бумаги: «Шевек. Как вернешься — в Каб. Физ. Сабул».

Шевек метался по комнате. Буря, порыв, пронесшие его по улицам, еще не унялись в нем. Опять он уперся в стену. Идти дальше он не мог, но не мог и не двигаться. Он заглянул в стенной шкаф. Там не было ничего, кроме его зимней куртки и рубахи, которую ему вышила Таквер, любившая изящное рукоделие; ее немногие платья исчезли. Ширма была сложена, открывая взгляду пустую кроватку. Не убранная с помоста постель была скатана и аккуратно накрыта оранжевым одеялом. Шевек снова наткнулся на стол, опять прочел письмо Таквер. На глаза у него навернулись слезы. Его сотрясало яростное разочарование, гнев, дурное предчувствие.

Злиться было не на кого. И это было хуже всего. Таквер была нужна, нужна, чтобы бороться с голодом — своим, его, Садик. Общество было не против них. Оно было за них; с ними; оно было ими.

Но ведь он уже отказался от своей книги, и от своей любви, и от своего ребенка. Сколько жертв можно требовать от человека?

— Черт! — сказал он вслух. Правийский язык был плохо приспособлен для того, чтобы ругаться. Трудно ругаться, когда секс не считается непристойным, а богохульство не существует.

— Вот черт! — повторил он. Он мстительно скомкал неряшливую записку Сабула, а потом ударил сжатыми кулаками по краю стола — раз, и другой, и третий, — в приступе гнева стремясь ощутить боль. Но все было бесполезно. Ничего нельзя было поделать и никуда нельзя было уйти. В конце концов ему пришлось раскатать постель, лечь одному и уснуть — безутешно

и с дурными сновидениями.

С самого утра постучалась Бунуб. Шевек встретил ее в дверях и не посторонился, чтобы пропустить в комнату. Бунуб, их соседке по бараку, было лет пятьдесят. Она работала слесарем-механиком на авиамоторном заводе. Таквер она всегда забавляла, а Шевека приводила в ярость. Во-первых, она зарилась на их комнату. Она говорила, что, как только эта комната освободилась, она подала на нее заявку, но не получила, потому что квартальный регистратор жилых помещений к ней плохо относится. В ее комнате не было углового окна — предмета ее неутихающей зависти. Но ее комната была двойная, а она жила в ней одна, что, с учетом нехватки жилья, было с ее стороны эгоистично; но Шевек нипочем не стал бы тратить время на то, чтобы осуждать ее, если бы она сама не вынудила его к этому своими оправданиями. Она вечно объясняла, объясняла… У нее был партнер, партнер на всю жизнь, «вот, как вы оба» (жеманная улыбочка). Только куда девался этот партнер? О нем почему-то всегда говорилось в прошедшем времени. Между тем, необходимость двойной комнаты вполне подтверждалось чередой мужчин, входивших в дверь Бунуб: каждый вечер — другой мужчина, точно Бунуб — здоровенная семнадцатилетняя девчонка. Таквер наблюдала за этой процессией с восхищением. Бунуб приходила и в подробностях рассказывала ей про этих мужчин, и жаловалась, жаловалась… То, что ей не досталась угловая комната, было лишь одной из ее бесчисленных обид. Характер у нее был столь же коварный, сколь мерзкий, она во всем ухитрялась увидеть плохое и тут же переносила все на себя. Завод, где она работает, это отвратительное скопление бестолковости, блата и саботажа. Каждое собрание ее синдиката — это сплошной сумасшедший дом, бесконечные несправедливые инсинуации, и все — по ее адресу. Весь социальный организм направлен на преследование Бунуб. От всего этого Таквер начинала хохотать, иногда истерически, прямо в лицо Бунуб. «Ой, Бунуб, ты такая смешная!» — говорила она, а женщина с седеющими волосами, тонкими губами и вечно потупленными глазами слабо улыбалась, не обижаясь, вот нисколечко — и продолжала свои чудовищные тирады. Шевек понимал, что Таквер права, смеясь над ней, но сам смеяться не мог.

— Это ужасно, — сказала Бунуб, протиснулась мимо него в комнату и направилась прямо к столу, чтобы прочесть письмо Таквер. Она взяла его; Шевек вырвал его у нее из рук со спокойной быстротой, которой она не ожидала.

— Прямо кошмар. Даже за декаду не предупредили. Просто: «Сюда! Немедленно!» А еще говорят, что мы — свободные люди, мы считаемся свободными людьми. Вот смеху-то! Это ж надо, так разбить счастливое партнерство. Знаешь, для того-то они так и сделали. Они против партнерств, так все время бывает, они нарочно рассылают партнеров в разные места. Так и у нас с Лабексом вышло, точно также. Нам уж больше не быть вместе. Где уж там, когда все РРС — единым фронтом против нас. Вон она, кроватка-то, пустая. Бедняжечка! Она уж четыре декады все плакала, день и ночь. Часами мне спать не давала. Это, конечно, от того, что еды не хватает. У Таквер стало убывать молоко. И вообще — взять и отправить кормящую мать по мобилизации за сотни миль, это ж подумать только! Ты, наверное, не сможешь поехать к ней туда… куда ж это они ее послали-то?

— На Северо-Восток. Бунуб, я хочу пойти позавтракать. Я голоден.

— Правда, типично, что они это сделали, пока тебя не было?

— Что сделали, пока меня не было?

— Услали ее… разбили партнерство. — Теперь Бунуб читала записку Сабула, которую тщательно расправила. — Они знают, когда начать! Ты ведь, наверно, теперь выедешь из этой комнаты, да? Тебе не позволят остаться в двойной. Таквер говорила, что скоро вернется, но было видно, что она просто себя подбадривает, и только. Свобода, считается, что мы свободные, прямо анекдот! Перебрасывают туда-сюда…

— Да черт возьми, Бунуб, если бы Таквер не хотела принять это назначение, она бы отказалась. Ты же знаешь, что нам грозит голод.

— Да я и то подумала, не надоело ли ей здесь, это часто бывает после того, как родится ребенок. Я уж давно думала, что вам надо было ее в ясли отдать. Это ж надо, сколько она плакала. Дети мешают партнерам. Стесняют их. И вполне естественно, что ей, как ты говоришь, захотелось переменить обстановку, и, когда появилась такая возможность, она за нее ухватилась.

— Я этого не говорил. Я иду завтракать. — Шевек вышел, широко шагая, чувствуя, как у него все дрожит в пяти-шести чувствительных точках, в которые точно попали шпильки Бунуб. Эта женщина была страшна тем, что высказала вслух все его самые гнусные страхи. Сейчас она все еще оставалась в комнате, небось, планировала, как в нее въедет.

Он проспал и вошел в столовую перед самым закрытием. Все еще голодный, как волк, после своей поездки, он взял двойную порцию и каши и хлеба. Парнишка-раздатчик взглянул на него и нахмурился. Нынче никто не брал двойных порций. Шевек ответил таким же хмурым взглядом и ничего не сказал. За последние восемьдесят с лишним часов он съел две миски супа и одно кило хлеба и имел право наверстать упущенное; но черт его побери, если он будет оправдываться. Существование само служит оправданием, потребность — это и есть право. Он — одонианин, чувствовать себя виноватыми он предоставляет спекулянтам.

Он сел один, но к нему тут же подсел Десар, улыбаясь, уставился своими непонятными косящими глазами на него или куда-то рядом с ним.

— Давно не было, — сказал Десар.

— Набор на сельхозработы. Шесть декад. А здесь как дела?

— Скудновато.

— А будет еще скуднее, — пообещал Шевек, но без особого убеждения, потому что в этот момент он ел, и каша была необыкновенно вкусная. — «Беда, тревога, голод!» — говорил его передний мозг, вместилище интеллекта, но задний мозг, нераскаянным дикарем скорчившийся сзади, в темной глубине его черепа, твердил: «Сейчас — еда! Сейчас — еда! Хорошо, хорошо!»

— Сабула видел?

— Нет, я вчера приехал поздно ночью. — Шевек поднял глаза на Десара и сказал, пытаясь изобразить безразличие:

— Таквер мобилизовали на голод; ей пришлось уехать четыре дня назад.

Десар с непритворным безразличием кивнул:

— Слыхал. А ты слышал про реорганизацию Института?

— Нет. А что такое?

Математик положил на стол плашмя длинные узкие ладони и стал разглядывать их. Он всегда был косноязычен и изъяснялся телеграфным стилем, собственно говоря, заикался; но словесное это заикание или психическое, Шевек так и не разобрался. Десар ему всегда нравился, почему — он сам не знал, но бывали моменты, когда Десар был ему крайне неприятен, опять-таки неизвестно почему. Сейчас был один из таких моментов. В выражении губ Десара, в его опущенных глазах было что-то хитрое, как в потупленных глазах Бунуб.

— Перетряхивают. Урезают все нефункциональное. Шипега выкинули.

Шипег был математиком; он славился своей тупостью, но так старательно подлизывался к студентам, что ухитрялся в каждой четверти обеспечить себе один курс по требованию студентов.

— Перевели. В какой-то региональный институт.

— Окучивал бы он земляной холум, меньше бы вреда принес, — сказал Шевек. Сейчас, когда он наелся, ему стало казаться, что засуха может в конечном счете пойти на пользу социальному организму. Приоритеты опять становятся отчетливо видны. Слабость, слабые

места, больные места будут выжжены, вяло работающие органы снова начнут функционировать в полную силу, с политического тела будет срезан жир.

— Замолвил за тебя слово на институтском собрании, — сказал Десар, подняв взгляд, но не глядя в глаза Шевеку, потому что не мог этого сделать. Шевек еще не знал, что он имеет в виду, но еще пока Десар говорил, Шевек уже понял, что он врет. Он точно знал: Десар замолвил слово не за него, а против него.

Теперь ему стало ясно, почему Десар ему порой так противен: в эти минуты он различал (до сих пор не признаваясь себе в этом) в характере Десара элементы чистой злобы. Столь же ясно и столь же отвратительно Шевеку стало и то, что Десар любит его и пытается обрести власть над ним. Кривые дорожки собственнического инстинкта, лабиринты любви/ненависти для Шевека были лишены смысла; дерзкий, нетерпимый, он проходил через их стены насквозь. Он больше не разговаривал с математиком, а доел завтрак и пошел через квадрат институтского двора, сквозь яркое утро ранней осени, в кабинет физики.

Он прошел в заднюю комнату, которую все называли «кабинетом Сабула», в комнату, в которой они первый раз встретились, в которой Сабул дал ему грамматику и словарь иотийского языка. Теперь Сабул с опаской взглянул на него через стол, снова опустил взгляд в бумаги — занятой, погруженный в свои мысли ученый; потом позволил своему перегруженному мозгу осознать присутствие Шевека; потом стал необычайно (для него) любезен. Он выглядел похудевшим и постаревшим, и, встав, ссутулился больше, чем обычно, как-то примирительно ссутулился.

— Плохое время, — сказал он. — А? Плохое время!

— А будет еще хуже! — беспечно ответил Шевек. — Как дела здесь?

— Плохо, плохо. — Сабул покачал седой головой. — Плохое настало время для чистой науки, для интеллектуалов.

— А разве оно когда-нибудь было хорошим?

Сабул деланно хохотнул.

— С летними рейсами с Урраса для нас что-нибудь пришло? — спросил Шевек, расчищая себе место на скамье. Он сел и положил ногу на ногу. За время работы на полях Южного Взгорья его светлая кожа загорела, а покрывавший лицо тонкий пушок выгорел так, что казался серебряным. По сравнению с Сабулом он выглядел поджарым, и здоровым, и молодым. Они оба ощущали этот контраст.

— Ничего интересного.

— Рецензии на «Принципы» не было?

— Нет, — ответил Сабул сварливым тоном, что было больше на него похоже.

— И писем не было?

— Нет.

— Странно.

— Что тут странного? Чего ты ждал, должности лектора в Иеу-Эунском Университете? Премии Сео Оэна?

— Я ждал рецензий и ответов. Уже прошло достаточно времени. — Шевек сказал это в тот момент, когда Сабул говорил:

— Для рецензий еще рано.

Наступило молчание.

— Придется тебе усвоить, Шевек, что простая убежденность в своей правоте еще ничего не доказывает. Я знаю, ты много потрудился над этой книгой. Я тоже много потрудился, редактируя ее, стараясь ясно показать, что это — не просто безответственные нападки на теорию Последовательности, что в этой книге есть положительные аспекты. Но если другие

физики не видят в твоей работе ничего ценного, значит, надо тебе пересмотреть свою систему ценностей и найти, в чем заключается расхождение. Если другие не видят в ней смысла, что от нее толку? Какова ее функция?

— Я физик, а не специалист по функциональному анализу, — добродушно сказал Шевек.

— Каждый одонианин должен уметь анализировать функции. Тебе уже тридцать лет, не так ли? В этом возрасте человек должен знать уже не только свою клеточную функцию, но и органическую — в чем состоит его оптимальная роль в социальном организме. Тебе, может быть, приходилось думать об этом меньше, чем большинству людей…

— Да. Уже лет с десяти-двенадцати я знал, чем я должен заниматься.

— То, чем хочется заниматься мальчишке, не всегда совпадает с тем, что от него нужно его обществу.

— Как ты сказал, мне уже тридцать лет. Для мальчишки — староват.

— Ты дожил до этого возраста в необычайно изолированной, защищенной среде. Сначала — Региональный Институт Северного Склона…

— И лесопосадочные работы, и сельхозработы, и практическое обучение, и работа добровольцем с самого начала засухи; обычное количество необходимого клеггича. Да мне, собственно говоря, нравится это делать. Но и физику я люблю. К чему ты клонишь?

Сабул не отвечал, только злобно поглядывал из-под густых, маслянисто блестевших бровей, поэтому Шевек добавил:

— Ты уж говори прямо, потому что через мое социальное сознание тебе до этого не добраться.

— По-твоему, то, что ты делал здесь, — функционально?

— Да. «Чем более что-то организовано, тем более централен организм: под центральностью здесь подразумевается область истинной функции». Томар, «Определения». Поскольку темпоральная физика пытается организовать все, доступное человеческому пониманию, она по определению является центрально-функциональной деятельностью.

— Но она не может накормить людей.

— Я только что шесть декад помогал это делать. Когда меня опять позовут, я опять пойду. А пока буду держаться своего ремесла. Если заниматься физикой нужно, я настаиваю на своем праве делать это.

— Не закрывай глаза на тот факт, что в данный момент заниматься физикой не нужно. Той, которой занимаешься ты. Мы должны приспосабливаться к требованиям практики. — Сабул поерзал на стуле. Вид у него был угрюмый и смущенный. — Нам пришлось освободить пять человек для получения новых назначений. К сожалению, должен тебе сообщить, что ты входишь в их число. Вот так.

— Вот так именно я и полагал, — сказал Шевек, хотя на самом деле он только сейчас понял, что Сабул вышвыривает его из Института. Но как только он услышал об этом, ему показалось, что это для него не новость; и ему не хотелось показать Сабулу, что он потрясен, и тем доставить ему удовольствие.

— Против тебя сработало сочетание нескольких факторов. То, что последние несколько лет твои исследования носили малопонятный, неприменимый на практике характер. Плюс впечатление, не обязательно справедливое, но сложившееся у многих студентов и преподавателей Института, что как твое поведение, так и твое преподавание отражают некое недовольство существующим положением вещей, определенную степень обособления, дисальтруизма. Об этом говорилось на собрании. Я, конечно, выступил в твою защиту. Но я — всего лишь один синдик из многих.

— С каких это пор альтруизм стал одонианской добродетелью? — спросил Шевек. —

Ладно, неважно, я понимаю, что ты имел в виду. — Он встал. Он больше не мог сидеть на месте, но в остальном держал себя в руках и говорил вполне естественным тоном. — Насколько я понимаю, на преподавательскую работу где-нибудь в другом месте ты меня не рекомендовал?

— А что было бы толку? — сказал — почти пропел — в свое оправдание Сабул. — Новых преподавателей никто не берет. На всей планете преподаватели и студенты работают плечом к плечу, борясь с угрозой голода. Конечно, этот кризис — не навсегда. Через год-другой мы будем вспоминать о нем с гордостью за принесенные нами жертвы и за проделанную нами работу. Но в данный момент…

Шевек стоял прямо, спокойно, задумчиво глядя в маленькое поцарапанное окошко на пустое небо. Ему страшно хотелось послать, наконец, Сабула ко всем чертям. Но то, что он сказал, выражало иной, более глубокий импульс.

— В сущности, — сказал он, — ты, вероятно, прав. — С этими словами он кивнул Сабулу и ушел.

Шевек сел на омнибус, который шел в центр города. Он все еще спешил, что-то подгоняло его. Он шел по определенному маршруту и хотел дойти до конца, дойти и отдохнуть. Он пошел в Центральное Бюро Назначений Управления Распределения Рабочей Силы, чтобы попросить назначение в общину, в которую уехала Таквер.

РРС, со своими компьютерами и со своей сложнейшей задачей — координировать распределение рабочей силы — занимало целую площадь; здания, в которых оно размещалось, были красивы, по анарресским стандартам — величественны, с изящными, простыми обводами. Внутри в Центральном Бюро были высокие потолки; оно напоминало сарай; в нем было полно людей, работа в нем так и кипела, стены были увешаны объявлениями о назначениях и указаниями, в какой отдел или окно обращаться по тому или иному вопросу. Стоя в одной из очередей, Шевек прислушивался к разговору стоявших впереди него шестнадцатилетнего паренька и старика, которому было за шестьдесят. Паренек пришел проситься добровольцем на борьбу с угрозой голода. Он был полон благородных чувств, его переполняли чувство братства, жажда приключений, надежда. Он был в восторге от того, что уезжает самостоятельно, оставляет детство позади. Он говорил без умолку, как ребенок; голос у него еще ломался. «Свобода, свобода!» — звенело в его возбужденном голосе, в каждом его слове; а ворчливый, низкий голос старика пробивался через его речи, поддразнивая, но не угрожая, насмехаясь, но не предостерегая. Старик хвалил мальчику свободу, возможность куда-то поехать и что-то сделать, хвалил и поддерживал в нем это чувство, хотя и посмеивался над тем, как он важничает. Шевек слушал их с удовольствием. Они прервали сегодняшнюю полосу абсурда.

Как только Шевек объяснил, куда он хочет ехать, у служащей сделалось озабоченное лицо; она принесла атлас и развернула его на разделяющем их барьере.

— Вот, смотри, — сказала она. Она была некрасивая, маленькая, с большими неровными зубами; ловкими, мягкими руками она переворачивала пестрые страницы атласа. — Видишь, вот Рольни, полуостров, выступает в северную часть Темаэнского моря. Это просто большая песчаная коса. На нем вообще ничего нет, только вот здесь, на конце, морские лаборатории. А дальше по всему побережью — сплошь болота и солончаки до самой Гармонии — это тысяча километров. А к западу от нее — Прибрежные Пустоши, сплошной песок да кустарник. Ближе всего к Рольни ты мог бы оказаться, если бы попал в какой-нибудь городок в горах; но они не подавали никаких заявок; они там как-то обходятся своими силами… Конечно, ты все равно мог бы туда поехать, — добавила она, чуть изменив тон.

— Это слишком далеко от Рольни, — ответил Шевек, глядя на карту, заметив в горах Северо-Востока Круглую Долину — маленький, лежащий вдали от дорог городок, в котором выросла Таквер. — А может быть, в морской лаборатории нужен уборщик? Статистик?

Служитель — кормить рыб?

— Сейчас выясню.

Картотеки в РРС обслуживались людьми, и компьютерами, работавшими необычайно эффективно. Не прошло и пяти минут, как служащая разыскала среди огромного количества входящей и исходящей информации обо всех рабочих местах, занятых и свободных, и о степени важности каждого из них в общей экономике планеты нужные сведения.

— К ним только что срочно направили сотрудника… как раз эту партнершу, да? Теперь у них весь штат укомплектован: четыре лаборанта и опытный отловщик.

Шевек оперся локтями на барьер, наклонил голову и начал ее чесать; это был жест растерянности и чувства поражения, скрытых за смущением.

— Ну, не знаю, что делать, — сказал он.

— Слушай, брат, а партнершу надолго отправили?

— На неопределенный срок.

— Но ведь это назначение — по борьбе в угрозой голода, ведь так? Не вечно же так будет. Не может этого быть! Этой зимой пойдут дожди.

Он поднял глаза на серьезное, сочувственное, измученное лицо этой своей сестры и слабо улыбнулся, потому что не мог оставить без ответа ее слабую попытку дать надежду.

— Вы еще вернетесь друг к другу. А пока…

Он сказал: — Да. А пока…

Она ждала, что он решит.

Принять решение должен был он; и вариантов было бесконечное множество. Он мог остаться в Аббенае и организовать курс физики, если сумеет найти желающих студентов; мог поехать на полуостров Рольни и жить с Таквер, ничего не делая на исследовательской станции. Он мог жить где угодно и ничего не делать — только дважды в день вставать и отправляться в ближайшую столовую, чтобы его накормили. Он мог делать все, что захочет.

Идентичность в правийском языке слов «работать» и «играть», конечно, имела большое этическое значение. Одо сумела увидеть опасность того, что употребление слова «работа» в ее аналогической системе (клетки должны работать вместе; оптимальная работа организма; работа, выполняемая каждым элементом; и т. д.) может привести к строгому морализированию. Оба понятия, лежащие в основе «Аналогии», — сотрудничество и функция — подразумевали работу. Об эксперименте — неважно, двадцать ли это пробирок в лаборатории или двадцать миллионов человек на Луне — судят только по одному признаку: дал ли он положительный результат. Одо увидела эту моральную ловушку. «Святой никогда не бывает занят», — сказала она, возможно, не без грусти.

Но общественное существо не может делать выбор, думая только о себе.

— Что же, — сказал Шевек, — я только что вернулся с работы по предотвращению голода. Еще что-нибудь в этом роде есть?

Служащая посмотрела на него взглядом старшей сестры, недоверчивым, но снисходительным.

— Здесь на стенах вывешено не меньше семи сотен срочных запросов, — сказала она. — Какой тебе больше нравится?

— Математика где-нибудь нужна?

— Там в основном сельское хозяйство и квалифицированный труд. Ты механиком работать можешь?

— Да не особенно…

— Ну, есть координация работ. Тут уж точно надо в цифрах соображать. Как, пойдет?

— Ладно.

— Но знаешь, это на Юго-Западе, в Пыли.

— Я в Пыли и раньше бывал. И потом, ты же сама говоришь — когда-нибудь пойдет дождь…

Она с улыбкой кивнула и впечатала в его РРС-овскую карту: «ИЗ: Аббеная, С. —З., Центр, Ин-т Наук; В: Локоть, Ю. —З., раб. бриг., фосфатн. з-д; СРОК НАЗН. с 5—1-3—165 — на неопред. срок».

Глава девятая. УРРАС

Колокола на башне часовни вызванивали Первичную Гармонию к утренней религиозной службе; их перезвон разбудил Шевека. Каждая нота словно била его по затылку. Он чувствовал такую тошноту и слабость, что долгое время не мог даже сесть в постели. Наконец он смог доплестись до ванной и долго сидел в холодной воде, от чего головная боль утихла; но все его тело по-прежнему казалось ему чужим и почему-то мерзким. Когда он снова обрел способность думать, ему стали вспоминаться обрывки и мгновения прошедшей ночи, яркие, бессмысленные сцены вечеринки у Вэйи. Он пытался не думать о них, но не мог думать ни о чем другом. Все, все стало мерзким. Он сел к письменному столу и с полчаса просидел неподвижно, тупо глядя в одну точку и чувствуя себя совершенно несчастным.

Ему и раньше достаточно часто случалось оказываться в неловком положении, случалось чувствовать себя дураком. В молодости его мучило ощущение, что другие считают его странным, непохожим на них; позже ему приходилось испытывать вызванный им же самим гнев и презрение многих своих анарресских товарищей. Но он никогда не принимал их осуждение с готовностью. До сих пор ему никогда не бывало стыдно за себя.

Он не знал, что это парализующее чувство унижения — такое же химическое последствие опьянения, как головная боль. Да если бы и знал, ему было бы не намного легче. Стыд, чувство омерзения и самоосуждения, стал для него откровением. Он стал видеть с новой четкостью, со страшной четкостью; и увидел гораздо больше, чем его бессвязные воспоминания о конце вечера у Вэйи; что он пытался извергнуть из себя не только алкоголь, нет — весь хлеб, съеденный им на Уррасе.

Шевек оперся локтями о стол, стиснул руками виски, где скорчилась боль, и стал рассматривать свою жизнь в свете этого стыда.

На Анарресе он, наперекор ожиданиям своего общества, выбрал ту работу, к которой у него было личное призвание. Поступить так означало взбунтоваться: рискнуть своим «я» ради общества.

Здесь, на Уррасе, такой бунт был роскошью, потворству своим желаниям. Быть физиком в А-Ио означало служить не обществу, не человечеству, не истине, но Государству.

Тогда, в первый вечер в этой комнате, он спросил их, с вызовом и любопытством: «Что вы собираетесь делать со мной?». Теперь он знает, что они с ним сделали. Чифойлиск сообщил ему этот простой факт. Они им владеют. Он рассчитывал заключить с ними сделку — идея очень наивного анархиста. Индивид не может заключать сделки с государством. Государство не признает никакой монетной системы, кроме власти; и эти монеты оно чеканит само.

Теперь он видел — в подробностях, пункт за пунктом, с самого начала — что совершил ошибку, прилетев на Уррас; это его первая большая ошибка, и ему, должно быть, хватит ее на всю жизнь. Теперь он раз и навсегда разглядел ее, раз и навсегда разобрался во всех ее признаках, от которых месяцами отворачивался, закрывал на них глаза, — на это он потратил много времени, неподвижно сидя за письменным столом, пока не добрался до той, нелепой и отвратительной, последней сцены у Вэйи и не пережил вновь также и ее, и тут от стыда ему бросилась кровь в лицо, зазвенело в ушах; — и теперь с этим покончено. Даже в этой похмельной юдоли слез он не ощущал вины. Сейчас это все уже кончилось, а думать нужно о том, что ему делать теперь. Он сам запер себя в тюрьму, как же он теперь сможет вести себя, как свободный человек?

Он не будет заниматься физикой для этих политиканов. Теперь это было ему ясно.

А если он перестанет работать, они позволят ему вернуться домой?

Тут он протяжно вздохнул и поднял голову, невидящими глазами глядя на залитую солнцем зелень за окном. В первый раз он позволил себе подумать о возвращении на родину, как о чем-то реально возможном. Эта мысль грозила прорвать плотину и затопить его тоской и нетерпением. Говорить по-правийски, говорить с друзьями, увидеть Таквер, Пилун, Садик, потрогать пыль Анарреса…

Они его не отпустят. Он не заплатил за проезд. Не может он и отпустить себя сам: сдаться и бежать.

Сидя за письменным столом, в ярком свете утреннего солнца, он обдуманно, резко ударил ладонями по краю стола — раз, и другой, и третий; лицо его было спокойно и казалось задумчивым. «Куда мне идти?» — сказал он вслух.

В дверь постучали. Вошел Эфор, неся поднос с завтраком и утренние газеты.

— Прихожу как обычно в шесть, но вы отсыпались, — заметил он, с удивительной ловкостью расставляя посуду.

— Я вчера напился пьяным, — сказал Шевек.

— Пока не проспишься, чудесно, — ответил Эфор. — Это все, господин? Очень хорошо, — и он удалился, не менее ловко, по пути поклонившись Паэ, который как раз входил.

— Я не хотел врываться к вам во время завтрака! Просто шел из часовни и решил заглянуть.

— Садитесь. Выпейте шоколаду. — Шевек не смог бы есть, если бы Паэ хотя бы не сделал вид, что ест вместе с ним. Паэ взял медовую булочку и раскрошил ее по тарелке. Шевеку все еще было не по себе, но он почувствовал, что очень проголодался, и энергично набросился на завтрак. Казалось, Паэ труднее, чем обычно, начал разговор.

— Вы все еще получаете эту макулатуру? — весело спросил он наконец, дотронувшись до сложенных газет, которые Эфор положил на стол.

— Их приносит Эфор.

— Да?

— Я его попросил, — сказал Шевек, бросив на Паэ мгновенный испытующий взгляд. — Они помогают мне понять вашу страну. Меня интересует ваш низший класс. Большинство анаррести происходят из низшего класса.

— Да, конечно, — ответил молодой человек, почтительно кивнув, и откусил маленький кусочек медовой булочки. — Я, пожалуй, все-таки выпил бы капельку шоколада, — сказал он и позвонил в стоящий на подносе колокольчик. В дверях появился Эфор.

— Еще чашку, — не оборачиваясь, бросил Паэ. — Так вот, сударь, нам так хотелось опять начать возить вас по стране, теперь, когда погода налаживается, чтобы вы побольше увидели. Даже, может быть, за границу. Но боюсь, что эта чертова война положила конец всем подобным планам.

Шевек взглянул на шапку в газете, лежавшей сверху: «СТЫЧКА МЕЖДУ ИО И ТУ ВОЗЛЕ СТОЛИЦЫ БЕНБИЛИ».

— По телефаксу есть более свежие новости, — сказал Паэ. — Мы освободили столицу. Генерал Хавеверт будет возвращен в президентское кресло.

— Значит, война закончилась?

— Нет, пока Ту еще удерживает обе восточные провинции.

— Понятно. Значит, ваша армия и армия Ту будут сражаться в Бенбили. Но не здесь?

— Нет, нет. Для них было бы совершенным безумием вторгнуться к нам, а для нас — к ним. Мы уже переросли это варварство — воевать в самом сердце высокой цивилизации! Баланс силы поддерживается именно такими полицейскими акциями. Тем не менее, официально мы воюем. Так что боюсь, что начнут действовать все нудные старые ограничения.

— Ограничения?

— Во-первых, начнут определять степень секретности исследований, проводимых на Факультете Благородной Науки. Вообще-то ничего особенного, просто будут ставить правительственный штамп. Ну, иногда могут задержать публикацию какой-то работы, когда наверху думают, что раз они ее не понимают, то она, наверно, опасна!… И боюсь, что чуть-чуть ограничат поездки по стране, особенно для вас и других лиц, не являющихся гражданами нашего государства. Кажется, пока не прекратится состояние войны, считается, что вам не положено покидать пределы университетского городка без письменного разрешения. Но не обращайте на это внимания. Я могу вывести вас отсюда, как только вы захотите, без всякой этой чепухи.

— Ключи в ваших руках, — сказал Шевек с простодушной улыбкой.

— О, я в этом деле не имею себе равных. Обожаю обходить всякие правила и обводить вокруг пальца власти. Может быть, я по натуре — анархист, а? Да куда же провалился этот старый дурак, которого я послал за чашкой?

— Должно быть, спустился за ней в кухню.

— На это не обязательно тратить полдня. Ну, я не буду ждать. Не хочу отнимать у вас остаток утра. Кстати, вы видели последний «Бюллетень Фонда Космических Исследований»? Они публикуют планы Реумере относительно ансибля.

— Что такое ансибль?

— Так называют аппарат для мгновенного перемещения в пространстве. Он говорит, что если только темпоралисты — это, конечно, вы — разработают уравнения взаимосвязи времени и инерции, то инженеры — а это он — за несколько недель или месяцев сумеют построить эту штуку, испытать ее и таким образом, кроме прочего, проверить правильность теории.

— Инженеры сами по себе служат доказательством существования причинной обратимости. Видите, Реумере успел построить следствие еще до того, как я обеспечил причину. — Шевек снова улыбнулся, уже не так простодушно.

Когда Паэ закрыл за собой дверь, Шевек вдруг встал.

— Ах ты, грязный спекулянтский врун! — сказал он по-правийски, побелев от ярости, стиснув руки, чтобы не дать им схватить что-нибудь и запустить вслед Паэ.

Вошел Эфор, неся на подносе чашку с блюдцем, и резко остановился; у него сделался встревоженный вид.

— Все в порядке, Эфор. Он… ему не понадобится чашка. Теперь можете убрать все.

— Слушаюсь, господин.

— Послушайте, мне бы хотелось некоторое время ни с кем не видеться. Вы можете их не пускать?

— Запросто, господин. Кого-нибудь определенного?

— Да, его… Вообще никого. Говорите, что я работаю.

— Он будет рад слышать это, господин, — сказал Эфор, и его морщины на миг разгладились от злорадства; потом он с почтительной фамильярностью добавил:

— Никто, кого вы не хотите видеть, мимо меня не проберется; — и заключил с подобающей официальностью:

— Спасибо, господин, и доброго вам утра.

Еда и адреналин разогнали оцепенение Шевека. Раздраженный, не находя себе места, он расхаживал по комнате взад-вперед. Ему хотелось действовать. Уже чуть ли ни год он ничего не делал, за исключением того, что был дураком. Пора уже что-нибудь сделать.

Ну, ладно, а зачем он сюда прилетел?

Чтобы заниматься физикой. Чтобы своим талантом утвердить права любого гражданина в любом обществе: право работать, право на материальную поддержку во время работы; и право делиться плодами своей работы со всеми, кому они нужны. Права одонианина и человека.

Его любезные и заботливые хозяева, бесспорно, дают ему возможность работать и оказывают ему материальную поддержку во время работы. Проблема — в третьем пункте. Но до него он и сам еще не добрался. Он не выполнил свою работу. Он не может делиться тем, чего не имеет.

Шевек вернулся к письменному столу и достал из наименее доступного и наименее полезного кармана своих модных облегающих штанов пару густо исписанных клочков бумаги, расправил их пальцами и стал смотреть на них. Он подумал, что становится похож на Сабула: пишет очень мелко, сокращая слова, на клочках бумаги. Теперь он понял, почему Сабул так делает: он собственник и скрытен. Что на Анарресе — психопатия, то на Уррасе — разумное поведение.

И опять Шевек сидел совершенно неподвижно, наклонив голову, внимательно глядя на эти два клочка бумаги, на которых он записал некоторые основные моменты Общей Теории Времени — в той мере, в какой она была разработана.

Следующие три дня он просидел за письменным столом, глядя на эти два листочка.

Иногда он вставал и ходил по комнате, или что-нибудь записывал, или включал настольный компьютер, или просил Эфора принести ему поесть, или ложился и засыпал; а потом снова возвращался к письменному столу.

Вечером третьего дня он для разнообразия сидел на мраморной скамье у камина. Он сидел на ней в тот вечер, когда впервые вошел эту комнату, в эту изящную тюремную камеру, и обычно сидел на ней, когда к нему кто-нибудь приходил. Сейчас у него никого не было, но он размышлял о Саио Паэ.

Как все, кто рвется к власти, Паэ был удивительно близорук. В его уме было что-то мелкое, бесплодное; в нем не хватало глубины, плодотворности, воображения. По сути, это был примитивный инструмент. Но его потенциальные возможности были вполне реальны и не исчезли, хотя и деформировались. Паэ был очень способным физиком. А вернее, у него было отличное чутье в отношении физики. Сам он не сделал ничего оригинального, но его умение воспользоваться случаем, его нюх на то, что сулит успех, раз за разом приводили его в наиболее перспективные области физики. Он, в точности, как Шевек, нюхом чуял, что надо разрабатывать, и Шевек уважал это чутье в Паэ, как и в себе, потому что для ученого это чрезвычайно важное свойство. Именно Паэ дал Шевеку переведенную с террийского книгу, труды симпозиума по Теориям Относительности, идеи которой занимали его в последнее время все сильнее и сильнее. Возможно ли, что он прибыл на Уррас именно для того, чтобы встретиться с Саио Паэ, своим врагом? Что он прилетел, чтобы найти его, зная, что, быть может, получит от своего врага то, чего не может получить от своих братьев и друзей, то, чего ему не может дать ни один анаррести — знание чужого, инопланетного… нового…

Шевек забыл о Паэ и стал думать о той книге. Он не мог точно сформулировать для себя, чем она так помогла ему в работе. Большая часть приведенной в ней физики, по существу, устарела, методы были громоздки, а позиция этих инопланетян часто была просто неприятной. Террийцы были интеллектуальными империалистами, рьяными стеностроителями. Даже Айнсетайн, родоначальник теории, чувствовал себя вынужденным предупредить, что его физика охватывает только физическую модальность и не затрагивает никакую иную, и не следует считать, что она подразумевает метафизическую, философскую или этическую модальность. Что, конечно, внешне справедливо, но ведь он использовал число, мостик между духом и материей. «Число Неоспоримое», как называли его древние основоположники Благородной Науки. Применить математику в этом смысле означало применить модальность, которая предшествовала всем остальным модальностям и вела к ним. Айнсетайн знал это; с подкупающей осторожностью он признавался, что, как ему кажется, его физика действительно

описывает реальность.

Чужое и знакомое: в каждом движении мысли террийца Шевек улавливал это сочетание, и оно его постоянно увлекало. И было ему близко — потому что Айнсетайн тоже искал объединяющую теорию поля. Объяснив силу притяжения как одну из функций геометрии пространства-времени, он попытался распространить этот синтез также и на электромагнитные силы. Но не сумел. Уже при его жизни, и еще много десятилетий после его смерти, физики его родной планеты, отвернувшись от его усилий и его неудачи, разрабатывали великолепные несвязности квантовой теории с ее высоким технологическим выходом и наконец сосредоточили свои усилия исключительно на технологической модальности, так что это кончилось тупиком — катастрофической несостоятельностью воображения. А ведь первоначальная интуиция их не обманывала: в их отправной точке прогресс заключался именно в той неопределенности, с которой не хотел примириться старый Айнсетайн. И его неприятие было столь же правильным — в конечном счете. Только он не располагал инструментами, чтобы это доказать — переменными Саэбы и теориями бесконечной скорости и комплексной причины. В тау-китянской физике его объединенное поле существовало, но существовало на условиях, которые он, возможно, не согласился бы принять; потому что для его великих теорий была необходима скорость света как ограничивающий фактор. Обе его Теории Относительности и через столько веков не утратили своей красоты, правильности и полезности, а ведь обе они основывались на гипотезе, доказать правильность которой было невозможно; неправильность же ее в некоторых условиях не только могла быть доказана, но и была доказана.

Но разве теория, правильность всех элементов которой доказуема, не является тавтологией? В области недоказуемого или даже того, что может быть опровергнуто, лежит единственный шанс вырваться из круга и пойти вперед.

А в этом случае так ли уж важна недоказуемость гипотезы истинного сосуществования — проблема, о которую Шевек отчаянно бился головой все эти три дня, а по существу — все эти десять лет?

Он ощупью искал несомненности, рвался к ней, как будто это было нечто, чем он мог владеть. Он требовал надежности, гарантии, которая не может быть дана; и которая, если бы и была дана, стала бы тюрьмой. Просто приняв за аксиому реальность истинного сосуществования, он сможет свободно пользоваться прекрасными геометриями относительности; и тогда можно будет пойти дальше. Следующий этап был совершенно ясен. С сосуществованием последовательности можно будет справиться при помощи ряда преобразований Саэбы; при таком подходе антитеза между последовательностью и присутствием перестает быть антитезой. Фундаментальное единство точек зрения теорий Последовательности и Одновременности становится ясным; понятие интервала служит для связи статического и динамического аспектов вселенной. Как он мог десять лет в упор смотреть на реальность и не видеть ее? Теперь можно будет двигаться дальше без всяких затруднений. Да он, собственно, уже и двинулся дальше. Он уже пришел. Он увидел все, что было еще впереди, уже при первом, казалось бы, случайном, беглом взгляде на этот метод, взгляде, которым он был обязан своему пониманию, причиной неудачи в далеком прошлом. Стена рухнула. Теперь он видел все отчетливо и целиком. То, что он видел, было просто — проще всего остального. Это была сама простота — а в ней содержалась вся сложность, вся перспектива. Это было откровение. Это был свободный путь, путь домой, свет.

На душе у него стало, как у ребенка, который выбегает из темноты на солнечный свет. Конца не было, не было…

И все же, при всем чувстве беспредельного облегчения и счастья, он трясся от страха; руки у него дрожали, глаза слезились, словно он посмотрел на солнце. В конце концов, плоть не

прозрачна. И странно сознавать, что ты достиг цели своей жизни.

Но он все смотрел и смотрел, и шел все дальше и дальше, с той же самой детской радостью, пока вдруг не оказалось, что он не может сделать ни шагу дальше; и тогда, сквозь слезы оглядевшись вокруг, он увидел, что в комнате темно, а высокие окна полны звезд.

Великий миг прошел; он видел, как он уходит. Он не пытался цепляться за него. Он знал, что он — часть этого мгновения, а не оно — часть его. Он был в его распоряжении.

Через некоторое время Шевек встал на дрожащие ноги и включил лампу. Он немного побродил по комнате, дотрагиваясь то до переплета книги, то до абажура лампы, радуясь, что вернулся, что опять находится среди знакомых предметов, опять в своем мире — потому что в тот момент разница между этой планетой и той, между Уррасом и Анарресом была для него не больше разницы между двумя песчинками на морском берегу. Не было больше бездн, не было стен. Не было больше изгнания. Он увидел основание вселенной, и оно было надежным.

Медленной и не очень твердой походкой Шевек вошел в спальню и, не раздеваясь, рухнул на кровать. Он лежал, закинув руки за голову, время от времени обдумывая то одну, то другую деталь еще предстоявшей ему работы, охваченный торжественной и счастливой благодарностью, которая постепенно перешла в светлую задумчивость, а по том — в сон.

Шевек проспал десять часов и проснулся с мыслью об уравнениях, которые выразят понятие интервала. Он подошел к письменному столу и принялся работать над ними. Во второй половине этого дня у него по расписанию были занятия, и он их провел; он пообедал в преподавательской столовой и побеседовал там со своими коллегами о погоде, и о войне, и обо всем остальном, о чем они заводили разговор. Если они и заметили в нем какие-то перемены, он этого не понял, потому что по существу даже не заметил их. Он вернулся к себе в комнату и снова сел работать.

В уррасских сутках было двадцать часов. В течение восьми дней Шевек ежедневно проводил по двенадцать, а то и по шестнадцать часов, сидя за письменным столом или слоняясь по комнате, часто глядя своими светлыми глазами в окна, за которыми сияло теплое весеннее солнце или звезды и рыжая Луна.

Эфор, войдя с завтраком на подносе, увидел, что Шевек лежит на кровати полуодетый и разговаривает на незнакомом языке. Он растолкал его. Конвульсивно вздрогнув, Шевек проснулся, встал и, шатаясь, вышел в другую комнату, к письменному столу, который был совершенно пуст; он уставился на компьютер, с которого была сброшена вся информация, и застыл, точно человек, который получил удар по голове, но еще не понял этого. Эфору удалось снова уложить его, и он сказал:

— Лихорадка есть, господин. Зову доктора?

— Нет!

— А может, господин?…

— Нет! Не пускайте сюда никого, Эфор. Говорите, что я болен.

— Тогда они точно приведут доктора. Могу сказать, господин, что вы все еще работаете. Это им нравится.

— Когда выйдете, заприте дверь, — сказал Шевек. Его непрозрачное тело подвело его: от переутомления он ослабел и поэтому был раздражителен и склонен к панике. Он боялся Паэ, Оииэ, боялся, что придет полиция с обыском. Ему живо и ужасающе вспомнилось все, что он раньше слышал, читал, о чем смутно догадывался относительно уррасской полиции, тайной полиции; так человек, признавшись себе, что болен, припоминает абсолютно все, что он когда-либо читал о раке. Он смотрел на Эфора лихорадочным, полным тревоги взглядом.

— Можете на меня положиться, — сказал Эфор, как всегда, сдержанно, быстро, с кривой улыбкой. Он принес Шевеку стакан воды и вышел; и замок наружной двери защелкнулся за ним.

Оба следующих дня он ухаживал за Шевеком с тактом, не имевшим отношения к его выучке слуги.

— Вам бы доктором быть, Эфор, — сказал Шевек, когда от его слабости осталась лишь чисто физическая, отчасти даже приятная вялость.

— Так моя старуха говорит. Никого не хочет за собой ухаживать, кроме меня, когда болеет. Говорит: «У тебя рука легкая». Наверно, так.

— Вы когда-нибудь работали с больными?

— Нет, господин. Не хочу иметь дело с больницами. Черный день — тот день, когда буду умирать в ихней заразной дыре.

— В больнице? А чем плохи больницы?

— Ничем, господин, — в которую вас свезут, если похужеет, — мягко ответил Эфор.

— Тогда о каких больницах говорите вы?

— Куда нас возят. Грязные. Как у мусорщика в заднице. — Эфор сказал это без возмущения, для наглядности. — Старые. В одной такой девчонка померла. Там в полах дырки, здоровущие дырки, перекрытия видать, так? Я говорю: «Это как же?» Понимаете, из дырок крысы лезут, прямо на койки. А они: «Здание старое, шестьсот лет уж, как больница». Название ей «Заведение Божественной Гармонии для бедных». Задница это, а не гармония, вот что.

— Ваша дочь умерла в больнице?

— Да, господин, моя дочка Лаиа.

— Отчего она умерла?

— Клапан в сердце. Они сказали. Росла плохо. Когда померла, два годочка.

— У вас есть другие дети?

— Живых нету. Трое родились. Старуха шибко убивалась. А теперь говорит: «Ну и что ж, зато теперь за них не переживать, и ладно». Вам угодно еще что-нибудь, господин?

Этот внезапный переход к манере выражаться, принятой в высших классах, неприятно поразил Шевека; он досадливо сказал:

— Да! Рассказывайте дальше.

Потому ли, что это вырвалось у него так непосредственно, или потому, что он был еще нездоров и ему следовало потакать, на сей раз Эфор не замкнулся.

— Было дело, хотел в армейские медики пойти, — сказал он, — но они меня вперед забрали. Призвали. Говорят: «Денщиком, будешь денщиком». Так и вышло. Хорошая специальность — денщик. Как из армии вернулся, так прямо и пошел в услужение.

— Так в армии вас могли выучить на медика? — Разговор продолжался. Шевек с трудом понимал Эфора, не только из-за языка, но и по смыслу. Эфор рассказывал ему о вещах, с которыми он никогда в жизни не сталкивался. Он никогда в жизни не видел ни крысы, ни солдатской казармы, ни сумасшедшего дома, ни богадельни, ни ломбарда, ни казни, ни вора, ни доходного дома, ни сборщика налогов, ни человека, который хочет работать и не может найти работу, ни мертвого младенца в канаве. Обо всем этом Эфор говорил, как о самых обычных вещах или о самых обычных ужасах. Чтобы хоть как-то понять все это, Шевеку пришлось напрячь воображение и припомнить все, что он знал об Уррасе, вплоть до самых отрывочных сведений. И, однако, все эти вещи были ему так знакомы, как ничто из виденного им здесь до сих пор, и он действительно понимал их.

Это был тот Уррас, о котором он узнал в школе на Анарресе. Это был мир, из которого бежали его предки, предпочтя голод и пустыню и бесконечное изгнание. Это был мир, который сформировал сознание Одо и восемь раз сажал ее в тюрьму за то, что она не держала свои мысли про себя. Это было человеческое страдание, в котором коренились идеалы его общества, почва, на которой они взошли.

Это не был «настоящий Уррас». Достоинство и красота комнаты, где сейчас находились он и Эфор, были так же реальны, как и убожество, в котором родился и жил Эфор. Для Шевека дело мыслящего человека состояло не в том, чтобы отрицать одну реальность за счет другой, а в том, чтобы включать одну в другую и соединять их. Это было нелегкое дело.

— Опять усталый вид, господин, — сказал Эфор. — Надо отдыхать.

— Нет, я не устал.

Эфор некоторое время разглядывал его. Когда Эфор выполнял свои обязанности слуги, его морщинистое, гладко выбритое лицо было совершенно лишено выражения; за последний час Шевек увидел, как на нем удивительным образом сменяются выражения суровости, веселости, цинизма и боли. В данный момент лицо Эфора было сочувственным и вместе с тем отчужденным.

— Все не так, как там, откуда вы, — сказал Эфор.

— Совсем не так.

— Там никто никогда не безработный. — В голосе Эфора был слабый оттенок не то иронии, не то вопроса.

— Никто никогда.

— И никто не голодный?

— Никто не голодает, когда другой ест.

— Ага…

— Но мы голодали. Мы умирали от голода. Знаете, восемь лет назад у нас был голод. Я тогда знал одну женщину, которая убила своего грудного ребенка, потому что у нее пропало молоко, а больше ему было нечего дать, совсем нечего. На Анарресе, Эфор, не сплошь… не сплошь молоко и мед.

— Я в этом не сомневаюсь, господин, — ответил Эфор, опять вернувшись к изящному выговору; и добавил, оскалив зубы: — Все равно, этих там никого нет!

— Этих?

— Вы же знаете, г-н Шевек. Как вы один раз сказали. Владельцев.

На другой день вечером зашел Атро. Паэ, должно быть, следил, потому что через несколько минут после того, как Эфор впустил старика, он вошел беспечной походкой и с обаятельным сочувствием осведомился о здоровье Шевека.

— Последнюю пару недель, сударь, вы слишком много работали, — сказал он, — вам не следует так переутомляться.

Он не сел и очень скоро откланялся — сама вежливость. Атро продолжал говорить о войне в Бенбили, которая постепенно превращалась, как он выразился, в «крупномасштабную операцию».

— А народ в вашей стране одобряет эту войну? — спросил Шевек, прервав лекцию о стратегии. Его удивляло отсутствие в «птичьих» газетах моральных суждений на эту тему. Они отказывались от своего шумно-возбужденного тона; их формулировки часто дословно совпадали с формулировками выпускаемых правительством телефакс-бюллетеней.

— Одобряет ли? Уж не думаете ли вы, что мы сложим лапки, ляжем и позволим этим чертовым тувийцам по нам ногами ходить? На карту поставлен наш статус великой державы!

— Но я говорил о народе, а не о правительстве. О… о народе, который должен воевать.

— Да им-то что до этого? Они привыкли к массовым мобилизациям. Для того они, милый мой, и существуют! Чтобы сражаться за свою страну. И позвольте вам сказать, что нет на свете солдата лучше, чем иотийский рядовой солдат, как только его приучат подчиняться приказам. В мирное время он, быть может, и разглагольствует, но в глубине, под всем этим, скрыто мужество. Самой главной нашей надеждой и опорой — как государства — всегда был простой

солдат. Так мы и стали той ведущей державой, какой являемся сейчас.

— Поднявшись по горе детских трупов? — спросил Шевек, но гнев, а может быть, и нежелание обидеть старика, в котором он не признавался себе, приглушили его голос, и Атро не расслышал.

— Нет, — продолжал Атро, — вы увидите, что, когда родине грозит опасность, душа народа верна и надежна, как сталь. В промежутках между войнами отдельные демагоги в Нио и фабричных городах поднимают большой шум, но до чего же великолепное зрелище — народ, который смыкает ряды, когда знамя его страны в опасности… Я знаю, вам не хочется этому верить. Знаете ли, милый мой, беда одонианства в том, что оно женственно. Оно просто не включает мужские стороны жизни. «Яркость битвы, кровь и сталь», как говорит старый поэт. Одонианство не понимает мужества… любви к знамени.

Шевек с минуту помолчал, потом мягко сказал:

— Возможно, это отчасти верно. По крайней мере, знамен у нас нет.

Когда Атро ушел, вошел Эфор, чтобы вынести поднос с грязной посудой. Шевек остановил его. Он подошел к нему вплотную и со словами:

— Извините, Эфор, — положил на поднос клочок бумаги, на котором заранее написал: «В этой комнате есть микрофон?»

Слуга наклонил голову, медленно прочитал записку и долго, в упор, смотрел на Шевека. Потом бросил быстрый косой взгляд на камин.

— В спальне? — спросил Шевек тем же способом.

Эфор отрицательно покачал головой, поставил поднос и пошел за Шевеком в спальню. Он закрыл за собой дверь бесшумно, как подобает хорошему слуге.

— Засек этот в первый день, когда пыль вытирал, — сказал он с усмешкой, от которой морщины на его лице стали жесткими и глубокими.

— А здесь нет?

Эфор пожал плечами:

— Ничего такого не заметил. Могу пустить там воду, господин, как в шпионских рассказах.

Они проследовали в роскошный бело-золотой храм унитаза. Эфор открыл все краны, затем осмотрел стены.

— Нет, — сказал он. — Не думаю. Я любую шпионскую штучку замечу. Научился, когда работал у одного в Нио. Как научишься их находить, так всегда их замечаешь.

Шевек вынул из кармана еще один клочок бумаги и показал его Эфору.

— Вы не знаете, откуда это взялось?

Это была записка, которую он тогда нашел у себя в куртке. «Присоединяйся к нам твоим братьям».

После паузы — он читал медленно, шевеля губами, — Эфор ответил:

— Я не знаю, откуда оно взялось.

Шевек был разочарован. Он-то думал, что у самого Эфора была прекрасная возможность сунуть что-нибудь хозяину в карман.

— Знаю, от кого оно. Вроде бы.

— От кого? Как мне их найти?

Снова молчание.

— Опасное дело, г-н Шевек. — Эфор отвернулся и пустил воду посильнее.

— Я не хочу никак впутывать вас в эту историю. Если бы вы только сказали мне… могли бы сказать мне, куда идти. О чем спрашивать. Хотя бы одно имя.

Еще более долгое молчание. Лицо Эфора осунулось, стало жестким.

— Я не… — сказал он и замолчал. Потом вдруг заговорил отрывисто и очень тихо:

— Слушайте, г-н Шевек. Видит Бог, вы нужны им, вы необходимы нам, но, понимаете, вы же не знаете, что это такое. Как вы станете прятаться? Такой человек, как вы? Который выглядит так, как вы? Здесь капкан, но всюду тоже капкан. Вы можете бежать, а прятаться не можете. Я не знаю, что вам сказать. Назвать вам имена — конечно. Спросите любого ниоти — скажет, куда идти. С нас уже хватит. Нам бы чуток воздуха — подышать. А поймают вас, застрелят — как я тогда буду? Я у вас восемь месяцев работаю, понравились вы мне. Зауважал вас. Они ко мне все время подъезжают. Я говорю: «Нет. Не трожьте его. Он хороший человек, а в наши беды ему лезть не надо. Пускай вернется, откуда прилетел, где люди свободные. Пусть хоть кто-то освободится из этой тюрьмы проклятой, в которой мы живем!»

— Я не могу вернуться. Пока еще не могу. Я хочу встретиться с этими людьми.

Эфор стоял и молчал. Быть может, только его многолетняя привычка слуги повиноваться хозяину заставила его наконец кивнуть и прошептать:

— Туио Маэдда, вам его надо. В Шутливом Переулке, в Старом Городе. Бакалейная лавка.

— Паэ говорит, что мне запрещается покидать университетский городок. Если они увидят, что я сажусь в поезд, они могут меня остановить.

— Может, такси, — сказал Эфор. — Я вам вызываю, вы спускаетесь по лестнице. Я знаю на стоянке Каэ Оимона. Он соображает. Но не знаю.

— Хорошо. Прямо сейчас. Паэ только что был здесь, видел меня, он думает, что я сижу дома, потому что болен. Сколько времени?

— Половина восьмого.

— Если я уйду сейчас, у меня будет целая ночь, чтобы найти, куда мне идти. Вызывайте такси, Эфор.

— Я соберу вам чемодан, господин…

— Чемодан с чем?

— Вам будет нужна одежда…

— На мне есть одежда! Дальше?

— Вы же не можете уйти без ничего, — запротестовал Эфор; это больше всего встревожило и напугало его. — У вас есть деньги?

— А… да. Это мне нужно взять.

Шевек уже рвался в путь; Эфор почесал голову и с угрюмым и мрачным видом отправился в холл, к телефону, вызывать такси. Вернувшись, он увидел, что Шевек уже сидит в куртке за дверью холла и ждет.

— Идите вниз, — неохотно сказал Эфор. — Каэ через пять минут у черного хода. Скажите ему ехать по Лесному Проезду, там нет контрольного пункта, не то, что у главных ворот. Через ворота не езжайте, там точно остановят.

— Вам попадет за это, Эфор?

Оба они говорили шепотом.

— Я не знаю про вас, что нету. Утром говорю, вы еще не встали. Спите. На сколько-то времени задержу их.

Шевек взял его за плечи, обнял, пожал ему руку.

— Спасибо тебе, Эфор!

— Счастливо вам, — в полной растерянности ответил слуга. Шевека уже не было.

День, проведенный Шевеком с Вэйей, обошелся ему дорого — почти во все его наличные деньги, а на поездку на такси до Нио ушло еще десять единиц. Шевек вышел на узловой станции метро и с помощью карты добрался на метро до Старого Города. Поднявшись из просторной мраморной станции на улицу, он растерялся. Она была нисколько не похожа на улицы Нио-Эссейя.

Шел мелкий дождь, затуманивавший воздух, и было совсем темно; улица не освещалась. Фонарные столбы стояли, но фонари то ли не были включены, то ли были разбиты. Там и сям сквозь щели ставен пробивались лучи желтого света. Немного подальше из открытой двери, возле которой стояла кучка громко разговаривающих мужчин, лился свет. Тротуар, жирно блестящий от дождя, был усыпан обрывками бумаги и отбросами. Витрины магазинов, насколько Шевеку удалось разглядеть, были низкие, и все были закрыты тяжелыми металлическими или деревянными ставнями, кроме одной, которая выгорела во время пожара и теперь зияла чернотой и пустотой, а в рамах ее еще торчали осколки стекла. Прохожие немыми торопливыми тенями скользили мимо.

Позади Шевека по ступеням поднималась какая-то старуха, и он обернулся к ней, чтобы спросить дорогу. В свете желтого фонаря он увидел ее лицо, бледное, морщинистое, с мертвыми, враждебными, усталыми глазами. В ушах у нее болтались большие стеклянные серьги. Она одолевала лестницу с трудом, сгорбившись то ли от усталости, то ли от артрита, то ли от какой-то деформации позвоночника. Но она не была старухой, как ему показалось сначала; ей не было и тридцати лет.

— Вы не скажете, где Шутливый Переулок? — заикаясь, спросил он у нее. Она безразлично взглянула на него, добравшись до конца лестницы, ускорила шаг и, не ответив ни слова, пошла дальше.

Шевек пошел по улице наугад. Возбуждение от внезапного решения и бегства из Иеу-Эуна перешло в смутную тревогу, в ощущение, что его гонят куда-то, что за ним охотятся, Кучку мужчин у открытой двери он обошел стороной — инстинкт подсказал ему, что одинокому прохожему не следует подходить к таким компаниям. Увидев, что впереди него идет мужчина, тоже один, он догнал его и повторил свой вопрос. Мужчина ответил:

— Не знаю, — и свернул в сторону.

Ничего не поделаешь, надо было идти вперед. Шевек подошел к перекрестку; поперечная улица, освещенная несколько лучше, в обоих направлениях уходила в туманный дождь, вся в тусклых, мрачных, безвкусных светящихся вывесках и рекламах. На ней было множество винных лавок и ломбардов; часть из них была еще открыта. На этой улице было довольно много народа; люди толкались, спешили мимо питейных заведений, входили в них, выходили. Прямо на улице, в сточной канаве, под дождем, укутав голову курткой, лежал человек — не то спящий, не то больной, не то мертвый… Шевек с ужасом, не отрываясь, смотрел на него и на всех остальных, проходивших мимо, не глядя.

Так он и стоял, словно парализованный, пока кто-то не остановился рядом с ним и не заглянул снизу вверх ему в лицо; это был низкорослый, небритый мужчина лет пятидесяти-шестидесяти с искривленной шеей, воспаленными веками и беззубым, смеющимся ртом. Он стоял и заливался идиотским смехом, трясущейся рукой показывая на большого, перепуганного человека.

— Откуда у тебя столько волос, а? А? Столько волос, откуда у тебя столько волос? — бормотал он.

— Вы… вы не скажете, как пройти в Шутливый Переулок?

— В Шутливый? — ага, я и сам шучу, шутить-то шучу, а вот за выпивку не заплачу, потому как нечем. А у тебя не найдется ли синенькой, чтоб выпить рюмочку в такую холодную ночь? Уж наверно, есть у тебя синенькая-то.

Он подошел ближе. Шевек увидел раскрытую ладонь, но не понял и попятился.

— Да ладно тебе, мужик, шуток, что ль, не понимаешь, мне ж только одну синенькую, — бормотал старик, не угрожая и не умоляя, машинально, так и не закрыв бессмысленно ухмыляющегося рта и протягивая руку.

Шевек понял. Он порылся в кармане, нашел остаток денег, сунул их в руку нищего и, похолодев от страха, — страха не за себя, — протиснулся мимо старика, который все еще что-то бормотал и пытался ухватить его за куртку, и кинулся к ближайшей открытой двери. Над ней была вывеска: «Ломбард и Торговля Подержанными Вещами — Самые Выгодные Цены». Внутри, между стойками с поношенными куртками, обувью, шалями, старыми инструментами, разбитыми лампами, разрозненной посудой, старыми канистрами, ложками, бусами, сломанной мебелью и другим хламом, причем на каждом предмете была этикетка с ценой, он остановился, стараясь взять себя в руки.

— Ищете что-нибудь?

Шевек еще раз повторил свой вопрос.

Владелец лавки, смуглый, высокий, ростом с Шевека, но сутулый и худой, смерил его взглядом.

— А вам зачем туда?

— Я ищу одного человека, который там живет.

— Сами-то откуда?

— Мне нужно попасть на эту улицу, Шутливый Переулок. Это далеко отсюда?

— Сами-то вы откуда?

— Я с Анарреса, с Луны, — раздраженно сказал Шевек. — Мне нужно в Шутливый Переулок, сейчас, сегодня вечером.

— Так вы и есть он? Тот самый ученый? А здесь-то какого черта делаете?

— Убегаю от полиции! Вы хотите сказать им, что я здесь, или поможете мне?

— Ах, чтоб меня… — сказал лавочник. — Чтоб меня… Слушайте… — Он замялся, хотел было что-то сказать, потом собрался сказать что-то другое, потом сказал:

— Идите-ка вы отсюда, — и, даже не запнувшись, хотя было ясно видно, что он решительно передумал, продолжил:

— Ладно. Я закрываюсь. Отведу вас туда. Погодите. Черт возьми!

Он ушел в свою заднюю комнату, повозился там, выключил свет, вышел с Шевеком из лавки, запер металлические ставни, запер дверь на висячий замок и, бросив: — Пошли! — быстро зашагал.

Они прошли двадцать или тридцать кварталов, все углубляясь в лабиринт кривых улочек и переулочков, в самое сердце Старого Города. В неровно освещенной тьме мягко падал мелкий, как изморось, дождь, усиливая запахи гнили, мокрого камня и мокрого металла. Они свернули в неосвещенный, без таблички с названием, проулок между высокими старыми доходными домами, нижние этажи которых были заняты главным образом магазинами. Проводник Шевека остановился и постучал в закрытое ставнями окно одного из таких магазинов: «В. Маэдда. Изысканные Бакалейные Товары». Дверь открылась очень не скоро. Хозяин ломбарда посовещался с человеком за дверью, потом сделал знак Шевеку, и они оба вошли. Их впустила девушка.

— Туио у себя в кабинете, проходите, — сказала она, снизу вверх глядя в лицо Шевека в слабом свете из коридора в глубине дома. — Вы — он? — Ее голос был слабым и настойчивым; она странно улыбалась. — Вы правда — он?

Туио Маэдда оказался смуглым мужчиной сорока с лишним лет, с усталым умным лицом. Когда они вошли, он закрыл конторскую книгу, куда что-то записывал, и быстро встал. Он поздоровался с хозяином ломбарда, назвав его по имени, но не отрывал глаз от Шевека.

— Туио, он приходит ко мне в лавку, спрашивает дорогу сюда. Говорит, он — этот… знаешь… ну, который с Анарреса.

— Это ведь так и есть, правда? — медленно проговорил Маэдда, — вы — Шевек. Что вы

здесь делаете? — Он в упор смотрел на Шевека испуганными, сияющими глазами.

— Ищу помощи.

— Кто послал вас ко мне?

— Первый же, кого я спросил. Я не знаю, кто он такой. Я спросил его, куда мне пойти, он сказал, что к вам.

— Кто-нибудь еще знает, что вы здесь?

— Они не знают, что я ушел. Завтра узнают.

— Сходи за Ремеиви! — велел Туио девушке. — Садитесь, г-н Шевек. И расскажите-ка мне, что происходит.

Шевек опустился на деревянный стул, но куртку не расстегнул. Он так устал, что его трясло.

— Я убежал, — сказал он. — Из Университета, из тюрьмы. Я не знаю, куда идти. Может быть, здесь только тюрьмы. Я пришел сюда, потому что они говорят о низших классах, о рабочих классах, и я подумал: похоже, что это — мои люди. Люди, которые, может быть, помогают друг другу.

— Какой помощи вы ждете?

Шевек сделал усилие, чтобы взять себя в руки. Он оглядел маленький, заваленный бумагами кабинет, перевел взгляд на Маэдду.

— У меня есть что-то, что им нужно, — сказал он. — Идея. Научная теория. Я прилетел сюда с Анарреса, так как думал, что здесь смогу сделать эту работу и опубликовать ее. Я не понимал, что здесь идеи — собственность государства. Я не работаю ни на какие государства. Я не могу брать деньги и вещи, которые они мне дают. Я хочу вырваться от них. Но я не могу улететь домой. Поэтому я пришел сюда. Вам не нужна моя наука, и, может быть, вы тоже не любите ваше правительство.

Маэдда улыбнулся.

— Да, не люблю. Но и наше правительство любит меня не больше, чем я его. Вы выбрали не самое безопасное место, как для себя, так и для нас… Не беспокойтесь, сегодня — это сегодня; мы решим, что делать.

Шевек вынул записку, найденную им в кармане куртки, и подал ее Маэдде.

— Вот что привело меня. Это от людей, которых вы знаете?

— «Присоединяйся к нам твоим братьям»… Не знаю. Возможно.

— Вы — одониане?

— Частично. Синдикалисты, Сторонники Свободы. Мы работаем с тувианистами, с Союзом Рабочих-Социалистов, но мы — антицентристы. Вы прибыли в довольно горячее время, знаете ли.

— Война?

Маэдда кивнул.

— Объявлено, что через три дня состоится демонстрация. Против мобилизации, военных налогов, повышения цен на продукты. В Нио-Эссейя — четыреста тысяч безработных, а они взвинчивают налоги и цены. — Все время, пока они разговаривали, Маэдда не сводил с Шевека глаз; теперь он отвел взгляд и откинулся на стуле, словно закончил исследование. — Этот город почти готов на все, что угодно. Забастовка — вот что нам нужно, всеобщая забастовка и массовые демонстрации. Как забастовка Девятого Месяца, которой руководила Одо, — добавил он с сухой, напряженной улыбкой. — Сейчас нам бы пригодился кто-нибудь вроде Одо. Но на сей раз у них нет Луны, чтобы откупиться от нас. Мы добьемся справедливости здесь — или нигде… — Он оглянулся на Шевека и добавил более мягким тоном:

— Знаете ли вы, что значило ваше общество здесь, для нас, в последние сто пятьдесят лет? Знаете ли вы, что, когда люди хотели пожелать кому-нибудь счастья, они говорили: «Желаю

тебе вновь родиться на Анаррресе!»… Знать, что оно существует… знать, что существует общество без правительства, без полиции, без экономической эксплуатации, что им больше никогда не удастся назвать это миражем, мечтой идеалиста! Хотел бы я знать, вполне ли вы понимаете, д-р Шевек, почему они так хорошо спрятали вас в Иеу-Эуне? Почему вам ни разу не позволили появиться ни на одном собрании, открытом для публики? Да, как только они обнаружат, что вас нет, они за вами кинутся, как собаки за кроликом! Не только потому, что им нужна эта ваша идея. А потому, что вы сам — идея. И опасная. Идея анархизма, которая оделась плотью. И ходит среди нас.

— Значит у вас есть ваша Одо, — сказала девушка, как и раньше, тихо и настойчиво; она опять вошла, пока говорил Маэдда. — В конце концов, Одо была всего лишь идеей. А д-р Шевек — доказательство.

Помолчав минуту, Маэдда возразил:

— Доказательство, которое нельзя предъявить.

— Почему?

— Если люди узнают, что вы здесь, то узнает и полиция.

— Пусть придут и попробуют его забрать, — улыбнувшись, сказала девушка.

— Демонстрация должна быть и будет абсолютно ненасильственной, — с внезапной силой сказал Маэдда. — Даже СРС согласен на это!

— Я на это не согласна, Туио. Я не собираюсь позволять черным мундирам разбить мне лицо или вышибить мозги. Если они меня ударят, я отвечу ударом.

— Если тебе нравятся их методы — присоединяйся к ним. Справедливости не добиться силой!

— А власти — пассивностью.

— Мы не добиваемся власти. Мы добиваемся, чтобы власть кончилась!… А вы что скажете? — с надеждой обратился Маэдда к Шевеку. — Средство есть цель — это всю жизнь утверждала Одо. Только мир ведет к миру, только справедливые действия приводят к справедливости. Нам нельзя разойтись во мнениях об этом накануне того, как начнем действовать.

Шевек посмотрел на него, на девушку и на хозяина ломбарда, который напряженно слушал, стоя у двери. Устало и тихо он ответил:

— Если я могу быть полезным — используйте меня. Может быть, я мог бы опубликовать заявление об этом в одной из ваших газет. Я прибыл на Уррас не затем, чтобы прятаться. Если все узнают, что я здесь, то, может быть, правительство побоится публично арестовать меня? Я не знаю.

— Вот именно, — сказал Маэдда. — Конечно. — В его темных глазах вспыхнуло возбуждение. — Куда, к черту, провалился Ремеиви? Сиро, позвони его сестре, скажи, чтобы она его разыскала и прислала сюда. Напишите, почему вы прилетели сюда, напишите про Анаррес, напишите почему вы не хотите продавать себя правительству, напишите, что хотите, а мы это напечатаем! Сиро! Позвони и Мэистэ тоже… Мы вас спрячем, но, клянусь Богом, мы сообщим каждому человеку в А-Ио, что вы здесь, что вы с нами! — он говорил, захлебываясь, у него тряслись руки, и он быстро ходил по комнате взад-вперед. — А потом, после демонстрации, после забастовки — посмотрим. Может быть, тогда все будет по-другому! Может быть, вам не придется скрываться!

— Может быть, распахнутся все двери всех тюрем, — сказал Шевек. — Что ж, дайте мне бумагу. Я напишу.

К нему подошла девушка Сиро. Улыбаясь, она остановилась, словно кланяясь ему, торжественно и чуть робко, и поцеловала его в щеку; потом вышла. Прикосновение ее губ было

прохладным, и Шевек еще долго ощущал его на своей щеке.

Один день Шевек провел на чердаке одного из доходных домов в Шутливом Переулке, а две ночи и один день — в подвале под магазином подержанной мебели, странном, плохо освещенном месте, полном пустых рам от зеркал и сломанных кроватей. Он писал. Уже через несколько часов ему приносили то, что он написал, напечатанным: сначала в газете «Современность», а потом, когда типографию «Современности» закрыли, а редакторов арестовали, — в листовках, отпечатанных в подпольной типографии, вместе с планами и призывами к демонстрации и всеобщей забастовке.

Он не перечитывал написанное. Он не особенно внимательно слушал Маэдду и других, описывавших, с каким энтузиазмом все это читалось, рассказывавших, как все больше людей принимает их план забастовки, и о том, какой эффект произведет его присутствие на демонстрации. Когда они оставляли его одного, он иногда вынимал из кармана рубашки маленький блокнот и смотрел на закодированные записи и уравнения Общей Теории Времени. Он смотрел на них и не мог их прочесть. Он не понимал их. Он снова прятал блокнот и сидел, обхватив голову руками.

У Анарреса не было флага, которым можно было бы размахивать; но среди плакатов, объявлявших о всеобщей забастовке, и сине-белых знамен Синдикалистов и Рабочих-Социалистов виднелось много самодельных плакатов с изображением зеленого Круга Жизни — старинного, двухсотлетней давности, символа Одонианского движения. Все флаги и плакаты ярко горели на солнце.

Хорошо было оказаться на улице после всех этих запертых комнат, в которых он прятался. Хорошо было шагать, размахивая руками, вдыхая чистый воздух весеннего утра. Быть среди такого множества людей, в такой огромной толпе; тысячи людей шагали вместе, заполнив не только широкую магистраль, по которой проходил их путь, но и все боковые улочки, и это было страшно, но и радостно. Когда они запели, радость и страх перешли в слепое ликование; глаза Шевека наполнились слезами. Тысячи голосов слились в одной песне; она мощно звучала в глубоких улицах, смягченная открытым воздухом и расстоянием, неразборчивая, потрясающая. Пение передних рядов, ушедших по улице далеко вперед, и пение бесконечной толпы народа, шедшей позади них, не совпадали по фазе из-за расстояния, которое должен был пройти звук, поэтому мелодия, казалось, все время отставала и нагоняла сама себя, как канон, и все части одной и той же песни звучали одновременно, в один и тот же момент, хотя каждый пел всю песню подряд, с начала до конца.

Шевек не знал их песен и только слушал; и музыка словно несла его; но вдруг из передних рядов по громадной медленной людской реке донеслась, волна за волной, знакомая ему мелодия. Он поднял голову и запел вместе с ними, на своем родном языке, так, как выучил ее когда-то, эту песню — Гимн Восстания. Двести лет назад его пел на этих улицах, на этой самой улице, этот народ, его народ.

Тех, кто спит глубоким сном,
Разбуди, с востока свет!
Разорвется в клочья тьма,
Будет выполнен обет.

В рядах вокруг Шевека замолчали, чтобы слышать его, и он запел громко, улыбаясь, шагая вперед вместе с ними.

На Капитолийской Площади собралась, быть может, сотня тысяч человек, а быть может, и больше. Отдельных людей, как частицы в атомной физике, невозможно было сосчитать, как невозможно было установить местонахождение и предсказать поведение каждого. И все же эта огромная масса — как масса — делала то, чего от нее ждали организаторы забастовки: она

собралась, шагала строем, пела, заполнила Капитолийскую Площадь и все окружающие ее улицы, стояла, беспокойная и все же терпеливая в своей бесчисленности, под ярким полуденным солнцем и слушала ораторов, голоса которых, беспорядочно усиленные репродукторами, отражались от залитых солнцем фасадов Сената и Директората и, повторенные эхом, дребезжали и шипели, перекрывая непрерывный, тихий, безграничный шум самой толпы.

Шевек подумал, что здесь, на площади, стоит больше людей, чем живет во всем Аббенае, но эта мысль была лишена смысла — попытка количественно выразить непосредственный опыт. Он стоял с Маэддой и остальными на ступенях Директората, перед колоннами и высокими бронзовыми дверями, и смотрел на подрагивающее, неяркое поле лиц, и слушал, как они слушают ораторов: не слыша и не понимая в том смысле, в каком слышит и понимает отдельный разумный человек, а, скорее, так, как человек рассматривает и слушает собственные мысли, или как мысль человека воспринимает и понимает его внутреннее «я». Когда он начал говорить, это мало отличалось от того, как он слушал. Им не двигала никакая собственная сознательная воля, он не чувствовал смущения. Однако его немного отвлекал многократно повторенный звук его собственного голоса, доносившийся из дальних репродукторов и отражавшийся от каменных фасадов зданий, поэтому он иногда запинался и говорил очень медленно. Но он ни разу не запнулся в поисках нужного слова. Он высказывал на их языке их мысли, их сущность, хотя говорил только то, что давным-давно сказал из своей самоизоляции, из центра своего существа.

Нас объединяет наше страдание. Это не любовь. Любовь не подчиняется разуму, а когда ее принуждают, превращается в ненависть. Связь, соединяющая нас, лежит за пределами выбора. Мы — братья. Мы братья в том, что разделяем друг с другом. Мы познаем наше братство в боли, которую каждый из нас должен терпеть в одиночестве, в голоде, в бедности, в надежде. Мы знаем наше братство потому, что нам пришлось узнать его. Мы знаем, что нам неоткуда ждать помощи — только друг от друга, что ничья рука не спасет нас, если мы сами не протянем друг другу руку. И рука, которую протягиваете вы, пуста, так же пуста, как моя. У вас нет ничего. Вам ничего не принадлежит. Все, что у вас есть, — это то, чем вы являетесь, и то, что вы даете.

Я здесь, потому что вы видите во мне обещание, обет, который мы дали двести лет назад, в этом городе — обет, который выполнен. Мы, на Анарресе, выполнили его. У нас нет ничего, кроме нашей свободы. Нам нечего дать вам, кроме вашей собственной свободы. У нас нет никаких законов, кроме единственного принципа — принципа взаимной помощи отдельных личностей. У нас нет правительства, кроме единственного принципа свободной ассоциации. У нас нет государств, нет наций, нет президентов, премьеров, вождей, генералов, хозяев, банкиров, помещиков, зарплаты, благотворительности, полиции, солдат, войн. И многого другого у нас тоже нет. Мы не владеем, мы делимся друг с другом. Мы не процветаем. Никто из нас не богат. Никто из нас не могуществен. Если вам нужен Анаррес, если вы стремитесь к такому будущему, то я говорю вам: вы должны придти в него с пустыми руками. Вы должны войти в это будущее одни, и голые, как ребенок входит в мир, в свое будущее — без всякого прошлого, без всякой собственности, и его жизнь полностью зависит от других людей. Вы не можете брать то, чего не отдавали, и вы должны отдать себя. Вы не можете купить Революцию. Вы не можете сделать Революцию. Вы можете только быть Революцией. Она у вас в душе — или ее нет нигде.

Когда он заканчивал речь, его голос начали заглушать треск и рев моторов приближавшихся полицейских вертолетов.

Он отошел от микрофонов и, щурясь от солнца, посмотрел вверх. То же сделали и многие в толпе, и движение их голов и рук было похоже на движение колосьев под ветром на залито солнцем поле.

Шум вращающихся пропеллеров вертолетов в огромной каменной коробке Капитолийской Площади был невыносим — грохот, тарахтение, тявканье — словно голос исполинского робота.

Он заглушал треск пулеметных очередей с вертолетов. Даже когда шум толпы перешел в смятенный вопль, сквозь него все равно был слышен грохот вертолетов, бессмысленный вой боевой техники, лишенное значения слово.

Вертолеты сосредоточили огонь на тех, кто стоял на ступенях Директората или ближе всего к ним. Портик здания, с его колоннами, мог служить укрытием для стоявших на ступенях и в несколько секунд был забит до отказа. Люди в панике кинулись в восемь улиц, отходивших от Капитолийской Площади, и шум толпы перешел в вой, похожий на вой урагана. Вертолеты кружили над самыми головами людей, но было не понять, стреляют ли они еще или перестали — в толпе была такая давка, что убитые и раненые не падали.

Окованные бронзой двери Директората рухнули с грохотом, которого никто не услышал. Толкаясь, давя друг друга, люди кинулись к ним, чтобы скрыться от стального дождя. Они сотнями проталкивались в огромные мраморные залы; некоторые пригибались и прятались в первую попавшуюся нишу, другие пробивались дальше, чтобы пройти насквозь и выйти черным ходом, третьи оставались, чтобы до прихода солдат переломать все, что удастся. Когда солдаты пришли, промаршировали в своих аккуратных черных мундирах вверх по ступеням среди мертвых и умирающих мужчин и женщин, они увидели на высокой, серой, отполированной стене огромного вестибюля слово, написанное на высоте глаз человека широкими мазками крови: ДОЛОЙ.

Солдаты выстрелили в мертвеца, лежавшего ближе всего к надписи; а когда Директорат снова привели в порядок, это слово смыли со стены водой, мылом и тряпками, но оно осталось; оно было сказано; оно обрело значение.

Шевек понял, что идти дальше с его спутником невозможно — тот все больше слабел и начал спотыкаться. Идти было некуда, но надо было уйти подальше от Капитолийской Площади. Остановиться тоже было негде. На бульваре Месээ толпа дважды пыталась оказать полиции сопротивление, но позади полиции шли армейские бронемашины, которые погнали людей вперед, к Старому Городу. Оба раза черные мундиры не стали стрелять, хотя с других улиц доносились выстрелы. Вертолеты с грохотом кружили над улицами, уйти от них было невозможно.

Спутник Шевека шел с трудом, дышал судорожно, со всхлипами, и хватал воздух открытым ртом. Шевек уже несколько кварталов наполовину вел его, наполовину тащил на себе, и теперь они далеко отстали от основной части толпы. Пытаться догнать ее было бесполезно.

— Сюда, садись сюда, — сказал он раненому и помог ему сесть на верхнюю ступеньку входа в какой-то подвальный склад, поперек закрытых ставен которого было крупно написано мелом: БАСТУЕМ. Он спустился к двери подвала и дернул ее; она была заперта. Все двери были заперты. Собственность была частной. Шевек поднял кусок камня, отломавшийся от угла ступеньки и сбил с двери висячий замок — не украдкой, не мстительно, а с уверенностью человека, отпирающего дверь своего дома. Он заглянул в подвал. Там было полно каких-то ящиков и не было людей. Он помог своему спутнику сойти по ступенькам, закрыл за собой дверь и сказ ал:

— Садись сюда. А если хочешь, ложись. Я посмотрю, нет ли воды.

В подвале, по-видимому, был химический склад: В нем был установлен длинный ряд раковин и была система пожарных шлангов. Когда Шевек вернулся к раненому, тот был без сознания. Он воспользовался этим, чтобы обмыть ему руку струйкой воды из шланга и осмотреть рану. Дело обстояло хуже, чем он предполагал. В руку, видимо, попало несколько пуль, оторвав два пальца и изуродовав ладонь и запястье. Из раны, как зубочистки, торчали осколки раздробленной кости. Когда с вертолетов начали стрелять. этот человек стоял рядом с Шевеком и Маэддой; попавшие в него пули отбросили его к Шевеку, и он ухватился за него,

чтобы не упасть. Шевек обхватил его за плечи и держал так все время, пока они уходили через Директорат; в этой первой дикой давке двоим было легче устоять на ногах, чем одному.

Он сделал все что смог, чтобы остановить кровотечение, наложив жгут, и чтобы перевязать или хотя бы прикрыть рану, и напоил раненого. Шевек не знал, как его зовут; судя по нарукавной повязке, он был членом СРС; на вид он был ровесником Шевека — лет сорок, может быть, чуть постарше.

На Юго-Западе, на заводах Шевеку приходилось видеть людей, у которых ранения от несчастных случаев были куда тяжелее, чем это, и он знал, что человек может перенести невероятно тяжелые травмы и боль и выжить. Но там раненым оказывали помощь. Там был хирург, чтобы сделать ампутацию, плазма, чтобы компенсировать потерю крови, постель, чтобы уложить пострадавшего.

Он сел на пол рядом с раненым, который теперь был в полусознании от шока, и стал оглядывать стоявшие вокруг штабеля ящиков, длинные темные проходы между ними, беловатый отблеск дневного света из зарешеченных, узких, как щели, окон в стене фасада, белые полосы селитры на потолке, следы сапог рабочих и колес тележек на пыльном цементном полу. Только что сотни тысяч людей пели под открытым небом; прошел час — и вот двое прячутся в подвале.

— Вы достойны презрения, — по-правийски сказал Шевек своему спутнику. — Вы не умеете держать двери открытыми. Вы никогда не будете свободными.

Он на время ослабил жгут, потом встал, прошел по темному подвалу к двери и поднялся на улицу. Бронемашины уже прошли. По улице торопливо, опустив голову, как по вражеской территории, проходили отставшие от демонстрации люди; их было очень мало. Шевек тщетно пытался остановить двоих; третий, наконец, остановился на его оклик.

— Мне нужен доктор, там раненый. Вы можете прислать сюда доктора?

— Лучше заберите его отсюда.

— Помогите мне вынести его.

Прохожий заспешил дальше.

— Они идут сюда, — крикнул он через плечо. — Лучше сматывайтесь!

Больше прохожих не было, и вскоре Шевек увидел в дальнем конце улицы шеренгу черных мундиров. Он вернулся в подвал, закрыл дверь и снова уселся на пыльный пол рядом с раненым. «Черт», — сказал он.

Через некоторой время он достал из кармана рубашки блокнот и начал его штудировать.

В конце дня, осторожно выглянув наружу, Шевек увидел стоящую поперек улицы бронемашину; две другие перегораживали перекресток. Этим и объяснялись крики, которые он недавно слышал: это, должно быть, солдаты отдавали друг другу приказания.

Атро однажды объяснил ему, как это делается: сержанты имеют право отдавать приказания рядовым, лейтенанты — сержантам и рядовым, капитаны… и так далее, и так далее, вплоть до генералов, которые имеют право отдавать приказания всем остальным, а им самим не может отдавать приказания никто, кроме главнокомандующего. Шевек тогда слушал с недоверчивым отвращением.

— И вы называете это организацией? — спросил он Атро. — И даже дисциплиной? Но это же ни то, ни другое. Это необычайно малоэффективный механизм принуждения — нечто вроде паровой машины Седьмого Тысячелетия! Что можно сделать стоящего при помощи такой негибкой и хрупкой структуры?

Это дало Атро возможность доказать, что война полезна, так как воспитывает в людях храбрость и выпалывает непригодных, как сорняки; но само направление его аргументов вынудило его признать эффективность партизанских отрядов, организованных снизу, подчиняющихся собственной дисциплине.

— Но это эффективно только тогда, когда люди думают, что воюют за что-то свое, собственное, знаете ли, за свой родной дом или за какую-нибудь идею, — сказал тогда старик, Шевек не стал больше спорить. Теперь он продолжал свой спор, сидя в темнеющем подвале среди штабелей ящиков с реактивами без этикеток. Он объяснил Атро, что теперь он понимает, почему армия организована именно так. Это действительно совершенно необходимо. Раньше он не понимал, что цель состоит в том, чтобы дать возможность людям с пулеметами без затруднений убивать безоружных мужчин и женщин, когда им велят это делать. Только он все еще не может понять, причем тут храбрость, или мужество, или пригодность.

Когда стало еще темнее, он стал иногда обращаться и к раненому тоже. Теперь тот лежал с открытыми глазами; раза два он застонал, как-то по-детски, терпеливо, так, что у Шевека защемило сердце. Все время, пока они в первый момент паники врывались с толпой в Директорат, и прорывались через него, и бежали, а потом шли к Старому Городу, раненый мужественно старался держаться и идти самостоятельно; он спрятал раненую руку под куртку и прижал ее к боку, и изо всех сил старался не отставать и не задерживать Шевека. Когда он застонал во второй раз, Шевек взял его за здоровую руку и прошептал:

— Не надо, не надо, брат, — просто потому, что не мог слышать, как тот мучается, не имея возможности ничем ему помочь. Раненый, должно быть, подумал, что Шевек имеет в виду, что его стоны могут выдать их полиции, поэтому он слабо кивнул и плотно сжал губы.

Они провели в подвале трое суток. Все это время в районе склада то и дело вспыхивала стрельба, а квартал бульвара Месээ по-прежнему был блокирован армией. Возле этого квартала стрельбы не было ни разу, а солдат было очень много, так что у скрывавшихся не было никаких шансов выбраться из подвала, не сдавшись военным. Однажды, когда раненый был в сознании, Шевек спросил его:

— Если бы мы вышли к полиции, что бы они с нами сделали?

Его товарищ улыбнулся и прошептал:

— Расстреляли бы.

Поскольку вокруг подвала, и вдали, и вблизи, уже несколько часов слышались отдельные выстрелы, а иногда и взрывы снарядов, и тарахтение вертолетов, его мнение было, по-видимому, вполне обосновано. Почему он улыбнулся, было менее понятно.

В эту ночь, когда они бок о бок, чтобы было теплее, лежали на матраце, который Шевек сделал из соломы, лежавшей в ящиках с реактивами, раненый умер от потери крови. Он уже окоченел к тому времени, как Шевек проснулся, и сел, и стал слушать тишину в этом большом темном подвале, и снаружи на улице, и во всем городе — смертную тишину.

Глава десятая. АНАРРЕС

Железнодорожные пути на Юго-Западе проложены большей частью по насыпям на метр, а то и больше, выше равнины. На таких поднятых путях пыли было меньше, и пассажирам было лучше видно запустение.

Юго-Запад был лишь одним из восьми Секторов Анарреса, в которых отсутствовали крупные водоемы. Летом на дальнем юге таяли полярные льды, образуя болота; ближе к экватору были только мелкие щелочные озера посреди необъятных солончаков. Гор не было, через каждую сотню километров, или около того, с севера на юг шла цепь холмов, иссохших, растрескавшихся, с выветренными отвесными обрывами и остроконечными вершинами. На них виднелись фиолетовые и красные полосы, а на отвесных поверхностях обрывов резкими серо-зелеными вертикальными полосами рос скальный мох — растение, выживавшее при любой жаре, любой засухе, любом ветре; эти полосы пересекались с полосатым рисунком песчаника, образуя клетчатый узор. В ландшафте не было никаких других красок, кроме буровато-серой; там, где простирались наполовину заметенные песком солончаки, этот цвет переходил в беловатый. Над равнинами проплывали редкие грозовые тучи, ослепительно белые на лиловом небе. Дождя они не давали, только бросали тень. И позади товарного поезда, и впереди него, насколько хватало глаз, лежала прямая, без изгибов, насыпь, а на ней — сверкающие рельсы.

— С Юго-Западом только одно и можно сделать, — сказал машинист, — поскорее его проскочить.

Его попутчик ничего не ответил, потому что спал. Голова у него тряслась в такт вибрации мотора. Его руки, загрубевшие от тяжелой работы и почерневшие от обморожения, свободно лежали у него на коленях; его лицо, расслабленное сном, было морщинистым и печальным. Он попросил подвезти его еще в Медной Горе, а так как других пассажиров не было, машинист пригласил его в кабину, чтобы было веселее ехать. Пассажир сразу же заснул. Машинист время от времени поглядывал на него — разочарованно, но сочувственно. За последние годы он видел столько измотанных людей, что такое состояние стало казаться ему нормальным.

В конце длинного дня пассажир проснулся, некоторое время смотрел неподвижным взглядом в окно, на пустыню, потом спросил:

— Ты всегда ходишь в эти рейсы один?

— Последние три-четыре года.

— Когда-нибудь здесь ломался?

— Пару раз. В шкафчике продуктов и воды — в навал. А ты, кстати, не голодный?

— Пока нет.

— В тот же день или назавтра из Одинокого высылают ремонтную бригаду.

— Это следующий поселок?

— Ага. От Седепских рудников до Одинокого тысяча семьсот километров. Самый длинный перегон на Анарресе. Я уж одиннадцать лет тут езжу.

— Не надоело?

— Нет. Я свою работу люблю делать один.

Пассажир кивнул, соглашаясь.

— И здесь всегда одно и то же. Я люблю, когда все привычное; думать не мешает. Пятнадцать дней в рейсе, пятнадцать — свободных, с партнершей в Новой Надежде. Каждый год напролет — засуха ли, голод ли, еще там чего. Ничего не меняется, здесь и так всегда засуха. И маршрут мне нравится. Слышь, достань-ка воду. Охладитель там, под шкафчиком.

Каждый основательно хлебнул из бутылки. Вода была затхлая, с щелочным привкусом, но

прохладная.

— Ах, хорошо! — благодарно сказал пассажир. Он убрал бутылку обратно и, вернувшись на свое место в передней части кабины, потянулся, упершись руками в потолок.

— Так ты, значит, в партнерстве состоишь, — сказал он с простодушием, которое понравилось машинисту, и тот ответил:

— Восемнадцать лет.

— Самое начало.

— Черт возьми, я с тобой согласен! А вот некоторые этого не понимают. Но я на это так смотрю: если ты молоденьким парнишкой или девчонкой вдоволь насовокуплялся, то ты тогда и получил больше всего удовольствия, а заодно и понял, что все это, в общем, одно и то же, хотя и здорово. Но все ж таки разница-то — не в самом совокуплении. А в человеке, с которым совокупляешься. А чтобы разобраться в этой разнице, восемнадцать лет как раз и есть самое начало, это точно. По крайней мере, если стараешься разобраться в женщине. Женщина-то виду не показывает, что не может разобраться в мужчине, да ведь, может, они притворяются… Во всяком случае, в этом-то все удовольствие и есть. В том, что не понимаешь, в притворстве в этом, во всем таком. Разнообразие. Разнообразие-то не в том, чтобы метаться с места на место. Я в молодости весь Анаррес объехал. В каждом секторе водил поезда и брал грузы. Девушек в разных городах знал, поди-ка, сотню. И стало мне скучно. Вернулся я сюда, и каждые три декады езжу по этому маршруту, весь год напролет, через эту самую пустыню, в которой один бархан от другого не отличишь, и возвращаюсь домой к той же самой партнерше — и ни разу мне не стало скучно. Человек не теряет интереса к жизни не оттого, что мотается с места на место. А в том штука, чтобы привлечь время на свою сторону. Работать вместе с ним, а не против него.

— То-то и есть, — сказал пассажир.

— У тебя-то партнерша где?

— На Северо-Востоке. Уже четыре года.

— Это слишком долго, — сказал машинист. — Они должны были направить вас вместе.

— Только не туда, где был я.

— Это где же?

— В Локте, потом в Большой Долине.

— Про Большую Долину я слыхал. — Теперь машинист смотрел на пассажира почтительно, как на выжившего в катастрофе. Он заметил, какой сухой кажется загорелая и обветренная кожа его попутчика, будто его до костей иссушило ветром; он видел это и у других, кто пережил годы голода в Пыли. — Не надо было нам стараться удержать этот комбинат на ходу.

— Фосфаты были нужны.

— Но ведь, говорят, когда продуктовый поезд остановили в Портале, комбинат все равно работал, и люди умирали от голода прямо в цехах. Просто отходили чуть в сторонку, ложились и умирали. Было так?

Пассажир молча кивнул. Машинист не стал больше расспрашивать, но через некоторое время сказал:

— Я вот думаю — что бы я стал делать, если бы на мой поезд вдруг напала толпа?

— До сих пор такого не случалось?

— Нет. Понимаешь, я ж продукты не вожу; ну, самое большее — одну платформу для Верхнего Седепа. Это рудный маршрут. А вдруг бы я попал на продуктовый маршрут, и меня бы остановили. Что бы я стал делать? Переехал бы их и доставил еду, куда положено? Но черт возьми, это ж бы пришлось ребятню давить да стариков? Они, конечно, неправильно делают, а ты их за это убиваешь, да? Не знаю!

Из-под колес убегали блестящие прямые рельсы. Облака на западе отбрасывали на равнину гигантские дрожащие миражи, призраки снов озер, высохших десять миллионов лет назад.

— Один синдик, я его много лет знаю, в шестьдесят шестом году как раз так и сделал, немного к северу отсюда. Они хотели отцепить от его поезда платформу с зерном. Он дал задний ход, задавил пару-тройку из них, пока они не освободили рельсы; он говорит, их было много — что червей в гнилой рыбе. Он говорит, эту платформу с зерном ждут восемьсот человек, а сколько из них умрет, если она до них не дойдет? Больше, чем пара-тройка, много больше. Так что он вроде как бы и прав. Но черт возьми! Я не умею так цифры складывать. Я не знаю, правильно это — людей считать, как считают числа — или нет. А только как же быть-то? Которых убивать?

— Когда я второй год был в Локте, я работал табельщиком, и заводской синдикат урезал нормы питания. Кто работал на заводе по шесть часов, получал полную норму — по такой работе в обрез хватало. Кто работал по три часа, получал три четверти нормы. Больным и тем, кто от слабости не мог работать, давали по пол-нормы. А от пол-нормы не выздоровеешь. Не сможешь вернуться на работу. Выжить-то, может быть, и выживешь. И назначать людям по полнормы, людям, которые уже и так были больны, должен был я. Я работал полный рабочий день, иногда и по восемь-десять часов, канцелярская работа, и поэтому я получал полную норму. Я ее заслужил. Я ее заслужил тем, что составлял списки тех, кому положено было умирать с голоду. — Светлые глаза пассажира смотрели вперед, в сухой свет пустыни. — Как ты сказал, я был должен считать людей.

— И ты бросил?

— Да. Бросил. Уехал в Большую Долину. Но на комбинате в Локте кто-то взялся составлять эти списки. Желающие составлять списки всегда найдутся.

— А вот это неправильно, — сказал машинист, свирепо хмурясь в слепящем блеске солнца. Лицо и голова у него были лысые и коричневые, от щек до затылка волос совсем не осталось, хотя ему было не больше сорока пяти лет. Это было сильное, грубое и невинное лицо. — Это никуда не годится. Они должны были закрыть комбинат. Нельзя просить человека делать такие вещи. Что мы, не одониане, что ли? Конечно, человек может сорваться. Так и получилось с этими людьми, которые толпой нападали на поезда. Они были голодные, детишки были голодные, слишком долго они голодали, а тут еду везут, да только мимо, не для них эта еда, и тут уж они не выдерживают и бросаются. То же самое и с другом, эти люди растаскивали поезд, за который он отвечал, вот он и сорвался и дал задний ход. Он по головам не считал. Тогда — нет! Может, после. Потому что когда он увидел, чего натворил, ему плохо стало. Но вот то, что они тебя заставили делать — говорить, этому, мол, жить, а этому помирать — это не та работа, которую человек имеет право делать сам или просить кого-нибудь ее делать.

— Плохое это было время, брат, — тихонько сказал пассажир, глядя на слепящую равнину, где колебались и плыли под ветром тени воды.

Старый грузовой дирижабль перевалил через горы и приземлился в аэропорту на Горе-Почке. Там сошли три пассажира. Как только последний из них ступил на землю, она зашевелилась и вздыбилась.

— Землетрясение, — заметил он; он был местный и возвращался домой. — Черт, ты гляди, какая пылища! Вот однажды прилетим сюда, сядем, а горы-то никакой не окажется.

Двое пассажиров решили ждать, пока грузовики погрузятся, и ехать на них. Шевек решил идти пешком, потому что местный житель сказал, что Чакар — всего километрах в шести отсюда, ниже по склону горы.

Дорога была — сплошной серпантин, и в конце каждого изгиба был короткий подъем. Слева от дороги склон уходил вверх, справа — вниз. На склонах густо росли кусты холума; вдоль

подземных ручьев по горным склонам шли ряды высоких холумовых деревьев, и промежутки между ними были такими аккуратными, словно их сажали люди. На гребне одного из подъемов Шевек увидел за темными складчатыми холмами ясное золото заката. Здесь не было никаких следов человека, кроме самой дороги, уходившей вниз, в полумрак. Когда он начал спускаться, в воздухе послышался слабый гул, и он почувствовал что-то странное — не толчок, не дрожь, а смещение, уверенность, что что-то неладно. Он закончил шаг, который начал, и земля ушла из-под его ноги. Он пошел дальше; дорога по-прежнему лежала под ногами. Он не был в опасности, но никогда прежде, ни при какой опасности он не чувствовал, что смерть так близка. Смерть была в нем, под ним; сама земля была неверной, ненадежной. Прочное, надежное — это обещание, данное человеческим разумом. Во рту, в легких Шевек чувствовал холодный, чистый воздух. Он прислушался. Где-то вдали, внизу, в сгущавшейся темноте ревел горный поток.

Поздними сумерками Шевек вошел в Чакар. Небо над черными хребтами гор было темно-фиолетовым. Ярко и одиноко пылали уличные фонари. При искусственном освещении фасады домов казались непрочными, за ними темнел склон заросшей холумом горы. Здесь было много пустырей, много отдельно стоящих домов: старый город, пограничный город, одинокий, беспорядочно застроенный. Прохожая объяснила Шевеку, как пройти к бараку номер восемь: «Вон туда, брат, мимо больницы, в конец улицы». Улица уходила во тьму под горным склоном и заканчивалась у двери низкого здания. Он вошел и оказался в вестибюле барака провинциального городка, напоминавшим ему детство, места, где он жил с отцом, в Свободе, на Барабанной Горе, в Широких Равнинах: тусклая лампочка, залатанные циновки, приколотые на доске объявлений расписание собраний синдикатов, объявление о местной учебной группе слесарей-механиков и афиша спектакля, состоявшегося три недели назад; над диваном в комнате отдыха — написанная художником любителем картина в раме, изображающая Одо в тюрьме; самодельная фисгармония; у входной двери — список жильцов и расписание подачи горячей воды в городских банях.

Шерут, Таквер — номер 3.

Он постучал, глядя, как в темной поверхности немного перекошенной двери отражается лампа из холла. Женский голос сказал: «Входи!». Он открыл дверь.

Лампа в комнате, более яркая, была позади нее. Секунду Шевек не мог разглядеть, Таквер ли это. Она стояла к нему лицом. Неуверенным, незавершенным движением она протянула к нему руки, словно хотела не то оттолкнуть его, не то обнять. Он взял ее за руку, и они обнялись, кинулись друг к другу и стояли, обнявшись, на ненадежной земле.

— Входи, — сказала Таквер, — ох, входи, входи же.

Шевек открыл глаза. В глубине комнаты, которая все еще казалась ему очень ярко освещенной, он увидел серьезное, настороженное лицо маленькой девочки.

— Садик, это Шевек.

Девочка подошла к Таквер, крепко обхватила ее ногу и расплакалась.

— Да не плачь же, сердечко, что же ты плачешь?

— А ты чего? — прошептала девочка.

— От счастья! Только от счастья. Садись ко мне на колени. Но Шевек, Шевек! Письмо от тебя пришло только вчера! Я хотела, когда отведу Садик спать, зайти на телефонный пункт. Ты же писал, что позвонишь сегодня, а не что приедешь сегодня! Ну, не плачь, Садики, смотри, я уже не плачу, правда же?

— Дядька тоже плакал.

— Конечно, плакал.

Садик посмотрела на Шевека с недоверчивым любопытством. Ей было четыре года. У нее была круглая головка, круглое личико, вся она была круглая, темненькая, пушистая, мягкая.

В комнате не было никакой мебели, кроме двух спальных помостов. Таквер села на один из них, держа на руках Садик. Шевек сел на другой и вытянул ноги. Он утер глаза тыльной стороной руки и показал ее Садик.

— Видишь, — сказал он, — мокрая. И из носа течет. Ты пользуешься носовым платком?

— Да. А ты — нет?

— Я тоже, только он потерялся в прачечной.

— Я могу с тобой поделиться носовым платком, которым я пользуюсь, — помолчав, сказала Садик.

— Он не знает, где лежит платок, — сказала Таквер.

Садик слезла с колен матери и принесла носовой платок из ящика стенного шкафа. Она отдала его Таквер, а Таквер передала Шевеку.

— Он чистый, — сказала Таквер со своей обычной широкой улыбкой. Садик внимательно смотрела, как Шевек вытирает нос.

— Только что было землетрясение? — спросил он.

— Да тут все время трясет, мы уж и не замечаем, — ответила Таквер, но Садик, радуясь, что ей есть, что рассказать, сказала своим тоненьким хрипловатым голосом:

— Да, до обеда было сильное. Когда землетрясение, стекла в окнах делают «дзинь», и пол качается, и надо стоять в дверях или выходить на улицу.

Шевек взглянул на Таквер. Она взглядом ответила ему. Она постарела больше, чем на четыре года. Зубы у нее всегда были неважные, а теперь два выпали, сразу за верхними резцами, так что, когда она улыбалась, были заметны пустые места. Кожа у нее уже не была упругой, как в юности, а волосы, аккуратно стянутые сзади, потеряли блеск.

Шевек отчетливо видел, что Таквер утратила грацию молодости и превратилась в некрасивую, усталую женщину средних лет. Он видел это яснее, чем мог бы увидеть любой другой. Он видел все в Таквер так, как не мог бы увидеть никто, кроме него — с точки зрения многих лет близости с ней и многих лет тоски по ней. Он видел ее такой, какой она была сейчас.

Их глаза встретились.

— Как… как у вас здесь дела? — спросил он, внезапно покраснев; было видно, что он сказал первое, что пришло в голову. Таквер почувствовала, как волной нахлынуло его желание. Она тоже слегка покраснела и, улыбнувшись, ответила своим хрипловатым голосом:

— Да так же, как когда мы разговаривали по телефону.

— Но это было шесть декад назад!

— Здесь ведь мало что меняется.

— Здесь очень красиво… холмы… — В глазах Таквер он видел тьму горных долин. Желание стало таким острым, что у него на миг закружилась голова, потом он на время справился с этим приступом и попытался подавить эрекцию.

— Как ты думаешь, ты захочешь остаться здесь? — спросил он.

— Мне все равно, — ответила она своим странным, глубоким, хрипловатым голосом.

— А у тебя нос все еще течет, — живо, но без злорадства заметила Садик.

— Скажи спасибо, что это все, — ответил Шевек. Таквер сказала:

— Тише, Садик, не эгоизируй! — Оба взрослых засмеялись. Садик продолжала разглядывать Шевека.

— Город-то мне нравится, Шев. Люди хорошие, все разные. Но вот работа неинтересная. Просто лабораторная работа в больнице. Нехватка лаборантов, кажется, кончается. Скоро я смогу уехать, не подводя их. Я бы хотела вернуться в Аббенай, если ты имел в виду это. Ты получил новое назначение?

— Я его не просил и не проверял, есть ли оно. Я целую декаду был в дороге.

— Что ты делал в дороге?

— Ехал по ней, Садик.

— Он ехал с края света, Садик, с юга, из пустынь, чтобы приехать к нам, — сказала Таквер. Девочка улыбнулась, поудобнее устроилась у нее на коленях и зевнула.

— Шев, ты ел? Ты устал? Я должна отправить ее спать, мы как раз собирались идти, когда ты постучал.

— Она уже спит в детском общежитии?

— Да, с начала этого квартала.

— Мне было четыре года, — объявила Садик.

— Надо говорить: «Мне четыре года», — поправила Таквер, осторожно спустив ее с колен, чтобы достать из стенного шкафа куртку. Садик встала, повернувшись к Шевеку боком; она все время помнила, что он здесь, и все ее замечания были обращены к нему.

— Но мне уже было четыре года, а теперь мне уже больше.

— Вся в отца — темпоралистка!

— Не бывает, чтобы сразу было и четыре года, и больше, чем четыре года, правда? — спросила девочка, уловив одобрение и обращаясь теперь непосредственно к Шевеку.

— Нет, бывает, сколько угодно. И тебе тоже может быть сразу и четыре года, и скоро пять лет. — Сидя на низком помосте, он мог держать голову на уровне лица девочки, так что ей не приходилось смотреть на него снизу вверх. — Но я, видишь ли, забыл что тебе уже скоро пять. Когда я тебя видел в последний раз, ты была совсем крошечная.

— Правда? — Это было сказано явно кокетливым тоном.

— Да. Ты была вот такая. — Шевек не очень далеко развел ладони.

— А я умела разговаривать?

— Ты говорила «уаа» и еще кое-что.

— А я будила всех в бараке, как малыш у Чевен? — спросила она с широкой, веселой улыбкой.

— Конечно.

— А когда я научилась разговаривать по-взаправдашнему?

— Примерно в полтора года, — сказала Таквер, — и с тех пор так ни разу и не замолчала. Где шапка, Садикики?

— В школе. Я эту шапку ненавижу, — доложила Садик Шевеку.

Они привели дочку по ветреным улицам в общежитие учебного центра и вошли с ней в вестибюль. Он тоже был маленький и убогий, но глаз радовали детские рисунки, несколько отличных латунных моделей паровозов и куча игрушечных домиков и раскрашенных деревянных человечков. Садик поцеловала на ночь мать, потом повернулась к Шевеку и протянула вверх руки; он нагнулся к ней; она деловито, но крепко поцеловала его и сказала: «Спокойной ночи!».

Зевая, она ушла с ночной дежурной. Они слышали ее голос и тихие уговоры дежурной — не шуметь.

— Она красивая, Таквер. Красивая, умная, крепкая.

— Боюсь, что избалованная.

— Нет, нет. Ты справилась прекрасно, просто фантастически… в такое время…

— Здесь было не так уж и плохо, не так, как на юге, — сказала Таквер, снизу вверх заглядывая ему в лицо, когда они вышли из общежития. — Здесь детей кормили. Не очень хорошо, но достаточно. Здесь можно выращивать еду. Уж в крайнем случае есть кустарник холума, можно набрать дикого холума и истолочь в муку. Здесь никто не голодал. Но Садик я все же избаловала. Я ее до трех лет кормила грудью, а что тут такого, чем бы я ее хорошим могла кормить, если бы отняла от груди? Но на исследовательской станции в Рольни этого не

одобряли. Они хотели, чтобы я ее там сдала в круглосуточные ясли. Они говорили, что я веду себя по отношению к ребенку, как собственница, и не отдаю все силы обществу для борьбы с критической ситуацией. По существу, они были правы. Но они были такие добродетельные. Никто из них не понимал, что значит чувствовать себя одинокой. Они все было такие коллективисты, индивидуальностей среди них не было. За это кормление грудью меня грызли именно женщины. Настоящие спекулянтки телом. Я цеплялась за это место, потому что там была хорошая еда — надо было пробовать водоросли, чтобы определить, хороши ли они на вкус, иногда получалось гораздо больше стандартной нормы, хоть на вкус они были, как клей… а потом они нашли мне замену, более подходящую для них. Потом я примерно на десять декад уехала в Начнем-Сначала. Это было зимой, два года назад, когда письма не ходили, когда там, где ты был, было так плохо. В Начнем-Сначала я увидела в списках это место и приехала сюда. Садик до этой осени оставалась со мной в бараке. Я до сих пор без нее скучаю. В комнате так тихо.

— Но ведь есть соседка по комнате?

— Шерут, она очень славная, но она работает в больнице в ночную смену. Садик было пора отправлять, ей полезно жить среди детей. А то она начала становиться застенчивой. Она очень хорошо держалась, когда я ее туда отдавала, очень стоически. Маленькие дети вообще стоики. Они плачут, если набьют себе шишку, но серьезные вещи принимают спокойно, не ноют, как многие взрослые.

Они шли рядом. Показались осенние звезды, в невероятном количестве и невероятно яркие, они мерцали и почти мигали из-за пыли, поднятой землетрясением и ветром; от этого казалось, что все небо дрожит, словно кто-то встряхивает осколки алмазов, словно солнечный свет искрится на черной поверхности моря. Под этим беспокойным великолепием холмы казались темными и устойчивыми, края крыш — острыми, свет фонарей — мягким.

— Четыре года назад, — сказал Шевек. — Четыре года назад я вернулся в Аббенай с Южного Взгорья,… как это место называлось… из Красных Ключей. Ночь была такая же, ветреная, звездная. Я бежал, бежал всю дорогу от Равнинной улицы до барака. А вас там не было, вы уехали. Четыре года!

— Как только я уехала из Аббеная, я поняла, что сделала глупость. Голод — не голод, а надо было отказаться от этого назначения.

— Это бы ничего особенно не изменило. Сабул ждал меня, чтобы сообщить, что в институте я больше не нужен.

— Если бы я была там, ты бы не поехал в Пыль.

— Может быть, и нет; но, может быть, нам бы все равно не удалось все время проработать вместе. Одно время вообще казалось, что все разваливается, правда? Города на Юго-Западе… в них совсем не осталось детей. И сейчас еще нет. Они отослали их на Север, в регионы, где есть своя еда или хотя бы надежда на нее. А сами остались, чтобы не остановились заводы и рудники. Вообще чудо, что мы продержались, все мы, правда?… Но, черт возьми, теперь-то я уж буду делать свою работу!

Она взяла его под руку. Он осекся, как будто от ее прикосновения его ударило током. Она, улыбаясь, встряхнула его.

— Ты ведь не ел, правда?

— Не ел. Ох, Таквер, я по тебе истосковался, так истосковался!

Они обнялись, отчаянно цепляясь друг за друга, на темной улице, между фонарями, под звездами. Так же внезапно они разжали объятия, и Шевек прислонился спиной к ближайшей стене.

— Надо бы мне поесть, — сказал он, и Таквер ответила:

— Да, а то с ног свалишься! Пошли.

Они прошли квартал до столовой, самого большого здания в Чакаре. Время выдачи обедов уже истекло, но повара как раз ели и дали путешественнику миску похлебки и хлеба, сколько он хотел. Все они сидели за самым ближним к кухне столом. Остальные столы были уже вымыты и накрыты к завтрашнему утру. Большой зал казался пещерой, потолок уходил в тень, на дальнем конце зала было темно, и только кое-где на столах поблескивали чашка или миска, на которые падал свет. Повара и раздатчики, усталые после рабочего дня, сидели тихо, ели быстро, разговаривали мало и не обращали особенного внимания на Таквер и незнакомца. Один за другим они кончали есть и вставали из-за стола, чтобы отнести посуду на кухню, мойщикам. Одна старуха, вставая, сказала: «Не спешите, аммари; им еще не меньше часа с посудой возиться». У нее было мрачное лицо и угрюмый вид, не материнский, не доброжелательный; но она сказала это с сочувствием, с милосердием Равной. Она не могла ничего для них сделать — только сказать: «Не спешите», — и бросить на них мгновенный взгляд, полный братской любви.

Они не могли сделать для нее больше этого, и лишь немногим больше могли сделать друг для друга.

Они вернулись в барак номер 8, в комнату номер 3, и там утолили свое долгое желание. Они даже не зажгли лампу; им обоим нравилось любить в темноте. Первый раз они оба кончили, когда Шевек проник в нее, второй раз они боролись и вскрикивали в исступленной радости, и продлевали вершину наслаждения, словно оттягивали миг смерти, в третий раз они оба, полусонные, кружили вокруг центра бесконечного наслаждения, вокруг существа друг друга, как планеты, которые слепо, тихо кружат в потоке солнечного света вокруг общего центра тяготения, покачиваются, бесконечно кружат.

Таквер проснулась на рассвете. Она приподнялась на локте и посмотрела поверх Шевека на серый квадрат окна, а потом на Шевека. Он лежал на спине и дышал так тихо, что грудь едва поднималась; его лицо, чуть запрокинутое, в слабом свете было отчужденным и суровым.

— Мы пришли друг к другу очень издалека, — подумала Таквер. — Так с нами бывало всегда. Через огромные расстояния, через годы, через пропасти случайностей. Вот потому-то нас ничто и не может разделить, что он приходит так издалека. Никакие годы, никакие расстояния, ничто не может быть больше того расстояния, которое уже лежит между нами, расстояния нашего пола, различия нашей сути, нашего сознания, этого расстояния, этой пропасти, через которую мы перекидываем мост одним взглядом, одним прикосновением, одним словом; и нет ничего легче. Посмотри, как он далек, он всегда так далек. Но он возвращается, возвращается, возвращается…

Таквер предупредила в Чакарской больнице, что уезжает, но продолжала работать, пока в лаборатории не нашли замену. Она работала по восемь часов — в третьем квартале 168 года у многих рабочий день еще был длинным, как при чрезвычайном положении, потому что, хотя зимой 167 года засуха прекратилась, экономика еще далеко не пришла в норму. Для специалистов все еще действовало правило: «На рабочем месте — подольше, в столовой — побыстрее»; но нормы еды теперь были достаточными, чего не было ни год назад, ни два года назад.

Некоторое время Шевек почти ничего не делал. Он не считал себя больным: после четырех лет голода все так привыкли к последствиям трудностей и недоедания, что воспринимали их, как норму. У него был «пыльный кашель», эндемичный для южной пустыни — хроническое раздражение бронхов, как силикоз и другие заболевания рудничных рабочих, но там, где он тогда жил, это тоже принимали, как должное. Он просто наслаждался тем, что, если ему не хочется ничего делать, то он и не обязан ничего делать.

Несколько дней подряд Шевек и Шерут днем пользовались комнатой одновременно, и оба

спали почти до вечера; потом Шерут, флегматичная сорокалетняя женщина, переселилась в комнату к другой женщине, работавшей в ночную смену, и комната осталась в распоряжении Шевека и Таквер на те четыре декады, что они еще пробыли в Чакаре. Пока Таквер была на работе, Шевек спал или уходил бродить по полям или по сухим, голым холмам над городом. Перед вечером он подходил к учебному центру и смотрел, как на детской площадке играют Садик и другие дети, или — как это часто получалось со взрослыми — дети вовлекали его в какой-нибудь свой проект; это могла быть группа отчаянных семилетних плотников или пара серьезных двенадцатилетних топографов, у которых что-то не ладилось с триангуляцией. Потом они с Садик пешком отправлялись в комнату; когда Таквер кончала работу, они встречали ее и все вместе шли в баню и в столовую. Через час или два после обеда он и Таквер отводили девочку в ее общежитие и возвращались в комнату. Дни были полны бесконечного покоя, в свете осеннего солнца, в молчании холмов. Для Шевека это было время вне времени, вне потока, ирреальное, постоянное, зачарованное. Иногда они с Таквер разговаривали до глубокой ночи; в другие вечера они ложились в постель вскоре после захода солнца и спали одиннадцать часов, двенадцать часов в глубокой, кристально-прозрачной тишине горной ночи.

Шевек приехал с багажом: ободранным фибровым чемоданчиком, на котором черной тушью было выведено его имя; все анаррести брали с собой в дорогу такие чемоданчики, из оранжевой фибры, исцарапанные, помятые, а в них — бумаги, сувениры, запасную пару сапог. В его чемоданчике лежала новая рубашка, которую он взял, когда проезжал через Аббенай, пара книг, бумаги и странный предмет, который, когда лежал в чемодане, казалось, состоял из множества плоских проволочных петель и нескольких стеклянных бусин. На второй вечер после приезда Шевек с довольно таинственным видом, показал его Садик.

— Ожерелье, — благоговейно сказала девочка. В небольших городах люди носили довольно много украшений. В искушенном Аббенае люди больше ощущали разлад между принципом невладения и стремлением украсить себя, поэтому там пределом, допускаемым хорошим вкусом, были колечко или брошка. Но в других местах никто не задумывался о глубинной связи между эстетикой и приобретательством; люди беззастенчиво увешивались украшениями. В большинстве районов был свой ювелир-профессионал, работавший ради любви и славы, а также и ремесленные мастерские, где можно было самому сделать украшение по своему вкусу из имевшихся скромных материалов — меди, серебра, бусинок, шпинелей и гранатов и желтых алмазов Южного Взгорья. Садик не приходилось видеть особенно много хрупких блестящих вещиц, но ожерелье она видела, а потому сразу узнала.

— Нет; вот смотри, — сказал отец и торжественно и ловко поднял загадочный предмет за нитку, соединявшую проволочные петли. Вися у него в руке, предмет ожил, петля стала свободно вращаться, описывая, одна внутри другой, круги в воздухе, стеклянные бусины засверкали в свете лампы.

— Какое красивое! — сказала девочка. — Что это?

— Это подвешивают к потолку; гвоздь есть? Ну, ладно, сойдет и крючок для одежды, а потом я возьму со склада гвоздь. Знаешь, Садик, кто это сделал?

— Нет… ты?

— Она. Мать. Она сделала. — Он повернулся к Таквер. — Это — мой любимый, который висел над письменным столом. Остальные я отдал Бедапу. Я не собирался их оставлять этой старой… как ее там… завистнице с того конца коридора.

— А… Бунуб! Я о ней сто лет не вспоминала! — Таквер неуверенно засмеялась. Она смотрела на динамический объект так, словно боялась его. Садик стояла и молча глядела, как он беззвучно вращается в поисках равновесия.

— Вот если бы, — осторожно сказала она наконец, — мне можно было бы одну ночь

пользоваться им над кроватью, в которой я сплю в общежитии.

— Я тебе сделаю такой, родная. На все ночи.

— Таквер, ты их правда умеешь делать?

— Ну… раньше умела. Я думаю, тебе я сумею сделать.

Теперь на глазах Таквер стали ясно видны слезы. Шевек обнял ее за плечи. Оба они все еще были взвинчены, напряжены. Садик секунду смотрела спокойным, внимательным взглядом, как они стоят, обнявшись, а потом снова стала разглядывать «Занятие Необитаемого Пространства».

Когда по вечерам Шевек и Таквер оставались одни, они часто разговаривали о Садик. У Таквер не было близких друзей, поэтому она была немного слишком поглощена дочерью, и материнское честолюбие и материнские тревоги часто брали верх над ее сильным здравым смыслом. Это было ей не свойственно; ни конкуренция, ни излишнее стремление защитить не были сильными побуждениями в жизни анаррести. Присутствие Шевека давало ей возможность выговориться и тем избавиться от своих тревог. В первые вечера говорила в основном она, а он слушал, как слушал бы музыку или журчание ручья, не пытаясь отвечать. Последние четыре года он мало разговаривал; он отвык вести разговор. Таквер освободила его от этого молчания, как раньше, как всегда. Потом он стал говорить больше, чем она, но только если она отвечала.

— Ты помнишь Тирина? — спросил он однажды ночью. Было холодно; наступила зима, и в комнате — самой дальней от топки барака — даже при широко открытой заслонке никогда не бывало особенно тепло. Шевек надел очень старую, застиранную рубашку, чтобы не застудить грудь, потому что любил сидеть в постели. Таквер, на которой ничего не было надето, до ушей укрылась одеялом.

— Что стало с оранжевым одеялом? — спросила она.

— Ишь, собственница! Я его оставил.

— Завистнице? Как грустно. Я не собственница. Я просто сентиментальная. Это было первое одеяло, под которым мы спали.

— Нет, не первое. Каким-то мы, наверно, укрывались в Нэ-Тэра.

— Если и укрывались, я этого не помню, — засмеялась Таквер. — О ком ты спрашивал?

— О Тирине.

— Не помню.

— В Региональном Институте. Смуглый такой, курносый парень…

— Ах, Тирин! Ну, конечно. А я думала про Аббенай.

— Я его видел на Юго-Западе.

— Ты видел Тирина? И как он?

Шевек некоторое время молчал, водя пальцем по узору одеяла.

— Помнишь, что нам рассказывал о нем Бедап?

— Что он все время получал назначения на клеггич, и все время мотался с места на место, и наконец попал на Остров Сегвина, да? А потом Дап потерял его из вида.

— Ты видела эту его пьесу, из-за которой у него были неприятности?

— На Летнем Фестивале, после твоего отъезда? О, да. Я ее не помню, это было так давно. Она была глупая. Остроумная — Тирин всегда был остроумен. Но глупая. Да, правильно, она была про одного уррасти. Как он спрятался в резервуар с гидропоникой на грузовике с Луны и дышал через соломинку, и ел корни растений. Я же тебе говорю — глупо! И так он пробрался на Анаррес. И начал бегать, то пытался покупать всякие вещи на складах, то — что-то продавать людям, копил золотые самородки, пока не набрал столько, что не мог никуда двинуться. И пришлось ему сидеть на месте, и он построил себе дворец и назвал себя Владельцем Анарреса. И там была такая жутко смешная сцена, когда он и одна женщина собрались совокупиться, и она прямо вся готова, ждет не дождется, а он не может ничего сделать, пока не даст ей сперва свои

самородки, чтобы заплатить ей. А они ей не нужны. Это было так смешно — как она плюхнулась на пол и стала болтать ногами, а он то бросится на нее, то вскочит, будто его кто укусил, с криком: «Я не должен! Это аморально! Это невыгодно!»… Бедный Тирин! Он был такой смешной и такой живой.

— Он играл уррасти?

— Да. Изумительно играл.

— Он мне показывал эту пьесу. Несколько раз.

— Где ты его встретил? В Большой Долине?

— Нет, раньше, в Локте. Он там был уборщиком на заводе.

— Он это сам выбрал?

— Не думаю, что к тому времени Тир вообще был способен сам выбирать… Бедап всегда считал, что его заставили поехать на Сегвину, что его травили, пока он не попросился на лечение. Не знаю. Когда я его увидел, через несколько лет после лечения, как личность он был разрушен.

— Ты думаешь, на Сегвине что-нибудь сделали…?

— Не знаю. Я думаю, что в Приюте действительно стараются предоставить убежище, укрытие. Судя по публикациям их синдиката, они, по крайней мере, альтруисты. Я сомневаюсь, что это они довели Тира до такого состояния.

— Но тогда что же его сломало? Только то, что он не нашел работу, какую хотел?

— Пьеса его сломала.

— Пьеса? Шум, который вокруг нее подняли эти старые какашки? Но послушай, если человека может свести с ума такое морализирование, такие нотации, значит, он уже и так сумасшедший. Он же мог просто не обращать внимания, и все дела!

— Тир и был уже сумасшедшим. По критериям нашего общества.

— Как это?

— Ну, я думаю, что Тир — прирожденный художник. Не ремесленник; творец. Изобретатель-разрушитель, из тех, кто обязательно должен перевернуть все вверх ногами и вывернуть наизнанку. Сатирик, человек, который хвалит при помощи ярости.

— Что же, пьеса была так уж хороша? — наивно спросила Таквер, на дюйм-другой высунувшись из-под одеяла и разглядывая профиль Шевека.

— Нет, не думаю. На сцене она, наверно, была смешная. Ведь ему же было только двадцать лет, когда он ее написал. Он ее все время переписывает. Он больше ничего не написал, ни одной вещи.

— Все время пишет одну и ту же пьесу?

— Все время пишет одну и ту же пьесу.

— Фу, — сказала Таквер с жалостью и отвращением.

— Каждую пару декад он приходил и показывал ее мне. И я ее читал или делал вид, что читаю, и пытался спорить с ним о ней. Ему отчаянно хотелось говорить о ней, но он не мог. Он слишком боялся.

— Чего? Я не понимаю.

— Меня. Всех. Социального организма, рода человеческого, братства, которое его отвергло. Когда у человека такое чувство, что он один против всего мира, как же ему не бояться?

— Ты хочешь сказать — он решил, что все против него, только потому, что некоторые назвали его пьесу безнравственной и сказали, что его нельзя назначать на преподавательскую работу? Это же глупо!

— А кто был за него?

— Дап… все его друзья.

— Но он их потерял. Его услали на работу далеко.

— Тогда почему он не отказался от этого назначения?

— Послушай, Таквер. Я раньше думал точно так же, как ты. Мы всегда так говорим. Ты тоже сказала, что тебе надо было отказаться ехать в Рольни. Я, как только приехал в Локоть, тоже сказал: «Я — свободный человек, я был не обязан сюда ехать!»… Мы всегда так думаем, и так говорим, но так не делаем. Мы надежно прячем свою инициативу в глубине своего сознания, как комнату, куда можем придти и сказать: «Я не обязан делать то или другое. Я выбираю сам. Я — свободный человек». А потом мы выходим из этой маленькой комнатки в нашем сознании и отправляемся туда, куда нас посылает КПР, и остаемся там, пока нас не направят в другое место.

— Ой, Шев, это неправда. Это только с тех пор, как началась засуха. До этого назначений было гораздо меньше — люди просто сами создавали себе рабочие места там, где хотели, и вступали в синдикат или организовывали его, а потом регистрировались в РРС. РРС в основном давало назначения тем, кто предпочитал числиться в Списке Неквалифицированной Рабочей Силы. Теперь-то все опять будет, как всегда.

— Не знаю. Конечно, так должно было бы случиться. Но даже до голода дело шло не в этом направлении, а в обратном. Бедап был прав: каждая экстремальная ситуация, даже каждая мобилизация рабочей силы ведет к тому, что в КПР увеличивается бюрократический аппарат и уменьшается гибкость: так это делалось, так это делается, так это и должно делаться… Этого еще до засухи было полно. И возможно, что пять лет строгого контроля закрепили эту тенденцию навсегда. И не смотри на меня так скептически! Вот скажи мне, сколько ты знаешь человек, которые отказались принять назначение — еще до голода?

Таквер задумалась.

— Не считая нучниби?

— Нет, считая. Нучниби очень важны.

— Ну, несколько из друзей Дапа — этого симпатичного композитора, Саласа, и некоторых из тех, что попротивнее. А когда я была маленькая, через Круглую Долину часто проходили нучниби. Только я всегда считала их обманщиками. Они так красиво врали, и рассказывали такие замечательные истории, и гадали, все были им рады и готовы были держать их у себя и кормить все время, пока они здесь будут. Но они никогда не оставались надолго… Но тогда люди вообще вдруг ни с того, ни с сего уезжали из города, обычно молодежь, некоторые ребята просто ненавидели сельскохозяйственные работы, и они просто бросали работу, хоть и были на нее назначены, и уезжали. Люди все время так делают, всюду. Ездят с места на место и ищут, где получше. Просто никто не называет это отказом от назначения!

— Почему?

— Ты к чему клонишь? — проворчала Таквер, забираясь поглубже под одеяло.

— А вот к чему. К тому, что нам стыдно сказать, что мы отказались от назначения. К тому, что социальное сознание полностью доминирует над индивидуальным сознанием вместо того, чтобы его уравновешивать. Мы не сотрудничаем — мы подчиняемся. Мы боимся, что станем изгоями, что нас назовут ленивыми, дисфункциональными, скажут, что мы эгоизируем. Мы боимся мнения соседа сильнее, чем уважаем свою собственную свободу выбора. Ты мне не веришь, Так, но попробуй, вот только попробуй переступить эту черту, только в воображении, и посмотри, что ты почувствуешь. Тогда ты поймешь, что стало с Тирином, почему он — конченный человек, пропащая душа. Он — преступник! Мы создали понятие преступления, так же, как собственники. Мы выталкиваем человека за пределы сферы нашего одобрения, а потом осуждаем его за это. Мы создали законы, законы общепринятого поведения, возвели вокруг себя стены, но они нам не видны, потому что они — часть нашего мышления. Тир так никогда не

делал. Мы с ним знакомы с десяти лет. Он так никогда не делал, он никогда не умел строить стены. Он был прирожденный бунтовщик. Он был прирожденный одонианин — настоящий одонианин! Он был свободным человеком, а мы, все остальные, его братья, свели его с ума в наказание за первый же его свободный поступок.

— По-моему, — оправдывающимся тоном сказала закутанная в одеяло Таквер, — Тир был не очень сильным человеком.

— Да, он был чрезвычайно раним.

Они надолго замолчали.

— Не удивительно, что тебя преследуют мысли о нем, — сказала она. — Его пьеса. Твоя книга.

— Но мне легче. Ученый может сделать вид, что его работа — это не он, что это просто безличная Истина. Художник не может спрятаться за Истину. Ему вообще некуда спрятаться.

Таквер некоторое время искоса поглядывала на него, потом повернулась и села в постели, натянув на плечи одеяло.

— Брр! Холодно… Я была не права с книгой, да? Насчет того, чтобы позволит Сабулу изрезать ее и поставить на ней свое имя. Но мне казалось, что это правильно, что это означает — поставить работу впереди работающего, гордость впереди тщеславия, общину впереди эго, и все такое. А на самом деле оказалось совсем не так, правда? Оказалось, что это — капитуляция. Капитуляция перед авторитарностью Сабула.

— Не знаю. Это помогло ее напечатать.

— Правильная цель, но неправильное средство! Я долго думала об этом, Шев, там, в Рольни. Я тебе скажу, в чем было дело. Я была беременна. У беременных не бывает этики. Только самый примитивный жертвенный импульс. К черту книгу, и партнерство, и истину, если они угрожают драгоценному плоду!… Это инстинкт сохранения рода, но он может действовать во вред обществу; это биологический инстинкт, а не социальный. Мужчины могут быть благодарны, что им никогда не попасть в его лапы. Но мужчина должен понять, что женщина-то может в них попасть, и остерегаться этого. Я думаю, поэтому старые архистские общества пользовались женщинами, как собственностью. Почему женщины позволяли им это? Потому что они все время были беременны — потому что они были уже порабощены, ими уже владели.

— Ладно, может быть, и так, но наше-то общество, здесь — это истинная община, всюду, где оно верно и истинно воплощает идеи Одо. Ведь Обет дала женщина! Что ты делаешь — поддаешься чувству вины, купаешься в нем, как свинья в грязи? — На Анарресе нет животных, поэтому Шевек употребил сложное правийское слово, буквально означающее: «непрерывно покрывать толстым слоем экскрементов». Гибкость и точность правийского языка способствовали созданию ярких метафор, совершенно не предвиденных его изобретателями.

— Да нет! Это было чудесно — родить Садик! Но с книгой я все-таки была не права.

— Мы оба были не правы. Мы всегда ошибаемся вместе. Неужели ты всерьез думаешь, что ты решила за меня?

— Я думаю, что в тот раз — да.

— Нет; дело в том, что ни ты, ни я не решили… ни ты, ни я не выбирали. Мы позволили Сабулу выбирать за нас. Нашему собственному, сидящему в нас Сабулу — традициям, склонности к морализированию, боязни социального остракизма, боязни быть не такими, как все, боязни быть свободными! Ну, уж больше — никогда. Я учусь долго, но в конце концов выучиваюсь.

— Что ты собираешься делать? — спросила Таквер с ноткой радостного возбуждения в голосе.

— Поехать с тобой в Аббенай и организовать синдикат, типографский синдикат.

Напечатать «Принципы» без сокращений. И вообще напечатать все, что нам понравится. «Очерк об Открытом Обучении Естественным Наукам» Бедапа, который КПР не хотело распространять. И пьесу Тирина. Это мой долг перед ним. Он мне объяснил, что такое тюрьмы, и кто их строит. Кто строит стены, тот и становится своим собственным пленником. Я собираюсь выполнять в социальном организме свойственную мне функцию. Я собираюсь ходить и разрушать стены.

— Смотри, как бы сквозняк не сделался, — сказала Таквер, закутавшись в одеяло. Она прислонилась к нему, и он обнял ее за плечи.

— На это я и рассчитываю, — ответил он.

В эту ночь, еще долго после того, как Таквер заснула, он лежал без сна, закинув руки за голову, глядя в темноту, слушая тишину. Он думал о своем долгом пути из Пыли сюда, вспоминал монотонность и миражи пустыни, машиниста с лысой коричневой головой и простодушными глазами, который сказал, что человек должен работать вместе со временем, а не против него.

За последние четыре года Шевек кое-что узнал о своей воле. В безысходности он узнал ее силу. Никакой социальный или этический императив не мог сравняться с ней. Даже голод не мог подавить ее. Чем меньше он имел, тем более абсолютной становилась его потребность быть.

Эту потребность он осознавал, по одонианской терминологии, как «клеточную функцию» — аналогический термин, обозначающий индивидуальность человека, работу, которую он способен выполнять лучше всего, а поэтому — его оптимальный вклад в его общество. Здоровое общество позволяет человеку свободно выполнять эту оптимальную функцию, которая обретает силу и гибкость в координации всех таких функций. Это была центральная идея «Аналогии» Одо. С точки зрения Шевека, то, что одонианское общество на Анарресе не сумело достичь этого идеала, не уменьшало его ответственности перед обществом; совсем наоборот. Когда миф о Государстве убран с дороги, становятся ясны истинные общность и взаимосвязь общества и индивида. Общество может требовать от индивида жертвы, но не компромисса: потому что, хотя лишь общество способно обеспечить безопасность и стабильность, только индивид, только личность обладает властью сделать нравственный выбор, властью измениться, а изменение — основная функция жизни. Одонианское общество было задумано как перманентная революция, а революция начинается в мыслящем сознании.

Все это Шевек продумал еще раньше и именно в этих терминах, потому что его сознание было полностью одонианским.

Поэтому теперь он был уверен, что его изначальная и безусловная воля к творчеству с одонианской точки зрения сама себе является оправданием. Его чувство первоочередной ответственности перед своей работой не изолировало его, как он думал раньше, от товарищей, от общества. Оно полностью связывало его с ними.

Шевек считал также, что если у человека есть чувство ответственности по отношению к чему-то одному, он обязан чувствовать ответственность и во всем остальном. Ошибкой было бы считать себя лишь вместилищем для него и приносить ему в жертву любые другие обязанности.

Об этой жертвенности говорила Таквер, осознавая ее в себе — беременной, и говорила с долей ужаса, отвращения к себе, потому что она тоже была одонианкой и тоже считала ложным отделение цели от средств. Для нее, как и для него, цели не существовало. Существовал процесс; процесс был всем. Человек может идти в перспективном направлении или по неверному пути, но, отправляясь в путь, он не рассчитывает где бы то ни было остановиться. Если именно так понимать всякую ответственность, всякое обязательство, то все они обретают суть и долговечность.

Так и взаимные обязательства между ним и Таквер, их отношения во время всей их четырехлетней разлуки оставались совершенно живыми. Они оба страдали от этого, сильно

страдали, но ни ему, ни ей и в голову не приходило избежать страдания, отказавшись от этих обязательств.

Потому что в конце концов, — думал он теперь, лежа в тепле сна Таквер, — они оба ищут радости, полноты бытия. Избегая страданий, лишаешься и шанса испытать радость. Удовольствие — или удовольствия — ты, может быть, и получишь, но утоления не будет. Ты не узнаешь, что значит вернуться домой.

Таквер тихонько вздохнула во сне, словно соглашаясь с ним, и повернулась на другой бок; как видно, ей снился какой-то спокойный сон.

Утоление, — думал Шевек, — есть функция времени. Погоня за наслаждением идет по кругу, повторяется, она вневременна. Погоня за разнообразием, которой предается зритель, искатель острых ощущений, сексуально неразборчивый человек, всегда заканчивается в одном и том же месте. Она имеет конец. Она приходит к концу и должна опять начинаться сначала. Это — не странствие и возвращение, это — замкнутый круг, запертая комната, камера.

За стенами этой запертой комнаты — пейзаж времени, в котором дух может, если хватит удачи и мужества, построить хрупкие, временные, невероятные дороги и города верности; пейзаж, в котором могут жить люди.

Только тогда, когда поступок совершается в пределах этого пейзажа настоящего и будущего, он становится человеческим поступком. Верность, которая обеспечивает непрерывность настоящего и будущего, связывая время в единое целое, — вот корень силы человека; без нее невозможно сделать ничего хорошего.

И так, оглянувшись на последние четыре года, Шевек увидел, что они прошли не напрасно, что они были частью здания, которое он и Таквер строят своей жизнью. Когда работаешь вместе со временем, а не против него, — думал Шевек, — главное, что оно не пропадает зря. Даже страдание выполняет свою роль.

Глава одиннадцатая. УРРАС

Родарред, древняя столица Провинции Аван, был остроконечным городом: сосновый лес, а над острыми вершинами сосен еще выше вздымался лес башен. Улицы были узкие и темные, засаженные деревьями, под которыми рос мох и порой стоял туман. Только с семи мостов через реку можно было, подняв голову, увидеть верхушки башен. Некоторые из них были высотой в несколько сот футов, другие были совсем небольшие, точно измельчавшие дома. Некоторые башни были каменные, другие — из фаянса, мозаики, цветного лиственного листового стекла, обшитые медью, оловом или золотом, неимоверно декоративные, хрупкие, сверкающие. На этих бредовых и очаровательных улицах все триста лет своего существования размещался Совет Правительств Планеты. Многие посольства и консульства в СПП и в А-Ио тоже теснились в Родарреде, всего в часе езды от Нио-Эссейя и резиденции правительства страны.

Посольство Терры в СПП располагалось в Речном Замке, приземистом, стоявшем между Нио-Эссейским шоссе и рекой; над замком возвышалась только одна башня, толстая, невысокая, с квадратной крышей и поперечными щелями окон, похожими на прищуренные глаза. Ее стены четырнадцать веков противостояли оружию и погоде. Со стороны суши возле башни росли купы темных деревьев, а между ними был переброшен через ров подъемный мост. Мост был опущен, ворота на нем распахнуты. Ров, мост, река, зеленая трава, черные стены, флаг на башне — все это смутно поблескивало в пробившихся сквозь речной туман лучах солнца, и колокола на всех башнях Родарреда принялись за свою долгую и до безумия гармоничную работу — вызванивать семь часов утра.

В вестибюле замка, за очень современным столом дежурного сидел отчаянно зевавший чиновник.

— Мы, собственно, открываемся только с восьми часов, — глухо сказал он.

— Мне нужно видеть посла.

— Посол завтракает. Вам придется записаться на прием. — С этими словами чиновник утер слезящиеся глаза и сумел, наконец, как следует разглядеть посетителя. Он вытаращил глаза, несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот и сказал:

— Кто вы такой? Куда… что вам нужно?

— Мне нужно видеть посла.

— А ну-ка погодите, — сказал чиновник с чистейшим ниотийским выговором, все еще не сводя с посетителя глаз, и потянулся к телефону.

Между подъемным мостом и входом в посольство только что остановился автомобиль, и из него вылезали несколько человек; металлические пуговицы на их черных мундирах сверкали на солнце. Из основной части здания в вестибюль, переговариваясь, вошли два других человека, странного вида люди в странной одежде. Шевек быстро обошел стол дежурного и почти бегом кинулся к ним.

— Помогите мне! — сказал он.

Они изумленно взглянули на него. Один нахмурился и попятился. Второй посмотрел мимо Шевека на группу людей в форме, которые в этот момент входили в посольство.

— Сюда, — спокойно сказал он, взял Шевека под руку и, сделав два шага, закрыл за ним и за собой дверь маленькой боковой комнатки; все это он проделал с изяществом балерины.

— В чем дело? Вы из Нио-Эссейя?

— Мне нужно видеть посла.

— Вы один из забастовщиков?

— Шевек. Меня зовут Шевек. С Анарреса.

Глаза инопланетянина сверкнули на черном, как агат, лице, умные, блестящие.

— «Бохтымой», — едва слышно сказал терриец, а потом по-иотийски:

— Вы просите убежища?

— Я не знаю. Я…

— Пойдемте со мной, д-р Шевек. Я вас отведу куда-нибудь, где вы сможете присесть.

Черный человек под руку вел его по залам, по лестницам.

Какие-то люди пытались снять с него куртку. Он сопротивлялся, боясь, что им нужен блокнот в кармане его рубашки. Кто-то властно сказал что-то на незнакомом языке. Еще кто-то сказал Шевеку:

— Ничего, ничего. Он просто хочет посмотреть, не ранены ли вы. У вас куртка в крови.

— Другого, — сказал Шевек. — Кровь другого человека.

Он сумел приподняться и сесть, хотя у него кружилась голова. Оказалось, что он сидит на кушетке в большой, залитой солнцем комнате; очевидно, он потерял сознание. Возле него стояло несколько мужчин и женщина. Он непонимающе смотрел на них.

— Вы находитесь в посольстве Терры, д-р Шевек. Здесь вы — на террийской территории. Вы в полной безопасности. Вы можете оставаться здесь столько, сколько захотите.

Кожа у женщины была желто-коричневая, как земля, в которой много железа, и, за исключением головы, безволосая; не выбритая, а просто безволосая. Черты лица у нее были странные и детские, маленький рот, нос с низкой переносицей, длинные глаза с тяжелыми веками, щеки и подбородок — округленные, с жиром под кожей. Вся фигура была округленная, гибкая, детская.

— Здесь вы в безопасности, — повторила она.

Шевек попытался заговорить, но не смог. Один мужчина легонько толкнул его в грудь и сказал:

— Ложитесь, ложитесь.

Он лег, но прошептал:

— Мне нужно видеть посла.

— Я и есть посол. Меня зовут Кенг. Мы рады, что вы пришли к нам. Здесь вы в безопасности. Сейчас отдохните, пожалуйста, д-р Шевек, а потом мы поговорим. Спешить некуда. — Женщина говорила со странной певучей интонацией, а голос у нее был хрипловатый, как у Таквер.

— Таквер, — сказал он на родном языке. — Я не знаю, что делать.

Она сказала: «Спать», — и он уснул.

После того, как Шевек два дня спал и ел, его, снова одетого в его серый иотийский костюм, за это время вычищенный и выглаженный, проводили в личную гостиную посла на третьем этаже башни.

Посол не поклонилась ему и не пожала ему руку, а сложила руки — ладонь к ладони — перед грудью и улыбнулась.

— Я рада, что вы чувствуете себя лучше, д-р Шевек. Ах, нет, надо говорить просто «Шевек», не так ли? Садитесь, пожалуйста. Извините, что мне приходится говорить с вами по-иотийски, на языке, который является иностранным для нас обоих. Я не знаю ваше го языка. Я слышала, что он необычайно интересен, ведь это единственный рационально изобретенный язык, ставший языком великого народа.

Рядом с этой любезной инопланетянкой Шевек чувствовал себя большим, грузным, волосатым. Он сел в одно из глубокий, мягких кресел. Кенг тоже села, но при этом поморщилась.

— У меня уже стала болеть спина, — сказала она, — от сидения в этих удобных креслах!

И тут Шевек понял, что ей не тридцать лет или даже меньше, как он сперва подумал, а шестьдесят или больше; его ввели в заблуждение ее гладкая кожа и детское телосложение.

— Дома, — продолжала она, — мы большей частью сидим на полу, на подушках. Но если бы я стала так делать здесь, мне пришлось бы смотреть на всех еще больше снизу вверх. Вы, тау-китяне, такие высокие!… У нас небольшая проблема. Вернее, не у нас, а у правительства А-Ио. Ваши люди на Анарресе, ну, знаете, те, кто держит с Уррасом радиосвязь, очень настоятельно просят дать им возможность поговорить с вами. И иотийское правительство в затруднении. — Она улыбнулась, и в ее улыбке было только веселье. — Они не знают, что сказать.

Она была спокойна. Спокойна, как обточенный водой камень, который успокаивает, когда на него смотришь. Шевек откинулся в кресле и медлил с ответом.

— Иотийскому правительству известно, что я здесь?

— Ну, официально — нет. Мы ничего не говорили, а они не спрашивали. Но здесь, в посольстве, работает несколько чиновников и секретарей-иотийцев. Так что они, конечно, знают.

— То, что я здесь, для вас опасно?

— О, нет. Мы ведь — посольство в Совете Правительств Планеты, а не в государстве А-Ио. Вы имели полное право придти сюда, и весь остальной Совет вынудил бы А-Ио признать это право. И, как я вам сказала, этот замок — территория Терры. — Она опять улыбнулась; ее гладкое лицо покрылось множеством мелких складочек и вновь разгладилось. — Прелестная фантазия дипломатов! Этот замок в одиннадцати световых годах от моей Земли, эта комната в башне, в Родарреде, в А-Ио, на планете Уррас солнечной системы Тау Кита является территорией Терры.

— Тогда вы можете сказать им, что я здесь.

— Хорошо. Это упростит дело. Мне нужно было ваше согласие.

— С Анарреса ничего не передавали… для меня?

— Не знаю. Я не спросила. Я не поставила себя на ваше место — и не подумала об этом. Если вы о чем-то беспокоитесь, мы можем радировать на Анаррес. Мы, конечно, знаем, на какой длине волны там работают ваши друзья, но мы сами ею не пользовались, потому что они не предложили нам этого. Нам казалось, что лучше не настаивать. Но мы легко можем устроить для вас сеанс связи.

— У вас есть передатчик?

— Мы могли бы ретранслировать через наш звездолет — звездолет хейнитов, который ходит по орбите вокруг Урраса. Ведь Хейн и Терра сотрудничают. Посол Хейна знает, что вы у нас; он — единственный, кого мы официально известили. Так что радио — к вашим услугам.

Шевек поблагодарил ее с простотой человека, который не ищет за предложением его мотивов. Кенг несколько секунд разглядывала его проницательным, прямым и спокойным взглядом.

— Я слышала вашу речь, — сказала она.

Он посмотрел на нее, словно издалека.

— Речь?

— Когда вы выступали на той большой демонстрации на Капитолийской Площади. Сегодня как раз неделя… Мы всегда слушаем подпольное радио, передачи Рабочих-Социалистов и Сторонников Свободы. Разумеется, они вели репортаж с демонстрации. Я слышала ваше выступление. Оно меня очень взволновало. А потом начался шум, какой-то странный шум, и было слышно, как толпа закричала. Они не объяснили, в чем дело. Слышались вопли. А потом все вдруг стихло, ушло из эфира. Слушать это было страшно, так страшно… И вы были там… Как вам удалось спастись? Как вы выбрались из города? Старый Город все еще оцеплен; в Нио

введены три армейских полка; они каждый день устраивают облавы, хватают забастовщиков и тех, кого подозревают, десятками, сотнями. Как вы добрались сюда?

Он слабо улыбнулся:

— На такси.

— Через все контрольно-пропускные пункты? И в этой окровавленной куртке?… И ведь все знают, как вы выглядите.

— Я был под задним сиденьем. Такси реквизировали… так это называется? Некоторые люди пошли ради меня на этот риск.

Шевек посмотрел вниз, на свои стиснутые на коленях руки. Он сидел совершенно спокойно, но по глазам и по складкам у рта было заметно внутреннее напряжение. Он немного подумал и продолжал тем же бесстрастным тоном:

— Сначала мне просто везло. Когда я вышел из своего укрытия, мне повезло, что меня сразу же не арестовали. Но я пробрался в Старый Город. И тогда это было уже не одно лишь везение. Они обдумывали, куда меня можно было бы отправить, они планировали, как доставить меня туда, они рисковали. — Он произнес одно слово на своем родном языке, потом перевел его: — Солидарность…

— Как странно, — сказала Посол Терры. — Я почти ничего не знаю о вашей планете, Шевек. Я знаю только то, что нам рассказывают уррасти, потому что ваш народ не разрешает нам прилетать туда. Я, конечно, знаю, что планета — засушливая, с суровым климатом; знаю, как была основана колония, знаю, что это — эксперимент по созданию не-авторитарного коммунизма, знаю, что ваше общество продержалось уже сто семьдесят лет. Я немного читала Одо — довольно мало. Я думала, что это мало существенно для того, что сейчас происходит на Уррасе; что это далеко; просто интересный эксперимент. Но я ошибалась, не так ли? Это существенно. Быть может, Анаррес — ключ к Уррасу… Революционеры в Нио — они ведь берут свое начало там же. Они ведь не просто бастовали ради повышения зарплаты или протестовали против мобилизации. Они не только социалисты, они анархисты, они бастовали против Власти. Понимаете, размеры демонстрации, сила народного волнения и паническая реакция правительства — все это казалось таким непонятным. Почему столько волнений? Здешнее правительство не деспотично. Богатые действительно очень богаты, но бедные не так уж бедны. Они не рабы, они не голодают. Почему их не удовлетворяют хлеб и речи? Почему они так сверхчувствительны?… Теперь я начинаю понимать, почему. Но вот чего я все еще не могу понять: почему правительство А-Ио, зная, что эта традиция Сторонников Свободы все еще существует, зная о недовольстве в крупных промышленных городах, все же привезло вас сюда? Это все равно, что принести горящую спичку на пороховой завод!

— Меня не собирались и близко подпускать к пороховому заводу. Они рассчитывали изолировать меня от простого народа, планировали, что я буду жить среди ученых и богатых. Не увижу бедняков. Не буду видеть ничего безобразного. Они хотели упаковать меня в вату, потом в коробочку, потом в бумагу, потом в картонку, потом в пластиковую пленку, как все здесь. И там я должен был быть счастлив и делать свою работу, работу, которую я не мог делать на Анарресе. А когда она была бы закончена, я должен был бы отдать ее им, чтобы они смогли угрожать ею вам.

— Угрожать? Вы имеете в виду Терру, и Хейн, и другие космические державы? Чем угрожать?

— Аннигиляцией пространства.

Кенг помолчала.

— Разве вы занимаетесь этим? — спросила она своим кротким, смешным голосом.

— Нет. Я занимаюсь не этим! Прежде всего, я не изобретатель, не инженер. Я — теоретик.

Им и нужна от меня теория. Теория Общего Поля в темпоральной физике. Вы знаете, что это такое?

— Шевек, ваша тау-китянская физика, ваша Благородная Наука мне совершенно недоступна. Я не получила специального образования по математике, физике, философии, а она, как мне кажется, состоит из всего этого и вдобавок из космологии и из многого другого. Но я понимаю, что вы имеете в виду, говоря: «Теория Одновременности», так же, как я понимаю, что подразумевается под Теорией Относительности; то есть, я знаю, что теория относительности дала определенные практические результаты, великие результаты; и поэтому, как я понимаю, ваша темпоральная физика может сделать возможными новые технологии.

Шевек кивнул.

— Им нужно вот что, — сказал он, — мгновенный перенос материи через пространство. Нуль-транспортировка. Понимаете, передвигаться в космосе, не пересекая пространство и не затрачивая времени. Они, может быть, еще придут к этому; думаю, не на основании моих уравнений. Но при помощи моих уравнений они смогут сделать нуль-передатчик, если захотят. Люди не способны перепрыгивать широкие пропасти, а идеи способны.

— Что такое нуль-передатчик, Шевек?

— Такая идея. — Он невесело улыбнулся. — Это будет аппарат, который позволит поддерживать связь между двумя точками пространства без временного интервала. Этот аппарат, конечно, не будет передавать сообщения; одновременность есть идентичность. Но для нашего восприятия эта одновременность будет функционировать, как передача, как посылка сигналов. Так что мы сможем использовать его для разговоров между планетами без этого долгого ожидания — пока сигнал уйдет, да пока придет ответ — неизбежного при электромагнитных импульсах. Это, в сущности, очень простая вещь, вроде телефона.

Кенг засмеялась.

— Ох, уж эта простота физиков. Значит, я смогла бы поговорить с моим сыном в Дели? И с моей внучкой, которой было пять лет, когда я улетела, и которая прожила одиннадцать лет, пока я летела с Терры на Уррас в звездолете с субсветовой скоростью… И смогла бы узнать, что происходит там, дома, сейчас, а не одиннадцать лет назад. И можно было бы принимать решения, и достигать соглашения, и делиться информацией. Я могла бы поговорить с дипломатами на Чиффеуаре, вы — с физикам и на Хейне, и на то, чтобы идея попала из одного мира в другой, не уходила бы жизнь целого поколения… Вы знаете, Шевек, я думаю, что эта ваша очень простая вещь могла бы изменить жизнь миллиардов людей во всех девяти Известных Мирах.

Шевек кивнул. Кенг продолжала:

— Стала бы возможна лига миров. Федерация. Нас разделяли эти годы, эти десятилетия, проходящие между уходом и приходом, между вопросом и ответом. Это так, словно вы изобрели человеческую речь! Мы сможем разговаривать… наконец-то мы сможем разговаривать друг с другом.

— И что вы будете говорить?

Шевек сказал это с горечью, удивившей и испугавшей Кенг. Она взглянула на него и ничего не ответила.

Он наклонился в кресле вперед и страдальчески потер лоб.

— Послушайте, — сказал он, — я должен вам объяснить, почему я пришел к вам, и почему я прилетел на эту планету. Я сделал это ради идеи. Понимаете, на Анарресе мы сами себя отрезали от всех. Мы не разговариваем с другими народами, с остальным человечеством. Там я не мог закончить свою работу. А если бы даже и смог, то она была бы им не нужна, они не понимали, какая от нее польза. Поэтому я прилетел сюда. Здесь есть то, что мне нужно —

возможность разговаривать, возможность делиться, эксперимент в Лаборатории Света, который доказывает не то, что должен доказать, книга по Теории Относительности из другой солнечной системы, стимул, который мне нужен… И вот, наконец, я закончил эту работу. Она еще не написана, но у меня есть формулы и доказательства, работа сделана… Но для меня важны не только те идеи, что у меня в голове. Мое общество — это тоже идея. Она меня создала. Идея свободы, изменения, людской солидарности — важная идея. И хотя я был очень туп, я в конце концов понял, что, разрабатывая одну из них, занимаясь физикой, я предаю другую. Я позволяю собственникам купить у меня истину.

— Но что же еще вы могли сделать, Шевек?

— Разве продаже нет альтернативы? Разве нет такой вещи, как дар?

— Есть…

— Вы понимаете, что я хочу отдать это вам — и Хейну, и другим мирам — и странам Урраса? Но вам всем! Чтобы один из вас не смог, как хочет сделать А-Ио, использовать это, чтобы получить власть над остальными, чтобы стать богаче или выиграть еще больше войн. Чтобы вы могли использовать истину только для общего блага, а не для своей личной выгоды.

— В конечном счете истина обычно ставит на своем и служит только общему благу, — сказала Кенг.

— В конечном счете — да; но я не согласен ждать конца. У меня только одна жизнь, и я не намерен тратить ее на то, чтобы жадничать, и спекулировать, и лгать. Я не хочу служить никакому хозяину.

Спокойствие Кенг было сейчас гораздо более насильственным, принужденным, чем в начале их разговора. Сила личности Шевека, не сдерживаемая никакой застенчивостью, никакими соображениями самозащиты, была огромной. Кенг была потрясена им и смотрела на него с сочувствием и не без почтительного страха.

— Какое же оно, — сказала она, — каким же оно может быть, это общество, создавшее вас? Я слышала, как вы говорили об Анарресе там, на площади, и плакала, слушая вас, но по-настоящему я вам не поверила. Люди всегда так говорят о своей родине, о покинутой ими стране… Но вы — не такой, как другие. В вас есть какое-то отличие.

— Отличие — в идее, — ответил он. — Я приехал сюда и ради этой идеи тоже. Ради Анарреса. Раз мой народ отказывается смотреть наружу, я подумал, что смогу сделать так, чтобы другие посмотрели на нас. Я думал, что будет лучше не отгораживаться стеной, а быть обществом среди других обществ, одним миром из многих, давать и брать. Но в этом я был не прав — совершенно не прав.

— Почему? Ведь…

— Потому что на Уррасе нет ничего, ничего, что нужно нам, анаррести. Сто семьдесят лет назад мы ушли с пустыми руками — и были правы. Мы не взяли ничего. Потому что здесь нет ничего, кроме государств и их оружия, богачей и их лжи, и бедняков и их нищеты и страданий. На Уррасе невозможно поступать правильно, с чистым сердцем. Что бы человек ни пытался сделать — во всем замешана выгода; и страх потери, и жажда власти. Человек не может ни с кем поздороваться, не зная, кто из них двоих «выше» другого, или не стараясь доказать это. Человек не может поступать с другими людьми, как брат, он должен манипулировать ими, или командовать ими, или подчиняться им, или обманывать их. Человеку нельзя коснуться другого человека, но они не оставляют его в покое. Свободы нет. Уррас — коробка, пакет с красивой оберткой — синим небом, лугами, лесами, большими городами. И вот ты открываешь коробку — и что же в ней? Черный подвал, полный пыли, и мертвый человек. Человек, которому отстрелили руку, потому что он протянул ее другим. Я наконец побывал в аду. Десар был прав: это Уррас; ад — это Уррас.

Несмотря на всю странность, он говорил просто, с каким-то смирением, и снова Посол Терры смотрела на него со сдержанным, но сочувственным удивлением, словно не имела понятия, как отнестись к этой простоте.

— Мы здесь оба — инопланетяне, Шевек, — сказала она наконец. — Я — с планеты, гораздо более удаленной и в пространстве, и во времени. Но я начинаю думать, что мне Уррас гораздо менее чужд, чем вам… Давайте, я расскажу вам, каким этот мир кажется мне. Для меня и для всех моих сопланетян — террийцев, видевших эту планету, Уррас — самый добрый, самый разнообразный, самый прекрасный из всех обитаемых миров. Это мир, который настолько близок к раю, насколько это вообще возможно.

Она посмотрела на Шевека спокойно и проницательно; он ничего не ответил.

— Я знаю, что он полон зла, полон человеческой несправедливости, жадности, безумия, расточительности. Но он полон также и добра, и красоты, жизненной силы, достижений. Он такой, каким и должен быть мир! Он — живой, потрясающе живой, и, несмотря на все зло, которого здесь так много, в нем жива надежда. Разве это не правда?

Шевек кивнул.

— Ну, а вы, человек из мира, который я не в состоянии даже представить себе, вы, видящий в моем рае — ад, вы хотите спросить меня, каков же тогда мой мир?

Шевек внимательно смотрел на нее, не отводя светлых глаз, и молчал.

— Мой мир, моя Земля — руина. Планета, погубленная человеческим родом. Мы размножались, и жрали, и дрались, пока не уничтожили все, а когда ничего не осталось, мы умерли. Мы не управляли ни своими аппетитами, ни своим стремлением к насилию; мы не приспосабливались. Мы уничтожили самих себя. Но сначала мы уничтожили свою планету. На моей земле не осталось лесов. Воздух — серый, небо — серое, всегда жарко. На ней можно жить, она все еще пригодна для обитания — но не так, как эта планета. Это — живой мир, гармония. Мой мир — диссонанс. Вы, одониане, избрали пустыню; мы, террийцы, пустыню создали… Мы там выживаем, как вы. Люди там выносливы! Нас теперь почти пол-миллиарда. А когда-то было десять миллиардов. До сих пор всюду можно увидеть остатки старых городов. Кости и кирпич превращаются в пыль, а кусочки пластмассы — никогда; они тоже умеют приспосабливаться. Как вид, как социальный вид мы не выдержали экзамен.

Сейчас мы здесь и общаемся на равных с другими человеческими обществами на других планетах только благодаря милосердию хейнитов. Они прилетели; они пришли к нам на помощь. Они построили космические корабли и отдали их нам, чтобы мы могли покинуть свою загубленную планету. Они обращаются с нами ласково, доброжелательно, как сильный человек с больным. Они очень странный народ, эти хейниты; древнее всех нас; бесконечно великодушные. Они — альтруисты. Ими движет сознание вины, которую мы, несмотря на все наши преступления, даже не понимаем. Я думаю, во всем, что они делают, ими движет прошлое, их бесконечное прошлое. Ну, вот, мы спасли все, что можно было спасти, и создали на Терре, на развалинах, какое-то подобие жизни единственным возможным способом: путем тотальной централизации. Полный контроль над использованием каждого акра земли, каждого обломка металла, каждой унции топлива. Тотальное нормирование, контроль рождаемости, эвтаназия, всеобщая мобилизация на необходимые работы. Полнейшее подчинение каждой отдельной жизни общей цели — выживанию всего вида. К тому времени, как прилетели хейниты, мы сумели добиться как раз этого. Они принесли нам… чуть больше надежды. Не на много больше. Мы пережили ее… Мы можем только смотреть снаружи на этот великолепный мир, на это полное жизненных сил общество, на этот Уррас, на этот рай. Мы способны только восхищаться им и, пожалуй, чуть-чуть ему завидовать. Не сильно.

— Вы слышали, что я рассказывал об Анарресе… что значил бы для вас такой Анаррес,

Кенг?

— Ничего. Ничего, Шевек. Мы сами лишили себя шансов на Анаррес много веков назад, задолго до того, как он возник.

Шевек встал и подошел к окну, одной из длинных горизонтальных щелей, служивших окнами в этой башне. Под окном в стене была ниша со ступенькой, куда мог встать лучник, чтобы смотреть вниз и целиться в нападающих у ворот. Если не вставать на ступеньку, в окно можно было увидеть только залитое солнцем, подернутое легкой дымкой небо. Шевек стоял под окном и смотрел на небо, свет наполнял его глаза.

— Вы не понимаете, что такое время, — сказал он. — Вы говорите, что прошлое ушло, будущее не реально, ничто не изменяется, надежды нет. Вы думаете, что Анаррес — это будущее, которого невозможно достичь, потому что невозможно изменить ваше прошлое. Значит, нет ничего, кроме настоящего, этого Урраса, этого богатого, реального, прочного сиюминутного настоящего. И вы думаете, что это — что-то, чем можно владеть! Вы чуть-чуть завидуете ему. Вы думаете, что хотели бы иметь это. Но, вы знаете, оно ведь не реально. Оно не прочно, не устойчиво — как и все вообще. Все изменяется, изменяется. Нельзя иметь ничего… И менее всего можно иметь настоящее — если вместе с ним вы не примете прошлое и будущее. Не только прошлое, но и будущее; не только будущее, но и прошлое! Потому что они — реальны: только их реальность делает реальным настоящее. Вы не сможете стать такими, как Уррас, и даже понять Уррас, если не примете реальность, прочную, выдержавшую проверку временем — реальность Анарреса. Вы не верите в мое существование, хотя я стою рядом с вами, в этой комнате, в эту минуту… Мой народ прав, а я был неправ вот в чем: мы не можем придти к вам. Вы нам не позволите. Вы не верите в изменения, в эволюцию. Вы предпочтете лучше уничтожить нас, чем признать нашу реальность… чем признать, что надежда есть! Мы не можем придти к вам. Мы можем только ждать, чтобы вы пришли к нам.

Кенг сидела с удивленным, задумчивым и, пожалуй, несколько растерянным лицом.

— Я не понимаю… не понимаю, — сказала она наконец. — Вы — как кто-то из нашего собственного прошлого, из древних идеалистов, одержимых видениями свободы; и все же я понимаю вас, словно вы пытались рассказать мне о грядущем; и все же, как вы говорите, вы находитесь здесь, сейчас!…

Она не утратила своей проницательности. Вскоре она спросила:

— Так зачем же вы пришли ко мне, Шевек?

— О, чтобы отдать вам эту идею. Мою теорию, знаете ли. Чтобы она не стала собственностью иотийцев — капиталовложением или оружием. Если вы согласитесь, то проще всего будет передать эти формулы по радио, дать их физикам всей этой планеты, и хейнитам, и другим мирам. Вы согласны сделать это?

— Более, чем согласны.

— Это будет всего несколько страниц. Доказательства и некоторые следствия заняли бы больше времени, но это можно и потом, и если я не смогу их разрабатывать, этим смогут заняться другие.

— Но что вы будете делать потом? Вы намерены вернуться в Нио? В городе теперь тихо, во всяком случае, с виду; восстание, кажется, подавлено, во всяком случае, в данный момент; но боюсь, что правительство считает вас одним из повстанцев. Есть, конечно, Ту…

— Нет, я не хочу туда. Я не альтруист! Я мог бы улететь домой, если бы вы помогли мне и в этом. Может быть, даже и иотийцы согласились бы отправить меня домой. Я думаю, это было бы вполне логично: заставить меня исчезнуть, отрицать мое существование. Конечно, они могут счесть, что легче убить меня или на всю жизнь посадить в тюрьму. Я пока еще не хочу умирать, а умирать здесь, в аду, я вообще не желаю. Куда отправляется душа человека, если он умирает в

аду? — Шевек засмеялся; к нему вернулась вся его мягкость в обращении. — Но если бы вы смогли отослать меня домой, им бы, я думаю, стало легче на душе. Из мертвых анархистов, знаете ли, получаются мученики, которые продолжают жить веками. А отсутствующих можно забыть.

— А я-то думала, что знаю, что такое «реализм», — сказала Кенг. Она улыбалась, но улыбаться ей было нелегко.

— Как вы можете это знать, если не знаете, что такое надежда!

— Не судите нас слишком сурово, Шевек.

— Я вас вообще не сужу. Я только прошу вашей помощи — в ответ на которую мне нечего вам дать.

— Нечего? Вы называете свою Теорию «ничем»?

— Положите ее на одну чашу весов, а на вторую — свободу духа одного единственного человека, — сказал он, обернувшись к ней, — и что перетянет? Вы можете сказать? Я — нет.

Глава двенадцатая. АНАРРЕС

— Я хочу внести на обсуждение от Синдиката Инициативы один проект, — сказал Бедап. — Как вы знаете, мы около двадцати декад держали радиосвязь с Уррасом…

— Вопреки рекомендации этого совета, и Федерации Обороны, и результатам голосования данного Списка!

— Да, — сказал Бедап, меряя взглядам говорящего, но не протестуя против того, что его перебили. На собраниях КПР не было правил парламентской процедуры. Иногда перебивающих было больше, чем выступающих. По сравнению с совещанием какой-нибудь комиссии, которое хорошо ведет председатель, этот процесс выглядел, как кусок сырого мяса по сравнению с монтажной схемой. Однако, на своем месте — внутри живого животного — сырое мясо функционирует лучше, чем функционировала бы монтажная схема.

Бедап давно знал всех своих противников в Совете по Импорту-Экспорту; он уже три года ходил сюда и воевал с ними. Этот был новый, молодой парень, наверно, внесенный в Список КПР по жребию. Бедап доброжелательно оглядел его и продолжал:

— Не будем возобновлять старые ссоры, ладно? Я предлагаю новую. Мы получили от одной группы на Уррасе интересное предложение. Оно поступило на длине волны, используемой иотийцами, с которыми мы поддерживаем связь, но не в назначенное для сеанса время, и сигнал был слабый. Послали его, по-видимому, из страны под названием Бенбили, а не из А-Ио. Эта группа называет себя «Одонианское Общество». Как мы поняли, это — одониане послепереселенческого периода, которые существуют, ухитряясь каким-то образом обойти уррасские законы и правительства. Они обращались к «братьям на Анарресе». Вы можете прочесть их обращение в бюллетене Синдиката, оно интересно. Они спрашивают, не разрешим ли мы им послать людей сюда.

— Послать людей сюда? Пустить сюда уррасти? Шпионов?…

— Нет, поселенцев.

— Они хотят возобновить Заселение, да, Бедап?

— Они говорят, что их правительство преследует их, и что они надеются на…

— Возобновить Заселение! Пускать сюда каждого спекулянта, который называет себя одонианином?

Трудно было бы дать полную запись дебатов в каком-либо из административных органов Анарреса; все происходило очень быстро, говорили сразу по несколько человек, особенно долго никто не выступал, было много сарказма, многое не говорилось вслух; тон был эмоциональным, когда переходили на личности — нередко яростным; наступал конец, но заключительных выводов не было. Это было, как спор между братьями или между мыслями в нерешительном мозгу.

— Если мы разрешим этим так называемым одонианам заявиться сюда, как они предполагают сюда попасть?

Это сказала противница, которой Бедап очень боялся, хладнокровная, умная женщина по имени Рулаг. Весь год она была его самым умным врагом в этом совете. Бедап взглянул на Шевека, который впервые пришел на совет, чтобы обратить его внимание на нее. Кто-то сказал Бедапу, что Рулаг — инженер; и он действительно нашел в ней свойственные инженерам ясность и прагматичность мысли в сочетании с ненавистью технаря ко всему сложному и нестандартному. Она возражала против всего, что выдвигалось Синдикатом Инициативы, в том числе против права Синдиката на существование. Ее аргументы всегда были вескими, и Бедап уважал ее. Порой, когда она говорила о том, как силен Уррас и как опасно вести переговоры с

сильным с позиции слабости, он верил ей.

Потому что иногда у Бедапа в глубине души появлялись сомнения, не пустили ли они с Шевеком в ход неуправляемую цепь событий, когда зимой 168-го года встретились, чтобы обсудить, каким образом физик, которому не дают опубликовать работу, мог бы все-таки ее напечатать и ознакомить с ней физиков на Уррасе. Когда они, наконец, установили радиосвязь, желание уррасти разговаривать, обмениваться информацией оказалось сильнее, чем они предполагали; а когда они напечатали отчеты об этих разговорах, оппозиция на Анарресе оказалась куда более яростной, чем они ожидали. Люди на обеих планетах уделяли им столько внимания, что им стало довольно неуютно. Когда враг с энтузиазмом обнимает тебя, а твои земляки тебя яростно отвергают, трудно не призадуматься — а не предатель ли ты, на самом-то деле?

— Я думаю, они прилетели бы на одном из грузовых планетолетов, — ответил он. — Как добрые одониане, попросились бы, чтобы их подвезли. Если их правительство или Совет Правительств Планеты разрешат. Но разрешат ли? Пойдут ли архисты навстречу анархистам? Вот что я хотел бы выяснить. Если бы мы пригласили маленькую группу этих людей — человек шесть-восемь — что бы произошло на том конце?

— Похвальная любознательность, — сказала Рулаг. — Конечно, если бы мы знали, как именно все это происходит на Уррасе, мы бы лучше понимали опасность. Но опасность заключается как раз в самом процессе.

Она встала; это означало, что ее выступление не ограничится одной-двумя фразами. Бедап поморщился и опять взглянул на сидевшего рядом с ним Шевека.

— Этой — опасайся, — пробормотал он. Шевек ничего не ответил; но на собраниях он обычно вообще вел себя сдержанно и застенчиво, и никакого толку от него не было, если только что-то не задевало его глубоко, а в этих случаях он оказывался удивительно хорошим оратором. Он сидел и смотрел вниз, на свои руки. Но Бедап заметил, что, когда Рулаг говорила, она обращалась к нему, но то и дело поглядывала на Шевека.

— Ваш Синдикат Инициативы, — сказала она, подчеркнув местоимение, — построил передатчик, стал вести передачи на Уррас и принимать их передачи и публиковать эти переговоры. Все это вы делали вопреки рекомендациям большинства КПР и усиливающимся протестам всего Братства. Никакие меры ни против вашей аппаратуры, ни против вас самих до сих пор не приняты, главным образом, как я полагаю, потому, что мы, одониане, отвыкли от самой мысли о том, что кто-то может избрать курс, приносящий вред другим, и упорствовать в этом, невзирая на рекомендации и протесты. Это — редкий случай. Архистские критики всегда предсказывали, что в обществе, не имеющем законов, люди будут вести себя с полной безответственностью. По существу, вы — первые из нас, кто стал себя вести именно так. Я не собираюсь опять подробно говорить о том, какой вред вы уже причинили, передавая могучему врагу научную информацию, каждой своей передачей на Уррас, по сути дела, признаваясь в нашей слабости. Но теперь, думая, что мы уже привыкли ко всему этому, вы предлагаете нечто гораздо худшее. Вы скажете: какая разница между разговором с кучкой уррасти на коротких волнах и разговором с кучкой уррасти здесь, в Аббенае? Какая разница? Какая разница между закрытой дверью и открытой дверью? Давайте откроем дверь — вот что он говорит, аммари, знаете ли. Давайте откроем дверь, впустим уррасти! Шесть-восемь псевдо-одониан на ближайшем грузовике. Шестьдесят-восемьдесят иотийских спекулянтов на следующем, чтобы рассмотреть нас и прикинуть, как бы нас получше распределить в качестве собственности между уррасскими государствами. А в следующий раз прилетят уже шестьсот-восемьсот военных планетолетов: пушки, солдаты, оккупационная армия — это будет конец Анарреса, конец Обета. Наша надежда состоит, как состояла все эти сто семьдесят лет, в «Условиях Заселения»: ни

тогда, ни потом — никогда ни один уррасти, кроме Первопоселенцев, не имеет права покидать корабль. Никакого общения. Никаких контактов. Отказаться от этого принципа сейчас — значит сказать тиранам, над которыми мы некогда одержали победу: эксперимент провалился, приходите вновь поработить нас!

— Ничего подобного, — тут же возразил Бедап. — Смысл ясен: эксперимент удался, теперь мы достаточно сильны, чтобы стоять с вами лицом к лицу, как равные с равными.

Обсуждение продолжалось в том же духе — быстрый, резкий спор. Он затянулся не надолго. Голосования, как обычно, не было. Почти все присутствующие настаивали на соблюдении «Условий Заселения», и, как только это стало ясно, Бедап сказал:

— Ладно. Считаю, что вопрос решен. Ни «Форт Куиэо», ни «Внимательный» никого не примут. По вопросу о прибытии уррасти на Анаррес цели Синдиката, совершенно очевидно, должны уступить мнению общества в целом; мы обратились к вам за советом и последуем ему. Но есть и другой аспект той же проблемы. Шевек?

— Встает вопрос, — сказал Шевек, — об отправке анаррести на Уррас.

Раздались возгласы, вопросы. Шевек не повышал голоса, который был не намного громче бормотания, но продолжал говорить.

— Это ничем не повредит и не угрожает никому из живущих на Анарресе. И это, очевидно, — вопрос прав личности; собственно говоря, что-то вроде их проверки. «Условия Заселения» этого не запрещают. Если КПР запретит это сейчас, с его стороны это будет присвоением власти, ограничением права индивида-одонианина на инициирование акции, не приносящей вреда другим.

Рулаг, не вставая, наклонилась вперед.

— Покинуть Анаррес может каждый, — сказала она. Взгляд ее светлых глаз метнулся от Шевека к Бедапу и снова к Шевеку. — Он может отправиться, когда захочет, если грузовики собственников его возьмут. А вот вернуться он не может.

— Где это сказано, что не может? — спросил Бедап.

— В «Условиях Завершения Заселения». Никому не разрешается, сойдя с борта грузового корабля, выходить за пределы Анарресского Космопорта.

— Ну, полно, это же, конечно, относится не к анаррести, а к уррасти, — сказал один из старых советников, Фердаз, который встревал во все, даже если это противоречило тому решению вопроса, которое его устраивало.

— Тот, кто прибывает с Урраса, является уррасти, — возразила Рулаг.

— Все это — юридические тонкости. Зачем все эти ухищрения? — сказала спокойная грузная женщина по имени Трепил.

— Ухищрения! — воскликнул новый член КПР, молодой парень, споривший с Бедапом; у него был акцент Северного Взгорья и низкий, сильный голос. — Если кому-то не нравятся ухищрения, то не угодно ли вот так: если здесь есть люди, которым не нравится Анаррес, пусть сматываются. Я помогу. Я их в Порт на руках отнесу, а то и пинками загоню! Но если они попробуют приползти назад, то здесь их встретит кое-кто из нас, из настоящих одониан. И пусть не надеются, что мы их встретим улыбками и словами «Добро пожаловать домой, братья». Мы им зубы в глотку вобьем, а яйца — в брюхо. Это вам понятно? Это ясно?

— Не столько ясно, сколько громко, — сказал Бедап. — Сказанул, как пернул. Ясность есть функция мысли. Прежде, чем выступать здесь, ты бы хоть немного почитал бы Одо.

— А ты не достоин даже имя Одо произносить! — выкрикнул парень. — Вы предатели, и ты, и весь ваш Синдикат! На всем Анарресе есть люди, которые следят за вами. Думаете, мы не знаем, что Шевека зовут на Уррас, продавать спекулянтам анаррескую науку? Думаете, мы не знаем, что все вы, нытики, хотели бы туда полететь и жить богато, и чтобы собственники вас по

плечу похлопывали? Ну и катитесь! Хоть избавимся от вас! Но если вы попробуете вернуться сюда, здесь вас встретят по справедливости!

Он вскочил на ноги и, перегнувшись через стол, кричал прямо в лицо Бедапу. Бедап поднял на него взгляд и сказал:

— Ты имеешь в виду не справедливость, а наказание. Ты думаешь, это одно и то же!

— Он имеет в виду насилие, — сказала Рулаг. — А если произойдет насилие, то причиной этого будете вы оба. Вы и ваш Синдикат. И оно будет вами заслужено.

Начал говорить маленький, худенький пожилой мужчина рядом с Трепил, сначала так тихо, голосом, охрипшим от пыльного кашля, что было слышно лишь немногим. Это был делегат одного из синдикатов рудничных рабочих Юго-Запада, и не предполагалось, что он будет выступать по этому вопросу. Он говорил:

— …чего заслуживают люди. Потому что мы все, каждый из нас, заслуживаем всего, всей роскоши, какой когда-либо наполняли могилы умерших королей, и все мы, каждый из нас, не заслуживаем ничего, даже куска хлеба, когда мы голодны. Разве мы не ели, когда другие голодали? Будете ли вы наказывать нас за это? Будете ли вы награждать нас за ту заслугу, что мы голодали в то время, когда другие ели? Ни один человек не заслуживает наказания, ни один человек не заслуживает награды. Выбросьте из головы понятие «достоин», понятие «заслуживает», и тогда вы, наконец, обретете способность мыслить.

Конечно, это были слова Одо, из «Писем из тюрьмы», но, когда их произносил этот слабый, хриплый голос, они производили странное впечатление: точно говоривший сам обдумывал их, слово за словом, точно они исходили у него из сердца, медленно, с трудом, как из песка пустыни медленно-медленно проступает вода.

Рулаг слушала, держа голову очень прямо, с лицом, застывшим, как у человека, который подавляет боль. По другую сторону стола, напротив нее, сидел, опустив голову, Шевек. В наступившей после слов рудокопа тишине он поднял голову и заговорил.

— Видите ли, — сказал он, — ведь наша цель — напомнить себе, что мы прилетели на Анаррес не ради безопасности, а ради свободы. Если мы должны все соглашаться друг с другом, работать все вместе, то мы — всего лишь машина. Если индивид не может работать в солидарности со своими товарищами, значит, его долг — работать одному. Его долг и его право. Мы отказывали людям в этом праве. Мы все чаще и чаще говорили: ты должен работать вместе с другими, ты должен подчиняться диктату большинства. Но всякий диктат есть тирания. Долг отдельной личности — не подчиняться никакому диктату, быть инициатором своих собственных поступков, нести ответственность. Только в этом случае общество будет жить, и изменяться, и приспосабливаться, и сможет выжить. Мы — не подданные Государства, основанного на законе, а члены общества, созданного на основе революции. Революция — наша обязанность, наша надежда на эволюцию. «Революция находится в духе отдельной личности — или ее нет нигде. Она — для всех, или она — ничто. Если рассматривать ее, как нечто конечное, она никогда не начнется по-настоящему». Мы не можем остановиться здесь. Мы должны идти дальше. Мы должны рисковать.

Рулаг ответила так же спокойно, как он, но очень холодно:

— Ты не имеешь права втягивать нас всех в рискованную затею, на которую тебя вынуждают личные мотивы.

— Ни один человек, который не намерен пойти так далеко, как согласен пойти я, не имеет права мешать мне сделать это, — возразил Шевек. На миг их взгляды встретились; оба опустили глаза.

— Полет на Уррас опасен только для того, кто летит, — сказал Бедап. — Он ничего не меняет ни в «Условиях Заселения», ни в наших отношениях с Уррасом, разве что в нравственном

аспекте — причем в нашу пользу. Но я думаю, что мы — любой из нас — не готовы принять по этому вопросу какое-то решение. Если никто из вас не возражает, я пока что снимаю этот вопрос.

Никто не возражал, и Бедап с Шевеком ушли с собрания.

Когда они выходили из здания КПР, Шевек сказал:

— Мне нужно зайти в Институт. Сабул прислал мне очередной клочок бумаги — впервые за много лет. Интересно, что у него на уме?

— А мне интересно, что на уме у этой Рулаг! Она что-то имеет против тебя, что-то личное. Я думаю, завидует. Мы вас больше не будем сажать друг против друга, а то вообще с места не сдвинемся. Хотя этот молодчик с Северного Взгорья тоже не подарок. Диктат большинства, и кто силен — тот и прав! Шев, добьемся мы, чтобы они поняли, чего мы хотим? Или мы только усиливаем противодействие?

— Может быть, нам действительно придется послать кого-нибудь на Уррас — доказать свое право действием, если словами не получится.

— Может быть. Лишь бы только не меня! Говорить о нашем праве покинуть Анаррес я буду до посинения, но если бы мне пришлось это сделать, черт возьми, я бы себе горло перерезал…

Шевек засмеялся.

— Ну, мне надо идти. Дома буду примерно через час. Приходи к нам вечером, поедим вместе.

— Встретимся в комнате.

Шевек зашагал по улице; Бедап стоял перед зданием КПР и решал, куда бы пойти. Улицы Аббеная были ярко освещены, казались чисто-начисто отдраенными, кипели светом и людьми. Бедап был одновременно возбужден и подавлен. Все, в том числе и его эмоции, сулило многое и в то же время не удовлетворяло. Он отправился в барак в квартале Пекеш, где сейчас жили Шевек и Таквер, и, как и надеялся, застал Таквер с малышкой дома.

У Таквер было два выкидыша, а потом на свет появилась Пилун, поздно и несколько неожиданно, но все были ей очень рады. Она родилась маленькой и сейчас, когда ей шел уже второй год, все еще оставалась маленькой, с тонкими ручками и ножками. Когда Бедап держал ее, эти ручки, такие хрупкие, что он мог бы переломить их одним движением руки, вызывали у него не то смутный страх, не то смутное отвращение. Он очень любил Пилун, он был очарован ее туманно-серыми глазами, его пленяла ее абсолютная доверчивость, но каждый раз, как он прикасался к ней, он понимал — как никогда не понимал раньше — в чем прелесть жестокости, почему сильные мучают слабых. И поэтому — хотя он не сумел бы объяснить, почему «поэтому» — он понимал и то, что раньше всегда казалось ему довольно бессмысленным, и чем он раньше никогда не интересовался: родительское чувство. Когда Пилун называла его «тадде», это доставляло ему совершенно необычайное удовольствие.

Бедап уселся на спальный помост под окном. Комната была большая, с двумя помостами. На полу лежали циновки; никакой другой мебели не было, ни стульев, ни столов, только небольшая ширма, которой для Пилун отгораживали место для игры или загораживали ее кровать. Таквер выдвинула длинный, широкий ящик второго помоста и разбирала лежавшие в нем кучи бумаг. Когда малышка поползла к Бедапу, Таквер со своей широкой улыбкой сказала:

— Дап, миленький, подержи, пожалуйста, Пилун! Она уже раз десять добиралась до этих бумаг, каждый раз, стоило только мне разложить их по порядку. Я через минутку закончу… ну, через десять минут.

— Не спеши. Мне не хочется разговаривать. Я просто хочу посидеть здесь. Иди сюда, Пилун. Иди ножками — вот умница! Иди ножками к тадде Дапу. Вот и попалась!

Пилун, довольная, сидела у него на коленях и внимательно рассматривала его руку. Бедап

стеснялся своих ногтей, так и оставшихся деформированными, хотя он уже не грыз их, поэтому он сначала сжал руку в кулак, чтобы спрятать ногти; потом ему стало стыдно, что он стесняется, и он разжал руку. Пилун похлопала по ней.

— Хорошая это комната, — сказал он. — Окна на север. В ней всегда спокойно.

— Да. Шшш, я считаю листы.

Вскоре Таквер убрала стопки бумаг и закрыла ящик.

— Ну, вот! Извини. Я обещала Шеву пронумеровать страницы в этой его статье. Хочешь попить?

Многие основные продукты все еще нормировались, хотя далеко не так строго, как пять лет назад. Фруктовые сады Северного Взгорья пострадали от засухи меньше и оправились быстрее, чем районы, где выращивали зерновые, и в прошлом году ограничения на потребление сушеных фруктов и фруктовых соков были сняты. На затененном окне у Таквер стояла бутылка сока. Она налила каждому по полной чашке. Чашки были глиняные, довольно неуклюжие — их сделала в школе Садик. Таквер села напротив Бедапа и, улыбаясь, посмотрела на него.

— Ну, как там, в КПР?

— Да как всегда. А как там, в родной лаборатории?

Таквер посмотрела в свою чашку, покачивая ее, чтобы свет играл на поверхности жидкости.

— Не знаю. Я думаю уйти.

— Почему, Таквер?

— Лучше уйти самой, чем ждать, пока скажут, чтобы уходила… Беда в том, что эта работа мне нравится и я хорошо умею ее делать. И другой такой работы в Аббенае нет. Но нельзя быть членом исследовательского коллектива, который решил, что ты — не член его.

— Они на тебя давят все сильнее, да?

— Все время, — ответила она и быстро, непроизвольно оглянулась на дверь, словно опасаясь, что Шевек стоит там и все слышит. — Некоторые из них просто невероятны! Ну, ты сам знаешь. Не стоит об этом говорить.

— Нет; поэтому я рад, что застал тебя одну. По существу, я не знаю. Я, и Шев, и Скован, и Гезач, и все остальные, кто проводит почти все время в типографии и в радиобашне, — мы не работаем по распределению и поэтому мало сталкиваемся с людьми, не входящими в Синдикат Инициативы. Я много бываю в КПР, но это — особая ситуация. Там я ожидаю противодействия, потому что сам его вызываю. А с чем столкнулась ты?

— С ненавистью, — сказала Таквер своим глубоким, мягким голосом. — С настоящей ненавистью. Руководитель моего проекта со мной больше не разговаривает. Ну, это-то невелика потеря. Он вообще дубина. Но некоторые другие высказывают мне, что они думают… Есть одна женщина, не в лаборатории, здесь, в бараке. Я вхожу в квартальный сантехнический комитет, и мне надо было с ней поговорить по делу. Она мне даже слова сказать не дала. «Ты в эту комнату даже и не суйся, знаю я вас, предатели проклятые, интеллектуалы, эгоисты» — и так далее, и тому подобное, а потом захлопнула дверь у меня перед носом. Это было нелепо. — Таквер невесело засмеялась. Пилун, свернувшаяся клубочком на руках у Бедапа, увидела, что она смеется, и улыбнулась, а потом зевнула. — Но знаешь, это было страшно. Я трусиха, Дап. Я не люблю злобы. Я даже не люблю неодобрения!

— Разумеется. Единственное, что позволяет нам чувствовать себя надежно, — это одобрение наших соседей. Архист может нарушить закон и надеяться, что увернется от наказания, но обычай не возможно «нарушить»; на нем построена вся жизнь человека с другими людьми… Мы только теперь начинаем чувствовать, что значит быть революционерами, как сказал Шев сегодня на собрании. И это, оказывается, неуютно.

— Некоторые понимают, — сказала Таквер с упрямым оптимизмом. — Вчера одна

женщина в омнибусе — не знаю, где мы с ней раньше встречались, я думаю, где-нибудь на работах десятого дня — так вот она сказала: «Наверно, чудесно жить с великим ученым, это, должно быть, так интересно!» А я сказала, что да, по крайней мере, всегда есть, о чем поговорить… Пилун, деточка, не засыпай! Скоро придет Шевек, и мы пойдем в столовую. Дап, потряси ее. Ну, во всяком случае, понимаешь, она знала, кто такой Шев, но не осуждала и не злобствовала, а была очень мила.

— Люди действительно знают, кто он такой, — ответил Бедап. — Это чудно, потому что они, так же, как и я, не могу понять его книги. Он считает, что несколько сот человек понимают. Те студенты в Региональных Институтах, которые пытаются организовать курсы Теории Одновременности. Я-то лично считаю, что хорошо, если несколько десятков. И все же люди знают о нем, у них такое чувство, что им можно гордиться. Я считаю, что хоть это Синдикат сумел сделать, даже если мы больше ничего не добились. То, что мы напечатали работы Шева. Это, может быть, самое умное из всего, что мы сделали.

— Да брось ты! Видать, досталось тебе сегодня в КПР.

— Да. Хотелось бы мне обрадовать тебя, Таквер, да нечем. Синдикат страшно близко подобрался к основному связующему началу общества — боязни чужих. Там сегодня был один молодой парень, так он открыто угрожал насильственными репрессиями. Вариант, конечно, убогий, но он увидит, что другие готовы его принять. И эта Рулаг, черт побери, она — сильный противник!

— Дап, ты знаешь, кто она такая?

— Нет, а кто?

— Шев тебе не сказал? Впрочем, он о ней вообще не говорит. Она — мать.

— Мать Шева?

Таквер кивнула.

— Она уехала, когда ему было два года. Отец остался с ним. Конечно, дело обычное. Если не считать чувств Шева. У него такое чувство, что он потерял что-то жизненно необходимое — и он, и отец. Он не делает на этом основании принципиальный вывод, что родители всегда должны оставаться с детьми, и всякое такое. Но то, как для него важна верность — это, по-моему, происходит именно отсюда.

— Что необычно, — с силой сказал Бедап, забыв о Пилун, которая крепко уснула у него на коленях, — явно необычно, так это ее отношение к нему! Сегодня было видно, что она ждала, чтобы он пришел на собрание Совета по Импорту-Экспорту. Она знает, что душа группы — он, и из-за него ненавидит и нас. Почему? Чувство вины? Неужели Одонианское Общество настолько прогнило, что нами движет чувство вины? Знаешь, теперь, когда я знаю, я вижу, что они похожи. Только у нее все затвердело, окаменело… умерло.

Пока он говорил, открылась дверь, вошли Шевек и Садик. Садик шел одиннадцатый год. Она была высокая для своих лет, худая, очень длинноногая, гибкая, хрупкая, с пышными темными волосами. За ней шел Шевек, и Бедап, глядя на него в странном свете его родства с Рулаг, вдруг увидел его, как мы иногда видим очень старого друга — с четкостью, в которой участвует все прошлое: великолепное сдержанное лицо, полное жизни, но изумленное, измотанное до предела. Это было очень своеобразное лицо, и в то же время его черты походили на черты лица не только Рулаг, но и многих других анаррести, народа, отобранного видением свободы и приспособившегося к пустынной, бесплодной планете, планете огромных расстояний, глубокой тишины, мертвого запустения.

Между тем в комнате стало много близости, шума, общения, приветствий, вопросов, смеха, разговоров; Пилун — к ее немалому неудовольствию — передавали из рук в руки, обнимали, тискали; бутылку передавали из рук в руки, наливали сок. Сначала центром внимания стала

Садик, потому что она бывала в семье реже всех; потом Шевек.

— Что было нужно Деду — Сальной Бороде?

— Ты был в Институте? — спросила Таквер, глядя на Шевека, когда он сел рядом с ней.

— Только зашел. Сабул утром оставил мне записку в Синдикате. Шевек залпом выпил фруктовый сок и поставил чашку. Стало видно странное выражение — вернее, отсутствие выражения — его губ.

— Он сказал, что в Федерации Физики есть вакансия. Автономная, постоянная, на полный рабочий день.

— Ты имеешь в виду — для тебя? Там? В Институте?

Он кивнул.

— Тебе Сабул сказал?

— Он пытается тебя завербовать, — сказал Бедап.

— Да, я тоже так думаю. «Если не можешь что-то вырвать с корнем, одомашни его», — как говорили мы на Северном Склоне. — Шевек внезапно и простодушно рассмеялся. — Смешно, правда? — сказал он.

— Нет, — сказала Таквер. — Не смешно. А отвратительно. Как ты вообще мог пойти к нему, разговаривать с ним? После всей клеветы, которую он распространял о тебе, всего этого вранья, будто «Принципы» украдены у него, после того, как он скрыл от тебя, что уррасти дали тебе эту премию, а потом, в прошлом году, разогнал группу ребят, которые организовали курс лекций, и добился, что их всех услали в разные стороны из-за твоего «скрыто-авторитарного влияния» на них — это ты-то авторитарен! — это было мерзко, непростительно! Как ты можешь быть вежливым с таким человеком?

— Ну, видишь ли, дело ведь не в одном только Сабуле. Он просто выразитель их мнения.

— Я знаю, но он его выражает с удовольствием. И он уже так давно ведет себя так подло! Ну, и что ты ему сказал?

— Я, можно сказать, стал тянуть время, — ответил Шевек и снова засмеялся. Таквер опять покосилась на него, поняв теперь, что он, хотя и держит себя в руках, крайне напряжен или возбужден.

— Значит, ты ему категорически не отказал?

— Я сказал, что еще несколько лет назад решил, что, пока я могу заниматься теоретической работой, не буду принимать официальные назначения. Тогда он сказал, что, поскольку место автономное, у меня будет полная возможность продолжать те исследования, которые я веду сейчас, и что мне дают это назначение с целью… как это он сказал… «облегчить доступ к экспериментальной аппаратуре в Институте и к официальным каналам публикации и распространения». Иными словами, издательство КПР.

— Ну, значит, ты победил, — сказала Таквер, глядя на него со странным выражением лица. — Ты победил. Они будут печатать то, что ты напишешь. — Это — то, чего ты хотел, когда мы пять лет назад вернулись сюда. Стены рухнули.

— Я победил только в том случае, если приму это назначение. Сабул предлагает легализовать меня. Сделать меня официальным. Чтобы оторвать меня от Синдиката Инициативы. Ты не думаешь, Дап, что это и есть его мотив?

— Конечно, — ответил Бедап. Лицо его было мрачным. — Разделяй, чтобы ослабить.

— Но если Шева возьмут обратно в Институт и будут печатать его работы в издательстве КПР, тем самым будет подразумеваться, что они одобряют весь Синдикат, разве не так?

— Большинство людей так и будет считать, — ответил Шевек.

— Нет, не будет, — возразил Бедап. — Им все объяснят. Великого физика на какое-то время сбила с толку группка недовольных. Интеллектуалов вечно сбивают с толку, потому что

они думают обо всякой ерунде — о времени, пространстве, реальности, о вещах, не имеющих никакого отношения к реальной жизни, поэтому гадким уклонистам так легко сбивать их с пути истинного. Но добрые одониане в Институте деликатно объяснили ему его заблуждения, и он вернулся на путь социально-органической истины. И таким образом Синдикат Инициативы лишится своей единственной обоснованной претензии на чье бы то ни было внимание на Анарресе или на Уррасе.

— Я не ухожу из Синдиката, Бедап.

Бедап поднял голову и, с минуту помолчав, сказал:

— Да. Я знаю, что не уходишь.

— Вот и ладно. Пошли обедать. Вон как в животе урчит: послушай, Пилун, слышишь? Грр, ррр!

— Гоп! — скомандовала Пилун. Шевек взял ее на руки и, встав, усадил к себе на плечо. За его головой и головой девочки чуть покачивался единственный висевший в этой комнате динамический объект. Это была большая конструкция из расплющенной проволоки, так что когда овалы, сделанные из нее, поворачивались ребром, их было почти не видно, а при определенном освещении они то мерцали, то исчезали; а два прозрачных, тонкостенных стеклянных шарика, двигавшихся вместе с проволочными овалами по сложно переплетающимся эллипсоидным орбитам вокруг общего центра, то приближались один к другому, то удалялись, никогда не сближаясь и не расходясь окончательно. Таквер назвала его «Обиталище Времени».

Они пошли в столовую квартала Пекеш и стали ждать, когда на доске регистрации появится объявление о свободном гостевом месте, чтобы можно было провести с собой Бедапа в качестве гостя. Он зарегистрировался, и это автоматически высвободило его место в столовой, куда он обычно ходил, потому что в пределах города координация сети столовых осуществлялась при помощи компьютера. Это был один из высокомеханизированных «гомеостатических процессов», столь любимых Первопоселенцами, сохранившийся только в Аббенае. Как и менее сложные способы регулирования, применявшиеся в других местах, он никогда не шел безукоризненно: то чего-то не хватало, то чего-нибудь оказывалось слишком много, то кто-то был чем-то недоволен — но все по мелочам. Гостевые места в Пекеше освобождались редко, потому что здесь была лучшая кухня в Аббенае, в ней уже много лет работали замечательные повара. Наконец, место появилось, и они вошли. К ним подсела молодая пара — соседи Шевека и Таквер по бараку, с которыми Бедап был немного знаком. Больше никто не захотел им мешать — или не захотел с ними общаться? Им было все равно, в чем дело. Они хорошо пообедали, хорошо поговорили. Но время от времени Бедап чувствовал, что вокруг них — кольцо молчания.

— Не знаю, что еще придумают уррасти, — сказал он, и, хотя это было сказано беспечным тоном, он с раздражением заметил, что говорит, понизив голос. — Они уже попросились сюда и пригласили Шева к себе; какой будет следующий ход?

— Я не знала, что они пригласили Шева туда, — сказала Таквер, слегка нахмурившись.

— Нет, знала, — ответил Шевек. — Когда они сообщили мне, что дали мне премию, ну, знаешь, Сео Оэна, то спросили, не могу ли я прилететь — помнишь? Чтобы получить деньги, которые дают вместе с премией! — Шевек ослепительно улыбнулся. Если вокруг него и было кольцо молчания, это его не беспокоило, он всегда был один.

— Правильно, знала. Просто не воспринимала это, как реальную возможность. Ты декадами говорил, что предложишь в КПР, чтобы кто-нибудь полетел на Уррас, просто, чтобы напугать их.

— Вот мы сегодня это и сделали. Дап заставил меня сказать это.

— И они испугались?

— Еще как! Волосы дыбом, глаза на лоб…

Таквер хихикнула. Пилун сидела на высоком стуле рядом с Шевеком, грызла кусок холумового хлеба и распевала песню: «О маляля каляля», — пела она — «баляля ляляля маляля лям!». Шевек — человек многих талантов — отвечал ей в том же духе. Взрослый разговор шел вяло и с перерывами. Бедапу это не мешало, он уже давно усвоил, что Шевека надо либо принимать со всеми его сложностями, либо не принимать вообще. Самой молчаливой из них всех была Садик.

После обеда Бедап еще около часа посидел с ними в приятной, просторной комнате отдыха барака, а когда собрался уходить, предложил проводить Садик в ее школьное общежитие, так как это было ему по пути. Тут что-то произошло, какое-то событие или сигнал, заметные только членам семьи; он понял только, что Шевек, без суеты и разговоров, собрался идти с ними. Таквер должна была кормить Пилун, которая вопила все громче. Она поцеловала Бедапа, и он с Шевеком отправились провожать Садик, разговаривая по дороге. Они так увлеклись разговором, что прошли мимо учебного центра, а Садик остановилась у входа в общежитие. Они повернули обратно. Садик все еще неподвижно стояла перед входом в слабом свете уличного фонаря, прямая и хрупкая, с застывшим лицом. Шевек секунду стоял так же неподвижно, потом подошел к ней.

— Что случилось, Садик?

Девочка сказала:

— Шевек, можно, я сегодня останусь ночевать в комнате?

— Конечно. Но что случилось?

Продолговатое, тонкое лицо Садик дрогнуло и, казалось, распалось на кусочки.

— Меня в общежитии не любят, — сказала она пронзительным от напряжения голосом, но еще тише, чем раньше.

— Не любят тебя? То есть как это?

Они еще не касались друг друга. Она ответила ему с отчаянием и храбро:

— Потому что они не любят Синдикат, и Бедапа, и… и тебя. Они называют… Старшая сестра в общежитии говорит, что ты… что мы все пре… она говорит, мы предатели, — произнося это слово, девочка дернулась, как подстреленная, и Шевек подхватил ее и обнял. Она изо всех сил цеплялась за него, захлебываясь рыданиями. Она была такая большая, такая высокая, что Шевек уже не мог взять ее на руки. Он стоял, обняв ее, и гладил ее по голове. Поверх ее темной головки он взглянул на Бедапа глазами, полными слез, и сказал:

— Ничего, Бедап. Ты иди.

Бедапу не оставалось ничего другого, как уйти и оставить их там, мужчину и ребенка, в той единственной близости, которую он не мог разделить, в самой трудной и самой глубокой, в близости боли. То, что он ушел, не принесло ему ни чувства облегчения, ни чувства освобождения; скорее, он чувствовал себя бесполезным, уменьшившимся. «Мне тридцать девять лет, — думал он, идя к своему бараку, к комнате на пять человек, где он жил в полной независимости. — Через несколько декад сорок стукнет. А что я сделал? Что я сделал? Ничего. Вмешивался. Лез в чужие жизни, потому что своей нет. Я всегда жалел на это времени… А время-то у меня вдруг возьмет да и истечет, и окажется, что у меня так никогда и не было… этого». Он оглянулся назад; на длинной, тихой улице, в продутой ветром тьме, под фонарями на перекрестках стояли озерца мягкого света, но он отошел слишком далеко и не мог разглядеть отца и дочь; или они уже ушли. А что он подразумевал под «этим», он, при всем своем умении пользоваться словами, не мог объяснить; но чувствовал, что отчетливо это понимает, что в этом понимании — вся его надежда, и что, если он хочет спастись, он должен изменить свою жизнь.

Когда Садик успокоилась настолько, что разжала руки, Шевек усадил ее на верхнюю

ступеньку крыльца общежития и пошел предупредить ночную дежурную, что сегодня Садик будет ночевать с родителями. Дежурная говорила с ним холодно. Взрослые, работавшие в детских общежитиях, были склонны неодобрительно относиться к ночевкам детей в бараках у родителей, считая, что они подрывают дисциплину; Шевек сказал себе, что, наверно, ошибается, видя в неудовольствии дежурной нечто большее, чем такое неодобрение. Залы учебного центра были ярко освещены, в них стоял шум, звенели детские голоса, слышалась музыка. Здесь были все старые звуки, запахи, тени, отголоски детства, которые помнились Шевеку, а с ними и страхи. Страхи обычно забываются.

Он вышел и повел Садик домой, обнимая за худенькие плечи. Она молчала, все еще борясь со слезами. Когда они подошли к своему входу в главный барак Пекеша, она вдруг сказала:

— Я знаю, что вам с Таквер неприятно, чтобы я ночевала с вами.

— С чего ты взяла?

— Потому что вам нужно уединение, взрослым парам нужно уединение.

— Но ведь Пилун с нами, — заметил Шевек.

— Пилун не считается.

— И ты тоже не считаешься.

Она шмыгнула носом и попыталась улыбнуться.

Но когда они вошли в комнату, на свет, ее лицо, опухшее, бледное, в красных пятнах, сразу напугало Таквер, и она ахнула: «Что с тобой?» — и Пилун, которой помешали сосать, очнулась от блаженного забытья и взвыла, и тогда Садик опять расплакалась, и некоторое время казалось, что все плачут, и утешают друг друга, и не хотят утешиться. Вдруг все как-то само собой улеглось и успокоилось; Пилун оказалась на коленях у матери, Садик — у отца.

Когда малышка насытилась, и ее уложили спать, Таквер тихим, но очень взволнованным голосом сказала:

— Ну! В чем дело?

Садик и сама уже почти спала, положив голову на грудь Шевеку. Он почувствовал, как она старается собраться, чтобы ответить. Он погладил ее по голове, чтобы она молчала, и ответил за нее:

— Некоторые люди в учебном центре нас осуждают.

— А по какому-такому чертову праву они нас, черт бы их взял, осуждают?

— Шш-шш. Не нас с тобой, а Синдикат.

— Ага… — сказала Таквер странным, гортанным голосом и, застегивая блузу, с мясом оторвала пуговицу. Она стояла и смотрела на эту пуговицу, лежавшую у нее на ладони, потом перевела взгляд на Шевека и Садик.

— И сколько же это продолжается?

— Давно уже, — ответила Садик, не поднимая головы.

— Несколько дней, декад, весь квартал?

— О, дольше. Но они… Они там, в общаге, становятся все вреднее. По вечерам Терзол их не останавливает. — Садик говорила, как во сне, и совершенно спокойно, как будто это ее больше не касалось.

— Что они делают? — спросила Таквер, хотя Шевек бросил на нее предостерегающий взгляд.

— Ну, они… они просто вредничают. Не принимают меня в игры и вообще… Тип, ты же знаешь, она была подругой, она приходила и разговаривала, хотя бы, когда погасят свет. А теперь не приходит. Терзол в общаге теперь старшая сестра, и она такая… она говорит: «Шевек… Шевек…»

Шевек почувствовал, как напряглось тело девочки, как она сжалась, как собирает свое все

мужество; это было невыносимо, и он перебил ее:

— Она говорит, что Шевек — предатель, что Садик — эгоистка… Ты же знаешь, Таквер, что она говорит!

Его глаза пылали. Таквер подошла и коротким, робким движением коснулась щеки дочери. Спокойным голосом она сказала:

— Да, знаю, — и, подойдя ко второму спальному помосту, села на него лицом к ним.

Малышка, которую положили к самой стенке, слегка похрапывала. В соседнюю комнату вернулись из столовой жильцы; внизу, на площади, кто-то крикнул: «Спокойной ночи!» — и ему ответили из открытого окна. Большой, в двести комнат, барак тихо жил, шевелился вокруг них; как их существование входило в его существование, так и его — в их, как часть целого. Вскоре Садик соскользнула с колен отца и села на помост рядом с ним, вплотную к нему. Ее темные волосы растрепались и спутались, пряди падали ей на лицо.

— Я не хотела вам говорить, потому что… — голос у нее был тихим и тоненьким. — Но только все время становится хуже и хуже. Они друг друга накручивают.

— Значит, ты туда не вернешься, — сказал Шевек. Он обнял ее за плечи и хотел притянуть к себе, но она не далась, сидела прямо.

— Если я схожу, поговорю с ними… — сказала Таквер.

— Бесполезно. С их отношением ничего не поделаешь.

— Но что же это такое, с чем же мы столкнулись? — в глубокой растерянности спросила Таквер.

Шевек не ответил. Он продолжал обнимать Садик за плечи, и она, наконец, перестала сопротивляться, устало и тяжело уронила голову на его руку. Наконец, он без особой уверенности сказал:

— Есть ведь и другие учебные центры.

Таквер встала. Было видно, что она не в состоянии сидеть на месте, хочет что-то делать, действовать. Но делать было, в общем, нечего.

— Давай, Садик, я заплету тебе косы, — негромко сказала она.

Она расчесала и заплела девочке волосы; они поставили ширму и уложили Садик в постель рядом со спящей сестренкой. Когда Садик говорила им «Спокойной ночи», она опять чуть не расплакалась, но не прошло и получаса, как они по ее дыханию поняли, что она уснула.

Шевек устроился в головах их спального помоста с тетрадью и грифельной доской, которой он пользовался для вычислений.

— Я сегодня пронумеровала страницы в той рукописи, — сказала Таквер.

— И сколько вышло?

— Сорок одна страница. Вместе с приложением.

Шевек кивнул. Таквер встала, заглянула поверх ширмы на спящих детей, вернулась и села на край помоста.

— Я знала, что что-то не так. Но она ничего не говорила. Она никогда не жалуется, она — стоик. Мне и в голову не пришло, что происходит такое. Я думала, что это — только наша проблема, у меня и в мыслях не было, что они будут вымещать на детях. — Таквер говорила тихо, с горечью. — Будет ли в другой школе по-другому?

— Не знаю. Если она будет проводить много времени с нами, то, вероятно, — нет.

— Но ведь ты же не думаешь, что…

— Нет. Я только констатирую факт. Если мы решили отдать ребенку всю силу индивидуальной любви, мы не сможем избавить ее от того, чем это сопровождается, от угрозы страдания. Страдания, причиненного нами и посредством нас.

— Несправедливо, чтобы ее мучили за то, что делаем мы. Она такая хорошая и добрая,

она — как чистая вода… — Таквер замолчала: ей перехватили горло внезапно подступившие слезы; она вытерла глаза, справилась с дрожью губ.

— Не за то, что делаем мы, а за то, что делаю я. — Шевек отложил тетрадь. — Тебе за это тоже достается.

— Мне все равно, что они думают.

— На работе?

— Я могу взять другое назначение.

— Не здесь, не по твоей специальности.

— Ты что, хочешь, чтобы я куда-нибудь уехала? Меня бы взяли в Соррубскую рыбоводческую лабораторию в Мире-и-Изобилии. Ну, а ты тогда что же? — Она сердито посмотрела на него. — Небось, здесь останешься?

— Я бы мог поехать с тобой. Скован и другие делают успехи в иотийском языке, они смогут справиться с радиопереговорами, а это сейчас — моя основная практическая функция в Синдикате. Физикой я могу заниматься в Мире-и-Изобилии с тем же успехом, что здесь. Но если я не порву с Синдикатом Инициативы полностью, это не решит проблемы, правда? Ведь проблема-то — это я. От меня все неприятности.

— Неужели в таком маленьком городке, как Мир-и-Изобилие, на это станут обращать внимание?

— Боюсь, что да.

— Шев, а тебе-то самому сколько приходилось сталкиваться с этой ненавистью? Ты тоже молчал, как Садик?

— И как ты. Ну… иногда. Прошлым летом, когда я ездил в Согласие, было немножко похуже, чем я тебе рассказал. Камнями кидались, драка была на полную катушку. Студентам, которые меня пригласили, пришлось за меня драться. Они и дрались; но я быстренько уехал: я подвергал их опасности. Ну, студенты любят опасность. И, в конце концов мы сами нарывались на драку, мы умышленно выводили людей из равновесия. И очень многие — на нашей стороне. Но теперь… я начинаю думать, не подвергаю ли я опасности вас, Так, тебя и детей. Тем, что я здесь, с вами.

— Ну да, тебе-то самому, конечно, ничего не грозит, — с яростью сказала она.

— Я сам полез на рожон. Но мне не приходило в голову, что они распространят свое племенное негодование на вас. К опасности, угрожающей вам, я отношусь иначе, чем к той, которая грозит мне.

— Альтруист!

— Может быть. Я ничего не могу с этим поделать. Я действительно считаю, что все это из-за меня. Без меня ты могла бы поехать куда угодно, а могла бы остаться здесь. Ты работала для Синдиката, но они настроены против тебя из-за твоей верности мне. Я для них — символ. Так что у меня нет… мне некуда ухать.

— Поезжай на Уррас, — сказала Таквер так резко, что Шевек отшатнулся, словно она ударила его по лицу.

Не гладя ему в глаза, она повторила, уже мягче:

— Поезжай на Уррас… Почему бы нет? Там ты нужен. Здесь, этим — нет! Может быть, когда ты уедешь, они поймут, что потеряли… И ты хочешь туда. Я это поняла сегодня вечером. Я раньше никогда об этом не думала, но когда мы за обедом говорили о премии, я это увидела, поняла по тому, как ты смеялся.

— Мне не нужны премии и награды!

— Да, но тебе нужно, чтобы тебя ценили, и тебе нужны научные споры и студенты — без Сабула с его условиями. И потом, смотри. Вы оба с Дапом все время говорите: надо напугать

КПР идеей, что кто-нибудь полетит на Уррас. Но если вы будете только говорить об этом, а никто не полетит, вы только укрепите их позицию, только докажете, что обычай нерушим. Раз уж вы подняли этот вопрос на собрании КПР, значит, кому-то придется лететь. И это должен быть ты. Они тебя звали; у тебя есть причина, чтобы полететь туда. Полети и получи свою награду — деньги, которые они там для тебя держат, — закончила она, неожиданно и совершенно искренне рассмеявшись.

— Таквер, я не хочу на Уррас!

— Нет, хочешь; ты сам знаешь, что хочешь. Хотя я не уверена, что понимаю, почему.

— Ну… конечно, мне бы хотелось встретиться кое с кем из тамошних физиков… И побывать в лабораториях в Иеу-Эуне, где они экспериментировали со светом. — Когда он говорил это, вид у него был смущенный.

— Это — твое право, — с яростной решимостью сказала Таквер. — Если это — часть твоей работы, ты должен ее сделать.

— Это помогло бы не дать угаснуть Революции, и здесь, и там, ведь правда? — сказал он. — Какая безумная идея! Как в пьесе Тирина, только задом наперед. Я должен отправиться подрывать моральные устои архистов… Что ж, это бы им, по крайней мере, доказало, что Анаррес существует. Они разговаривают с нами по радио, но, по-моему, они в нас по-настоящему не верят. В то, чем мы являемся.

— А если бы поверили, то, может быть, испугались бы. И тогда бы прилетели и расстреляли бы нас всех прямо с неба, если бы вы их действительно убедили.

— Не думаю. Может быть, я бы сумел опять устроить маленький переворот в их физике, но не в их сознании. На общество я могу повлиять здесь, именно здесь, хотя здесь и не желают обращать внимание на мою физику. Ты совершенно права: раз уж мы об этом заговорили, мы должны это сделать.

Помолчав, он добавил:

— Интересно, какой физикой занимаются другие народы.

— Какие другие народы?

— Инопланетяне. С Хейна и из других солнечных систем. На Уррасе есть два инопланетных посольства — Хейна и Терры. Хейниты изобрели межзвездный двигатель, которым сейчас пользуются на Уррасе. Я думаю, они бы и нам его дали, если бы мы захотели попросить его у них. Интересно было бы… — Он не договорил.

После еще одной долгой паузы он повернулся к ней и сказал изменившимся, саркастическим тоном:

— А ты что стала бы делать, пока я гостил бы у собственников?

— Поехала бы с детьми на Соррубское побережье и жила бы очень тихо и спокойно, работала бы лаборантом в рыбной лаборатории. Пока ты бы не вернулся.

— Пока я бы не вернулся? Кто знает, смог ли бы я вернуться?

Она ответила на его взгляд прямым взглядом.

— Что могло бы тебе помешать?

— Может быть, уррасти. Они могли бы не отпустить меня. Знаешь, там ведь никто не может уезжать и приезжать, когда и куда хочет. Они могли бы не дать мне приземлиться здесь. В КПР сегодня некоторые угрожали этим. В том числе Рулаг.

— Ну, еще бы. Она только и умеет, что отказывать. Как не дать возможность вернуться домой.

— Совершенно верно. Точная и полная формулировка, — сказал Шевек, опять откидываясь назад и глядя на Таквер с задумчивым восхищением. — Но Рулаг, к сожалению, не единственная. Для очень и очень многих всякий, кто отправился на Уррас и попытается

вернуться, будет просто предателем, шпионом.

— Что конкретно они бы предприняли?

— Ну, если бы они смогли убедить Оборону в том, что это так опасно, они могли бы сбить планетолет.

— Неужели Оборона сделала бы такую глупость?

— Не думаю. Но каждый, кто не работает в Обороне, может приготовить взрывчатку и взорвать планетолет на земле. Или, что более вероятно, напасть на меня, когда я уже покину корабль. Я думаю, что это — конкретная возможность. Надо было бы включить в план поездку по живописным местам Урраса.

— Стоило бы это для тебя такого риска?

Некоторое время он смотрел перед собой невидящим взглядом.

— Да, — ответил он, — в определенном смысле. Если бы я смог закончить там Теорию и отдать ее им — нам, и им, и всем населенным мирам, понимаешь? — я бы хотел этого. Здесь я окружен стенами. Мне тесно, трудно работать, проверять результаты, вечно без оборудования, без коллег, без студентов. А потом, когда я заканчиваю работу, оказывается, что она им не нужна. А если и нужна, то они, как Сабул, хотят, чтобы я в обмен на их одобрение отказался от инициативы… После моей смерти они будут пользоваться моей работой, так всегда бывает. Но почему я должен дарить дело всей моей жизни Сабулу, всем Сабулам, мелким, жадным, эгоизирующим интриганам на одной-единственной планете? Я хотел бы поделиться им со всеми. Я работаю над очень большой вещью. Ее надо раздавать, раздаривать. Она не иссякнет!

— Ну, ладно, — сказала Таквер. — Значит, оно того стоит.

— Чего стоит?

— Этого риска. Того, что ты, может быть, не сможешь вернуться.

— Не смогу вернуться, — повторил он, глядя не Таквер странным, напряженным и в то же время отсутствующим взглядом. — Я думаю, что на нашей стороне, на стороне Синдиката, больше народа, чем мы считаем. Просто мы еще почти ничего не сделали… Ничего не сделали, чтобы их объединить… ничем не рискнули.

— Если бы вы пошли на какой-то риск, я думаю, что они выступили бы в вашу поддержку. Если бы вы открыли дверь, они бы вновь почуяли свежий воздух, запах свободы.

— И, быть может, кинулись бы все, сломя голову, захлопывать дверь…

— Если так, то так им и надо. Когда ты приземлишься, Синдикат сумеет тебя защитить. И тогда, если люди все еще будут такие противные и так враждебно настроены, то мы их пошлем к черту — что толку от анархического общества, которое боится анархистов? Уедем жить в Одинокое, в Верхний Седеп, в Край Света, да в конце концов, если придется, уедем в горы и будем там жить одни. Места хватит. Есть люди, которые захотят поехать с нами. Создадим новую общину, построим новый поселок. Если наше общество скатывается к политике и стремлению к власти, то мы уйдем из него, уедем и создадим другой Анаррес, новый, начнем все с начала.

— Прекрасно, — сказал Шевек, — это прекрасно, родная. Но ведь я, знаешь ли, не собираюсь на Уррас.

— Нет, собираешься. И вернешься, — сказала Таквер. Глаза у нее были очень темные; это была мягкая темнота, как темнота ночного леса. — Если твердо решишь. Человек всегда попадает туда, куда идет. И всегда возвращается.

— Не говори глупостей, Таквер. Я не собираюсь на Уррас.

— Устала я — сил нет, — сказала Таквер, потягиваясь, и, наклонившись, прислонилась лбом к его руке. — Давай ложиться.

Глава тринадцатая. УРРАС — АНАРРЕС

Перед тем, как они сошли с орбиты, иллюминаторы заполнила туманная бирюза — Уррас, огромный и прекрасный. Но корабль повернул, и стали видны звезды, и среди них — Анаррес, точно круглый яркий камень; движущийся и неподвижный, брошенный неведомой рукой, кружащийся во времени, творящий время.

Шевеку показали весь корабль, звездолет «Давенант». Он был настолько не похож на грузовик «Внимательный», настолько это было вообще возможно. Снаружи он выглядел странным и хрупким, как скульптура из стекла и проволоки; он ничем не напоминал корабль, транспортное средство; у него даже не было переднего и заднего конца, потому что ему не нужно было проходить через атмосферу, более плотную, чем межзвездное пространство. Внутри корабль был просторным и прочным, как дом. Комнаты были большие и изолированные, стены обшиты деревянными панелями или обтянуты плотной рельефной тканью. Только он был похож на дом с закрытыми ставнями, потому что смотровые иллюминаторы были лишь в немногих комнатах, и в нем было очень тихо. Тихо было даже на мостике и в машинном отделении, а обводы машин и аппаратуры отличались простой целесообразностью, свойственной оборудованию парусного судна. Для отдыха в звездолете имелся сад, где освещение было схоже с солнечным светом, а воздух был напоен запахом земли и листьев; когда на корабле наступала «ночь», в саду выключали свет, и в иллюминаторы смотрели звезды.

Хотя по корабельному времени межзвездные рейсы длились всего несколько часов или дней, звездолет, имеющий субсветовую скорость, — такой, как этот — мог потратить месяцы на исследование какой-нибудь солнечной системы или провести годы на орбите планеты, на которой жил или которую изучал его экипаж. Поэтому он и был сделан таким просторным, человечным, приспособленным для того, чтобы в нем жили, для тех, кому придется жить на его борту. Его стиль не отличался ни роскошью Урраса, ни суровостью Анарреса; эти качества были в нем уравновешены с легкостью и изяществом, которые достигаются долгой практикой. Нетрудно было представить себе, что ты ведешь на этом корабле жизнь, полную ограничений, не раздражаясь из-за этих ограничений, удовлетворенно, задумчиво. Входившие в состав экипажа хейниты были задумчивые люди, вежливые, тактичные, довольно мрачные. Непосредственности в них было мало. Самый молодой из них казался гораздо старше любого из находившихся на борту террийцев.

Но за те три дня, которые потребовались «Давенанту», чтобы на химической тяге и традиционных скоростях добраться от Урраса до Анарреса, Шевек редко приглядывался к ним — и к террийцам, и к хейнитам. Когда к нему обращались, он отзывался; он охотно отвечал на вопросы; но сам почти ничего не спрашивал. Когда он говорил, его не оставляло внутреннее молчание. Людей на «Давенанте», особенно тех, кто помоложе, влекло к нему, словно в нем было то, чего им не хватало, или словно он был чем-то, чем бы им хотелось быть. Они довольно много говорили о нем между собой, но с ним держались застенчиво. Он не замечал этого. Он почти не помнил об их существовании. Он помнил о том, что впереди — Анаррес. Он помнил об обманутой надежде; о выполненном обещании; о неудаче; об источниках в своей душе, которые, наконец, вскрылись, и из них хлынула радость. Он был, как человек, которого выпустили из тюрьмы, который возвращается домой, к семье. Что бы ни видел такой человек по пути — он видит это лишь как отражение света.

На второй день полета он сидел в радиорубке и разговаривал по радио с Анарресом, сначала на волне КПР, а потом — с Синдикатом Инициативы. Он сидел, наклонившись вперед, и слушал или отвечал потоком слов на ясном, выразительном языке — на своем родном языке, иногда

жестикулируя свободной рукой, как будто его собеседник мог его видеть, иногда смеясь. Первый помощник командира «Давенанта», хейнит по имени Кетхо, обеспечивающий радиосвязь, задумчиво наблюдал за ним. Накануне вечером, после ужина, Кетхо, вместе с командиром и другими членами экипажа, провели час с Шевеком; спокойно, ненавязчиво, как это свойственно хейнитам, он задал ему немало вопросов об Анарресе. Наконец Шевек обернулся к нему.

— Ну, вот, я закончил. Остальное может подождать до тех пор, пока я буду дома. Завтра они свяжутся с вами, чтобы договориться о процедуре посадки.

Кетхо кивнул.

— У вас хорошие новости, — сказал он.

— Да. Во всяком случае… как это… оживленные.

Им приходится разговаривать друг с другом по-иотийски. Шевек владел этим языком более свободно, чем Кетхо, говоривший по-иотийски очень правильно и деревянно.

— Посадка будет захватывающей, — продолжал Шевек. — Там будет уйма врагов и уйма друзей. Хорошие новости — это о друзьях… Оказывается, теперь их больше, чем когда я улетал.

— Эта опасность нападения, когда вы высадитесь… — сказал Кетхо. — Ведь служащие Анарресского Космопорта, конечно, считают, что они в состоянии справиться с недовольными? Они же не станут умышленно разрешать вам сойти на землю, чтобы вас убили?

— Ну, они собираются меня защитить. Но ведь я, в конечном счете, тоже недовольный. Я сам пошел на этот риск. Понимаете, это — моя привилегия как одонианина.

Он улыбнулся Кетхо. Хейнит не ответил улыбкой; его лицо осталось серьезным. Кетхо был высоким красивым мужчиной лет тридцати, высоким и светлокожим, как тау-китяне, но почти безволосым, как террийцы, с очень сильными и тонкими чертами лица.

— Я рад, что смогу разделить ее с вами, — сказал он. Я буду вести спускаемый аппарат.

— Хорошо, — ответил Шевек. — Не каждый захотел бы принять наши привилегии.

— Быть может, таких нашлось бы больше, чем вы думаете, — сказал Кетхо, — если бы вы им разрешили.

Шевек, не очень внимательно следивший за нитью разговора, уже собирался уходить; это остановило его. Он посмотрел на Кетхо и через несколько секунд спросил:

— Вы хотите сказать, что хотели бы высадиться вместе со мной?

Хейнит ответил так же прямо:

— Да, хотел бы.

— А командир позволит?

— Да. Собственно говоря, в мои обязанности как офицера исследовательского корабля входит разведка и исследование новых планет, когда это возможно. Мы с командиром говорили о такой возможности. Перед отлетом мы обсудили это с нашими послами. По их мнению, не следует обращаться с официальной просьбой, поскольку политика вашего народа — запрещать инопланетянам высадку.

— Гм, — уклончиво сказал Шевек. Он отошел к дальней стене и некоторое время стоял перед картиной; это был хейнский пейзаж, очень простой и утонченный: темная река, текущая в камышах под хмурым небом.

— «Условия Завершения Заселения Анарреса», — сказал он, — не разрешают уррасти высаживаться на Анаррес, за исключением территории Космопорта. Эти условия все еще действуют. Но вы — не уррасти.

— Когда Анаррес заселялся, никаких других народов не знали. Подразумевается, что эти условия имеют в виду всех инопланетян.

— Так решила наша администрация шестьдесят лет назад, когда вы впервые прибыли в эту солнечную систему и пытались говорить с нами. Но я считаю, что это было неправильно. Они

просто строили дополнительные стены. — Шевек повернулся и, заложив руки за спину, стоял и смотрел на хейнита.

— Почему вы хотите высадиться, Кетхо?

— Я хочу увидеть Анаррес, — ответил тот. — Я заинтересовался им еще с того, как вы прилетели на Уррас. Это началось, когда я стал читать труды Одо. Они меня очень заинтересовали. Я… — Он замялся, словно смутившись, но продолжал, сдержанно и старательно, как обычно. — Я даже начал заниматься правийским. Пока еще знаю мало.

— Значит, это — ваше собственное желание, ваша собственная инициатива?

— Абсолютно.

— И вы понимаете, что это может быть опасно?

— Да.

— На Анарресе сейчас все… немного разболталось. Как раз об этом мне и рассказали по радио мои друзья. Мы с самого начала для того все это и затеяли — наш Синдикат, эту мою поездку — чтобы встряхнуть все, расшевелить, сломать некоторые обычаи, заставить людей задавать вопросы. Чтобы они стали вести себя, как анархисты! Все это происходило, пока меня не было. Так что, понимаете, никто точно не знает, что может случиться в любой момент. А если вместе со мной высадитесь вы, все пойдет вразнос еще больше. Я не могу перегибать палку. Я не могу взять вас с собой как официального представителя какого-то инопланетного Правительства. На Анарресе это не годится.

— Я это понимаю.

— Как только вы окажетесь там, как только вы вместе со мной пройдете сквозь стену, вы — как я это понимаю — станете одним из нас. Мы будем нести ответственность перед вами, а вы — перед нами; вы станете одним из анаррести, с таким же правом выбора, как и у всех остальных. Но это — небезопасный выбор. Свобода никогда не бывает особенно безопасной.

Шевек оглядел спокойную, аккуратную комнату с ее простой и тонкой аппаратурой и снова перевел взгляд на Кетхо.

— Вам часто будет очень одиноко, — сказал он.

— Мой народ очень стар, — ответил Кетхо. — Нашей цивилизации тысяча тысячелетий. Наша история насчитывает сотни этих тысячелетий. Мы пробовали все. В том числе и анархизм. Но я-то его не пробовал. Говорят, ничто не ново ни под одним солнцем. Но если каждая жизнь, каждая отдельная жизнь не нова, то зачем же мы рождаемся?

— Мы — дети времени, — сказал Шевек по-правийски. Кетхо несколько секунд смотрел на него, потом повторил его слова по-иотийски: «Мы — дети времени».

— Хорошо, — сказал Шевек и засмеялся. — Хорошо, аммар! Надо тебе снова вызывать Анаррес по радио, сначала Синдикат… Я сказал Кенг, послу, что мне нечего дать вам за то, что сделали для меня ее народ и твой народ; что ж, быть может, тебе я смогу что-то дать. Идею, обещание, риск…

— Я поговорю с командиром, — ответил Кетхо, серьезный, как всегда, но чуть дрогнувшим от возбуждения, от надежды голосом.

Следующей корабельной ночью, очень поздно, Шевек стоял в саду «Давенанта». Свет был погашен, и сад освещали только звезды. Воздух был холоден. Ночной цветок с какой-то неведомой планеты раскрылся среди темных листьев и кротко, терпеливо, тщетно источал благоухание, чтобы привлечь какого-то неведомого мотылька, порхающего за триллионы миль отсюда, в саду на планете, что кружится вокруг другой звезды. Свет разных солнц бывает разным, но тьма — только одна. Шевек стоял у большого прозрачного иллюминатора и смотрел на ночную сторону Анарреса, черный изгиб, закрывавший половину звезд. Он думал, будет ли Таквер там, в Порту. Когда он последний раз говорил с Бедапом, она еще не приехала в Аббенай

из Мира-и-Изобилия, поэтому он предоставил Бедапу обсудить и решить с ней, разумно ли будет, если она приедет в Порт. «А если и неразумно, ты что думаешь, я бы смог ее остановить?» — сказал Бедап. Еще Шевек думал о том, как она добралась с побережья Соррубы; он надеялся, что дирижаблем, если она привезла с собой девочек. Ехать поездом с детьми тяжело. Он еще помнил все неудобства поездки из Чакара в Аббенай в 68-м году, когда Садик укачало и тошнило трое суток напролет.

Дверь сада открылась, смутный свет стал ярче. Командир «Давенанта» заглянул и окликнул Шевека по имени; он отозвался; вошли командир и Кетхо.

— Мы получили из вашей диспетчерской план приземления нашего спускаемого аппарата, — сказал командир, невысокий терриец с кожей цвета чугуна, спокойный и деловитый. — Если вы готовы, мы начнем посадку.

— Да.

Командир кивнул и вышел. Кетхо подошел и стал рядом с Шевеком возле иллюминатора.

— Кетхо, ты уверен, что хочешь пройти со мной сквозь эту стену? Ты знаешь, для меня это легко. Что бы не случилось, я возвращаюсь домой. А ты покидаешь дом. «Истинное путешествие — это возвращение…».

— Я надеюсь вернуться, — сказал Кетхо своим спокойным голосом. — Вовремя.

— Когда мы должны войти в спускаемый аппарат?

— Минут через двадцать.

— Я готов. Мне укладывать нечего. — Шевек рассмеялся; его смех был полон чистого, незамутненного счастья. Хейнит смотрел на него серьезно, словно не знал точно, что такое счастье, но все же издалека узнавал его или, быть может, припоминал. Он стоял рядом с Шевеком, как будто хотел его о чем-то спросить. Но ничего не спросил. Наконец, он сказал:

— В Анарресском порту будет раннее утро, — и ушел, чтобы собрать вещи и встретиться с Шевеком у переходного шлюза.

Оставшись один, Шевек снова отвернулся к иллюминатору и увидел ослепительный край восходящего солнца, только что показавшийся над Темаэнским морем.

«Сегодня вечером я лягу спать на Анарресе», — подумал он. — «Я лягу рядом с Таквер. Жаль, что я не привез Пилун ту картину с маленькой овечкой».

Но он не привез ничего. Руки его были пусты, как были пусты всегда.